ЕВРОПЕЕЦ

И. В. КИРЕЕВСКИЙ
Дагерротип 1840-х годов

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

ЕВРОПЕЕЦ

ЖУРНАЛ И. В. КИРЕЕВСКОГО

1832

Издание подготовил

Л. Г. ФРИЗМАН

МОСКВА «НАУКА» 1989

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

А. Л. ГРИШУНИН

Е $\frac{4603000000\text{-}038}{042(02)\text{-}89}$ без объявления

ISBN 5-02-012668-3

ЕВРОПЕЕЦ. № 1

I
ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВЕК

Столько уже говорено о направлении девятнадцатого века, что мудрено было бы сказать об нем что-либо новое, если бы девятнадцатый век был для нас прошедшим. Но он живет и, следовательно, изменяется, и каждое изменение его господствующего духа ставит нас на новую точку зрения. Другая перспектива, в которой минувшее располагается перед текущею минутою, дает нам другое значение. Так путешественник с каждою переменою места видит в новом свете пройденную дорогу. Так новый опыт в жизни дает целому миру воспоминаний новую стройность и новый смысл.

Этим новым опытом в жизни девятнадцатого века были события последних лет. Я говорю не о политике. Но в литературе, в обществе, в борьбе религиозных партий, в волнениях философских мнений — одним словом, в целом нравственном быте просвещенной Европы заметно присутствие какого-то нового, какого-то недавнего убеждения, которое если не изменяет господствующего направления, то по крайней мере дает ему другие оттенки и другие отношения.

В чем же состоит эта особенность текущей минуты?

Ответ на этот вопрос должен служить основанием наших суждений обо всем современном, ибо одно понятие текущей минуты, связывая общие мысли с частными явлениями, определяет в уме нашем место, порядок и степень важности для всех событий нравственного и физического мира. Было время, когда понятие настоящей минуты века составляло исключительную принадлежность гения, предполагая в нем порыв какого-то безотчетного, пророческого и немногим доступного вдохновения. Но теперь, когда определить господствующее направление века сделалось главною общею целию всех мыслящих; когда все *данные* для того известны и собраны; когда все отрасли ума и жизни породнились между собой столь тесно, что изучение одной открывает нам современное состояние всех других, понятие настоящего направления времени уже не требует ни гениальности, ни вдохновения; оно сделалось доступно для каждого мыслящего и предполагает в нем только внимательный взгляд на окружающий мир, холодный расчет и беспристрастное соображение.

Однако, несмотря на это всеобщее стремление постигнуть дух своего времени, не было века, изучение которого представляло бы столько трудностей, сколько представляет изучение нашего, ибо никогда изменения господствующего направления не совершались столь быстро и столь решительно. Прежде характер времени едва чувствительно переменялся с переменою поколений; наше время для одного поколения меняло характер свой уже несколько раз, и можно сказать, что те из моих читателей, которые видели полвека, видели несколько веков, пробежавших пред ними во всей полноте своего развития.

Утверждение это не игра пустых слов: его истина

1832 N 1.

ЕВРОПЕЕЦЪ.

I.

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВѢКЪ.

Столько уже говорено о направленіи девятнадцатаго вѣка, что мудрено было бы сказать объ немъ что либо новое, если бы девятнадцатый вѣкъ былъ для насъ прошедшимъ. Но онъ живетъ, и слѣдовательно измѣняется; и каждое измѣненіе его господствующаго духа ставитъ насъ на новую точку зрѣнія. Другая перспектива, въ которой минувшее, располагается передъ текущею минутою, даетъ ему другое значеніе. Такъ путешественникъ съ каждою перемѣною мѣста видитъ въ новомъ свѣтѣ пройденную дорогу. Такъ новый опытъ въ жизни даетъ цѣлому міру воспоминаній новую стройность и новый смыслъ.

Этимъ новымъ опытомъ въ жизни девятнадцатаго вѣка были событія послѣднихъ лѣтъ. Я говорю не о политикѣ. Но въ литературѣ, въ обществѣ, въ борьбѣ религіозныхъ партій, въ волненіяхъ философскихъ мнѣній,

Первая страница первого номера «Европейца»

подтверждается ежедневно очевидными доказательствами. Сравните прежние времена с настоящим; раскройте исторические записки, частные письма, романы и биографии прошедших веков: везде и во всякое время найдете вы людей *одного времени*. При всем разнообразии характеров, положений и обстоятельств каждый век представит вам один общий *цвет*, одно клеймо, которое больше или меньше врезано на всех одновременных лицах. Все воспитаны одномысленными обстоятельствами, образованы одинаким духом времени. И те умы, которые в борьбе с направлением своего века, и те, которые покорствуют ему, все равно обнаруживают его господство: оно служит общим центром, к которому примыкают направления частные, как правая и левая сторона в палате депутатов.

Но взгляните на европейское общество нашего времени: не разногласные мнения одного века найдете вы в нем, нет! Вы встретите отголоски нескольких веков, не столько противные друг другу, сколько *разнородные* между собою. Подле человека *старого времени* найдете вы человека, образованного духом *французской революции*; там человека, воспитанного обстоятельствами и мнениями, *последовавшими непосредственно за французскою революциею*; с ним рядом человека, проникнутого тем порядком вещей, который начался на твердой земле Европы с падением Наполеона; наконец, между ними встретите вы человека последнего времени, и каждый будет иметь свою особенную физиономию, каждый будет отличаться от всех других во всех возможных обстоятельствах жизни — одним словом, каждый явится пред вами отпечатком особого века.

Некоторые полагают, что эта быстрота изменений духа времени зависит от самой сущности сих изме-

нений; другие, напротив того, думают, что она происходит от обстоятельств посторонних, от случайных характеров действующих лиц и т. п., третьи видят причину ее в духе настоящего просвещения вообще. Мы не станем разыскивать степени справедливости каждого из сих объяснений; заметим только существование самого *факта* и постараемся определить исторически особенность и сущность последнего из сих изменений господствующего направления *европеизма*.

В конце осьмнадцатого века, когда борьба между старыми мнениями и новыми требованиями просвещения находилась еще в самом пылу своего кипения, господствующее направление умов было безусловно *разрушительное*. Науки, жизнь, общество, литература, даже самые искусства изящные — все обнаруживало одно стремление: ниспровергнуть старое. Замечательно, что даже мысль о новом, долженствовавшем заступить место старого, почти не являлась иначе как *отрицательно*. Эти электрические слова, которых звук так потрясал умы: *свобода, разум, человечество,* — что значили они во время французской революции?

Ни одно из сих слов не имело значения самобытного; каждое получало смысл только из отношений к прежнему веку. Под *свободою* понимали единственно отсутствие прежних стеснений; под *человечеством* разумели единственно материальное большинство людей, то есть противуположность тем немногим лицам, в коих, по прежним понятиям, оно заключалось; царством *разума* называли отсутствие предрассудков или того, что почитали предрассудками — и что не предрассудок пред судом толпы непросвещенной? Религия пала вместе с злоупотреблениями оной, и ее место засту-

пило легкомысленное неверие. В науках признавалось истинным одно ощутительно испытанное, и все сверхчувственное отвергалось не только как недоказанное, но даже как невозможное. Изящные искусства от подражания классическим образцам обратились к подражанию внешней неодушевленной природе. Тон общества от изысканной искусственности перешел к необразованной естественности. В философии господствовал грубый, чувственный материализм. Правила нравственности сведены были к расчетам непросветленной корысти. Одним словом, все здание прежнего образа мыслей разрушилось в своем основании; вся совокупность нравственного быта распадалась на составные части, на азбучные, материальные начала бытия.

Но это направление разрушительное, которому ясным и кровавым зеркалом может служить французская революция, произвело в умах направление противное, контрреволюцию, которая хотя совершилась не везде одновременно, но выразилась везде однозначительно. Систематические умозрения взяли верх над ощутительным опытом, который перестал уже быть единственным руководителем в науках. Мистицизм распространился между людьми, не поддававшимися увлечению легкомысленного неверия. Общество, униженное до простонародности, старалось возвыситься блеском внешнего великолепия и пышности. В искусствах подражание внешней природе заменилось сентиментальностию и мечтательностию, которые на всю действительность набрасывали однообразный цвет исключительного чувства или систематической мысли, уничтожая таким образом самобытность и разнообразие внешнего мира. В области философии как противуположность прежнему материализму начали раз-

виваться системы чисто духовные, выводящие весь видимый мир из одного невещественного начала. Таким образом, во всех отраслях ума и жизни более или менее заметна была потребность *единства*, противуположная прежнему разрушительному началу. Эта потребность единства произвела ту насильственную стройность, то искусственное однообразие, которые та́к же относятся к прежнему безначалию, как великий похититель французского престола[1] относится к воспитавшей его французской республике. Но сии два противуположные направления, *разрушительное* и *насильственно соединяющее*, согласовались в одном: в борьбе с прежним веком. Из этой борьбы родилась потребность мира; из противуречащих волнений — потребность успокоительного равновесия, и образовалось третье изменение духа девятнадцатого века: стремление к мирительному соглашению враждующих начал.

Терпимость вместе с уважением к религии явилась на место ханжества, неверия и таинственной мечтательности. В философии идеализм и материализм помирились системою тожества. Общество высшим законом своим признало изящество образованной простоты, равно удаленной от той простоты грубой, которая происходит от разногласного смешения состояний, и от той изысканности неестественной, которая царствовала при дворе Людовика XIV, и от того великолепия необразованного, которое окружало Наполеона в его величии. В поэзии подражание видимой действительности и мечтательность заменились направлением историческим, где свободная мечта проникнута неизменяемою действительностью и красота однозначительна с правдою. И эта поэзия историческая почти не заимствовала предметов своих ни

из древней истории, ни из новой; содержанием ее почти исключительно была история средняя, то есть то время, из которого развивался недавно прошедший порядок вещей, находившийся в борьбе с новыми стремлениями. Исторические разыскатели также ограничивались преимущественно эпохою средних веков, исключая некоторых немецких филологов, далеко не составляющих большинства. Даже мода искала готического в своих минутных нарядах, в убранствах комнат и т. п. Вообще в целом быте просвещеннейшей части Европы образовался новый, *сложный* порядок вещей, в состав которого вошли не только результаты новых стремлений, но и остатки старого века, частию еще уцелевшие, частию возобновленные, но в обоих случаях неизменные новыми отношениями. Господствующее направление умов, соответствовавшее этому новому порядку вещей, заключалось в стремлении к успокоительному уравновешиванию нового духа с развалинами старых времен и к сведению противуположных крайностей в одну общую, *искусственно отысканную* середину.

Но долго ли продолжалось это направление?

Оно продолжается еще и теперь, но уже значительно измененное. Докажем это состоянием литературы.

В литературе результатом сего направления было стремление согласовать воображение с действительностью, правильность форм с свободою содержания, округленность искусственности с глубиною естественности — одним словом, то, что напрасно называют *классицизмом*, с тем, что еще неправильнее называют *романтизмом*. Гете в своих последних произведениях и Вальтер Скотт в своих романах могут во многих

отношениях служить примером такого стремления. Тому десять лет Гете и Вальтер Скотт были единственными образцами для всех подражаний, были идеалами тех качеств, которых европейская публика требовала от своих писателей.

Но теперь большинство публики ищет уже другого. Это заметно не только из того, что подражания прежним образцам значительно уменьшились, но еще более из того, что теперь в литературе властвуют такого рода писатели и сочинения таких родов, которыми наслаждение несовместно с предпочтением Гете и Вальтера Скотта. Неестественная изысканность подле безвкусной обыкновенности в мыслях; натянутость и вместе низость слога и вообще уродливость талантов, господствующих в самых просвещенных словесностях, доказывают ясно, что вкус нашего времени требует чего-то нового, чего не достает прежним писателям и для чего еще не явилось истинного поэта.

Правда, этими уродливыми талантами восхищается полуобразованная толпа, составляющая материальное большинство публики, между тем как люди со вкусом просвещенным смотрят на них с одним участием сожаления. Однако не надо забывать, это та полуобразованная толпа — та самая, которая некогда восхищалась Шекспиром и Попом [2], Расином и Вольтером, Шиллером и Лессингом, и еще недавно Байроном, Вальтером Скоттом и Гете. Дело только в том, что для нее красота есть достоинство второстепенное даже и в поэзии и что первое, чего она требует, — это *соответственность с текущею минутою.*

Доказывать сего положения, кажется, не нужно: его подтверждают тысяча поэтов, бесталантных, которые имели короткий успех только потому, что выра-

жали образ мыслей или чувство, господствовавшие в их время.

Итак, чтобы определить эту соответственность между требованиями текущей минуты и настоящим состоянием поэзии, надобно найти *общие качества*, которые равно были бы свойственны всем писателям, пользующимся незаслуженными успехами. Ибо, чем менее таланта в счастливом писателе, тем более обнаруживает он требования своей публики.

По моему мнению, в самих изысканностях и неестественностях в отвратительных картинах, перемешанных с лирическими выходками, в несообразности тона с предметом — одним словом, во всем, что называют безвкусием, у большей части счастливых писателей нашего времени заметны следующие отличительные качества.

1-е. Больше восторженности, чем чувствительности.

2-е. Жажда сильных потрясений без уважения к их стройности.

3-е. Воображение, наполненное одною действительностию во всей наготе ее.

Постараемся соединить в уме эти три качества и спросим самих себя: что предполагают они в человеке, который ищет их в поэзии?

Без сомнения, качества сии предполагают холодность, прозаизм, *положительность* и вообще *исключительное стремление к практической деятельности.* То же можно сказать и о большинстве публики в самых просвещенных государствах Европы.

Вот отчего многие думают, что время поэзии прошло и что ее место заступила жизнь действительная. Но неужели в этом стремлении к жизни действительной нет своей особенной поэзии? Именно из то-

го, что Жизнь *вытесняет* Поэзию, должны мы заключить, что стремление к Жизни и Поэзии *сошлись*, и что, следовательно, час для поэта Жизни наступил.

Такое же сближение жизни с развитием человеческого духа, как мы заметили в поэзии, обнаруживается и в современном состоянии наук. В доказательство возьмем самое умозрительное и самое отвлеченное из человеческих познаний: философию.

Натуральная философия, названная так по случайной особенности своего происхождения, была последнею ступенью, до которой возвысилось новейшее любомудрие. Идеализм Фихте и реализм Спинозы, догматизм схоластики и критицизм Канта, предустановленная гармония Лейбница и вещественная последовательность английского и французского материализма — одним словом, все развитие новейшего мышления от Декарта до Шеллинга совместилось в системе сего последнего и нашло в ней свое окончательное развитие, дополнение и оправдание. Казалось, судьба философии решена, цель ее отыскана и границы раздвинуты до невозможного. Ибо, постигнув сущность разума и законы его необходимой деятельности, определив соответственность сих законов с законами безусловного бытия, открыв в целом объеме мироздания повторение того же вечного разума по тем же началам вечной необходимости, куда бы еще могла стремиться любознательная мысль человека?

Таково было мнение почти всех приверженцев системы тожества, то есть не одних шеллингистов, но и последователей Гегеля, Окена [3], Аста [4], Вагнера [5] и других предводителей новейшего немецкого любомудрия. И по мере того, как это любомудрие распространялось вне Германии, вместе с ним распространя-

лась уверенность, что оно составляет последнее звено и верховный венец философского мышления.

Но тот же Шеллинг, который первый создал систему тожества, теперь сам открывает новую цель и прокладывает новую дорогу для философии. Истинное познание, говорит он, познание *положительное, живое*, составляющее конечную цель всех требований нашего ума, не заключается в логическом развитии всех необходимых законов нашего разума. Оно *вне* школьно-логического процесса и потому живое; оно *выше* понятия вечной необходимости и потому *положительное*; оно *существеннее* математической отвлеченности и потому *индивидуально-определенное, историческое*. Но все системы новейшего любомудрия, под какими бы формами они ни обнаруживались, под какими бы ни скрывались именами, преследовали единственно развитие законов умственной необходимости, и даже новейший материализм основывался на убеждении чисто логическом, выведенном из отвлеченного понятия законов нашего разума, но не из живого познания сущности вещей и бытия. Весь результат такого мышления мог заключаться только в познании *отрицательном*, ибо разум, сам себя развивающий, сам собою и ограничивается. Познания отрицательные необходимы, но не как цель познавания, а только как средство; они очистили нам дорогу к храму живой мудрости, но у входа его должны были остановиться. Проникнуть далее предоставлено философии положительной, *исторической*, для которой теперь только наступает время, ибо теперь только довершено развитие философии отрицательной и логической.

Очевидно, что это требование исторической существенности и положительности в философии, сближая

весь круг умозрительных наук с жизнью и действительностью, соответствует тому же направлению, какое господствует и в новейшей литературе. И то же стремление к существенности, то же сближение духовной деятельности с действительностью жизни обнаруживается в мнениях религиозных.

Мы уже заметили, что с легкомысленным и насмешливым неверием, распространенным Вольтером и его последователями, боролся мечтательный мистицизм, который, однако же, по сущности своей доступен только для немногих и, следовательно, не мог преодолеть почти всеобщего вольтеровского вольнодумства. Но чего не мог совершить мистицизм, то совершилось успехами просвещения вообще, искоренившего некоторые злоупотребления и уничтожившего предрассудки, которые мешали беспристрастию. Теперь, благодаря сим успехам просвещения, уважение к религии сделалось почти повсеместным, исключая, может быть, Италию, где тон легкомысленного безверия, данный Вольтером, еще во всей силе, но где просвещение и не в этом одном отстало от образованной Европы.

Но это уважение к религии по большей части сопровождалось каким-то равнодушием, которое противоречило дальнейшему развитию просвещения и которое теперь начинает проходить вместе с распространением более истинных понятий. Ибо недавно еще как понимала религию большая часть людей просвещенных? Либо как совокупность обрядов, либо как внутреннее, индивидуальное убеждение в известных истинах. Но это ли религия?

Нет, религия не один обряд и не одно убеждение. Для полного развития не только истинной, но даже и ложной религии необходимо единомыслие народа,

освященное яркими воспоминаниями, развитое в преданиях одномысленных, сопроникнутое с устройством государственным, олицетворенное в обрядах однозначительных и общенародных, сведенное к одному началу положительному и ощутительное во всех гражданских и семейственных отношениях. Без этих условий есть убеждение, есть обряды, но собственно религии нет. Истина эта особенно распространяется в наше время, когда жизнь народов развита глубже и многостороннее и когда потребность религии стала ощутительна не в одних умозрениях. Замечательно, что и паписты, и иезуиты, и сенсимонисты, и протестанты-супранатуралисты и даже рационалисты, — одним словом, все религиозные партии, которые теперь в таком множестве волнуются по Европе и которые не согласны между собою во всем остальном, — все, однако же, в одном сходятся: *в требовании большего сближения религии с жизнью людей и народов.*

Такая же потребность сближения с жизнью заметна и в целом мире европейской образованности. Везде господствует направление чисто практическое и деятельно положительное. Везде дело берет верх над системою, сущность над формою, существенность над умозрением. Жизнь и общество становятся прямее и проще в своих отношениях, яснее и естественнее в своих требованиях. То *искусственное* равновесие противуборствующих начал, которое недавно еще почиталось в Европе единственным условием твердого общественного устройства, начинает заменяться равновесием *естественным*, основанным на просвещении общего мнения.

Может быть, это просвещение общего мнения только мечта, которая разрушится опытом. Может быть, это счастливая истина, которая подтвердится

благоденствием обществ. Но мечта или истина — решит провидение; мы заметим только, что *вера* в эту мечту или в эту истину составляет основание господствующего характера настоящего времени и служит связью между деятельностью практическою и стремлением к просвещению вообще. Ибо направление практическое тогда только может быть венцом просвещения, когда частная жизнь составляет одно с жизнию общественной; когда жизнь действительная, образованная общим мнением, устроена вместе по законам разума и природы. В противном случае — то есть когда просвещение общего мнения в разногласии с основными мнениями людей просвещенных — жизнь идет по одной дороге, а успехи ума по другой, и даже в людях необыкновенных, составляющих исключение из своего времени, эти две дороги сходятся редко и только в некоторых точках.

И может ли один человек образовать себе жизнь особую посреди общества, образованного иначе? Нет, в жизни внутренней, духовной, одинокой будет он искать дополнения жизни внешней и действительной. Он будет поэтом, будет историком, разыскателем, философом и только иногда *человеком*, ибо в тесном кругу немногих сосредоточено поприще его практической деятельности.

Вот почему главный характер просвещения в Европе был прежде попеременно поэтический, исторический, художественный, философический и только в наше время мог образоваться чисто *практическим.* Человек нашего времени уже не смотрит на жизнь как на простое условие развития духовного, но видит в ней вместе и средство и цель бытия, вершину и корень всех отраслей умственного и сердечного просвещения. Ибо жизнь явилась ему существом разум-

ным и мыслящим, способным понимать его и отвечать ему, как художнику Пигмалиону[6] его одушевленная статуя.

Обратимся теперь к просвещению нашего отечества и посмотрим, как отражалась на нем жизнь просвещения европейского.

‹И. В. Киреевский›.

II
СКАЗКА О СПЯЩЕЙ ЦАРЕВНЕ

Жил-был добрый царь Матвей;
Жил с царицею своей
Он в согласье много лет;
А детей все нет как нет.
Раз царица на лугу,
На зеленом берегу
Ручейка была одна;
Горько плакала она.
Вдруг, глядит, ползет к ней рак;
10 Он сказал царице так:
«Мне тебя, царица, жаль;
Но забудь свою печаль;
Понесешь ты в эту ночь:
У тебя родится дочь». —
«Благодарствуй, добрый рак;
Не ждала тебя никак...»
Но уж рак уполз в ручей,
Не слыхав ее речей.
Он, конечно, был пророк;
20 Что сказал — сбылося в срок:
Дочь царица родила.
Дочь прекрасна так была,
Что ни в сказке рассказать,
Ни пером не описать.
Вот царем Матвеем пир
Знатный дан на целый мир;
И на пир веселый тот
Царь одиннадцать зовет
Чародеек молодых;
30 Было ж всех двенадцать их;

Но двенадцатой одной,
Хромоногой, старой, злой,
Царь на праздник не позвал.
Отчего ж так оплошал
Наш разумный царь Матвей?
Было то обидно ей.
Так! но есть причина тут:
У царя двенадцать блюд
Драгоценных, золотых
40 Было в царских кладовых;
Приготовили обед;
А двенадцатого нет
(Кем украдено оно,
Знать об этом не дано).
«Что ж тут делать? — царь сказал. —
Так и быть!» И не послал
Он на пир старухи звать.
Собралися пировать
Гостьи, званные царем;
50 Пили, ели, а потом,
Хлебосольного царя
За прием благодаря,
Стали дочь его дарить:
«Будешь в золоте ходить;
Будешь чудо красоты;
Будешь всем на радость ты
Благонравна и тиха;
Дам красавца жениха
Я тебе, мое дитя;
60 Жизнь твоя пройдет шутя
Меж знакомых и родных...»
Словом, десять молодых
Чародеек, одарив
Так дитя наперерыв,

Удалились; в свой черед
И последняя идет;
Но еще она сказать
Не успела слова — глядь!
И незваная стоит
70 Над царевной и ворчит:
«На пиру я не была,
Но подарок принесла:
На шестнадцатом году
Повстречаешь ты беду;
В этом возрасте своем
Руку ты веретеном
Оцарапаешь, мой свет,
И умрешь во цвете лет!»
Проворчавши так, тотчас
80 Ведьма скрылася из глаз;
Но оставшаяся там
Речь домолвила: «Не дам
Без пути ругаться ей
Над царевною моей;
Будет то не смерть, а сон;
Триста лет продлится он;
Срок назначенный пройдет,
И царевна оживет;
Будет долго в свете жить;
90 Будут внуки веселить
Вместе с нею мать, отца
До земного их конца».
Скрылась гостья. Царь грустит;
Он не ест, не пьет, не спит:
Как от смерти дочь спасти?
И беду чтоб отвести,
Он дает такой указ:
«Запрещается от нас

В нашем царстве сеять лен,
100 Прясть, сучить, чтоб веретен
Духу не было в домах;
Чтоб скорей как можно прях
Всех из царства выслать вон».
Царь, издав такой закон,
Начал пить, и есть, и спать,
Начал жить да поживать,
Как дотоле без забот.
Дни проходят; дочь растет;
Расцвела, как майский цвет;
110 Вот уж ей пятнадцать лет...
Что-то, что-то будет с ней!
Раз с царицею своей
Царь отправился гулять;
Но с собой царевну взять
Не случилось им; она
Вдруг соскучилась одна
В душной горнице сидеть
И на свет в окно глядеть.
«Дай, — сказала наконец, —
120 Осмотрю я наш дворец».
По дворцу она пошла:
Пышных комнат нет числа;
Всем любуется она;
Вот, глядит, отворена
Дверь в покой; в покое том
Вьется лестница винтом
Вкруг столба; по ступеням
Всходит вверх и видит — там
Старушоночка сидит;
130 Гребень под носом торчит;
Старушоночка прядет
И за пряжею поет:

«Веретенце, не ленись;
Пряжа тонкая, не рвись;
Скоро будет в добрый час
Гостья жданная у нас».
Гостья жданная вошла;
Пряха молча подала
В руки ей веретено;
140 Та взяла, и вмиг оно
Укололо руку ей...
Все исчезло из очей;
На нее находит сон;
Вместе с ней объемлет он
Весь огромный царский дом;
Все утихнуло кругом;
Возвращаясь во дворец,
На крыльце ее отец
Пошатнулся, и зевнул,
150 И с царицею заснул;
Свита вся за ними спит;
Стража царская стоит
Под ружьем в глубоком сне,
И на спящем спит коне
Перед ней хорунжий сам;
Неподвижно по стенам
Мухи сонные сидят;
У ворот собаки спят;
В стойлах, головы склонив,
160 Пышны гривы опустив,
Кони корму не едят,
Кони сном глубоким спят;
Повар спит перед огнем;
И огонь, объятый сном,
Не пылает, не горит,
Сонным пламенем стоит;

И не тронется над ним,
Свившись клубом, сонный дым;
И окрестность со дворцом
170 Вся объята мертвым сном;
И покрыл окрестность бор;
Из терновника забор
Дикий бор тот окружил;
Он навек загородил
К дому царскому пути:
Долго, долго не найти
Никому туда следа —
И приблизиться беда!
Птица там не пролетит,
180 Близко зверь не пробежит,
Даже облака небес
На дремучий, темный лес
Не навеет ветерок.
Вот уж полный век протек;
Словно не жил царь Матвей —
Так из памяти людей
Он изгладился давно;
Знали только то одно,
Что средь бора дом стоит,
190 Что царевна в доме спит,
Что проспать ей триста лет,
Что теперь к ней следу нет.
Много было смельчаков
(По сказанью стариков),
В лес брались они сходить,
Чтоб царевну разбудить;
Даже бились об заклад
И ходили — но назад
Не пришел никто. С тех пор
200 В неприступный, страшный бор

Ни старик, ни молодой
За царевной ни ногой.
Время все текло, текло;
Вот и триста лет прошло.
Что ж случилося? В один
День весенний царский сын,
Забавляясь ловлей, там
По долинам, по полям
С свитой ловчих разъезжал.
210 Вот от свиты он отстал;
И у бора вдруг один
Очутился царский сын.
Бор, он видит, темен, дик.
С ним встречается старик.
С стариком он в разговор:
«Расскажи про этот бор
Мне, старинушка честной!»
Покачавши головой,
Все старик тут рассказал,
220 Что от дедов он слыхал
О чудесном боре том:
Как богатый царский дом
В нем давным-давно стоит,
Как царевна в доме спит,
Как ее чудесен сон,
Как три века длится он,
Как во сне царевна ждет,
Что спаситель к ней придет;
Как опасны в лес пути,
230 Как пыталася дойти
До царевны молодежь,
Как со всяким то ж да то ж
Приключалось: попадал
В лес, да там и погибал.

Был детина удалой
Царский сын; от сказки той
Вспыхнул он, как от огня;
Шпоры втиснул он в коня;
Прянул конь от острых шпор
240 И стрелой помчался в бор,
И в одно мгновенье там.
Что ж явилося очам
Сына царского? Забор,
Ограждавший темный бор,
Не терновник уж густой,
Но кустарник молодой;
Блещут розы по кустам;
Перед витязем он сам
Расступился, как живой;
250 В лес въезжает витязь мой:
Все свежо, красно пред ним;
По цветочкам молодым
Пляшут, блещут мотыльки;
Светлой змейкой ручейки
Вьются, пенятся, журчат;
Птицы прыгают, шумят
В густоте ветвей живых;
Лес душист, прохладен, тих,
И ничто не страшно в нем.
260 Едет гладким он путем
Час, другой; вот наконец
Перед ним стоит дворец,
Зданье — чудо старины;
Ворота отворены;
В ворота въезжает он;
На дворе встречает он
Тьму людей, и каждый спит:
Тот как вкопанный сидит;

Тот не двигаясь идет;
270 Тот стоит, раскрывши рот,
Сном пресекся разговор,
И в устах молчит с тех пор
Недоконченная речь;
Тот, вздремав, когда-то лечь
Собрался, но не успел:
Сон *волшебный* овладел
Прежде сна *простого* им;
И, три века недвижим,
Не стоит он, не лежит
280 И, упасть готовый, спит.
Изумлен и поражен
Царский сын. Проходит он
Между сонными к дворцу;
Приближается к крыльцу;
По широким ступеням
Хочет вверх идти; но там
На ступенях царь лежит
И с царицей вместе спит.
Путь наверх загорожен.
290 «Как же быть? — подумал он, —
Где пробраться во дворец?»
Но решился наконец,
И, молитву сотворя,
Он шагнул через царя.
Весь дворец обходит он;
Пышно все, но всюду сон,
Гробовая тишина.
Вдруг глядит: отворена
Дверь в покой; в покое том
300 Вьется лестница винтом
Вкруг столба; по ступеням
Он взошел. И что же там?

Вся душа его кипит,
Перед ним царевна спит.
Как дитя, лежит она,
Распылалася от сна;
Молод цвет ее ланит;
Меж ресницами блестит
Пламя сонное очей;
310 Ночи темныя темней,
Заплетенные косой
Кудри черной полосой
Обвились кругом чела;
Грудь, как свежий снег, бела;
На воздушный, тонкий стан
Брошен легкий сарафан;
Губки алые горят;
Руки белые лежат
На трепещущих грудях;
320 Сжаты в легких сапожках
Ножки — чудо красотой.
Видом прелести такой
Отуманен, распален,
Неподвижно смотрит он;
Неподвижно спит она.
Что ж разрушит силу сна?
Вот, чтоб душу насладить,
Чтоб хоть мало утолить
Жадность пламенных очей,
330 На колени ставши, к ней
Он приблизился лицом:
Распалительным огнем
Жарко рдеющих ланит
И дыханьем уст облит,
Он души не удержал
И ее поцеловал.

Вмиг проснулася она;
И за нею вмиг от сна
Поднялося все кругом:
340 Ца́рь, царица, царский дом;
Снова говор, крик, возня;
Все как было; словно дня
Не прошло с тех пор, как в сон
Весь тот край был погружен.
Царь на лестницу идет;
Нагулявшися, ведет
Он царицу в их покой;
Сзади свита вся толпой;
Стражи ружьями стучат;
350 Мухи стаями летят;
Приворотный лает пес;
На конюшне свой овес
Доедает добрый конь;
Повар дует на огонь,
И, треща, огонь горит,
И струею дым бежит;
Все бывалое — один
Небывалый царский сын.
Он с царевной наконец
360 Сходит сверху; мать, отец
Принялись их обнимать.
Что ж осталось досказать?
Свадьба, пир и я там был
И вино на свадьбе пил;
По усам вино бежало,
В рот же капли не попало.

В. Жуковский

III
ИМПЕРАТОР ИУЛИАН [1]

Общество может долгое время существовать без искусств и литературы. Тогда несколько народных песен составляют всю его поэзию; в нескольких преданиях заключаются все его летописи. Тогда не имеет оно других философов, кроме своих жрецов и служителей веры. Но когда какой-либо народ, благоприятствуемый климатом и получивший свое развитие от существующих в нем учреждений, предается изящным наукам, тогда науки сии составляют уже часть его жизни, его могущества. Они не могут исчезать, или приходить в упадок без того, чтобы самый дух народа не представлялся нам угасающим или униженным. Науки, находясь в тесном соединении с богоучением, преданиями и нравами государства, следуют за его возрастанием, ослаблением и падением. Они живут и умирают с ним вместе.

Смотря с сей точки, самое состояние упадка изящных наук становится для нас фактом наставительным, верным изображением последних минут жизни общества. Когда мы усматриваем, что науки сии, скудные воображением, лишенные света разума, занимаются пересудами о старых событиях, возобновляют обветшалые споры, упорно защищают разрушенные мнения, то сие значит, что общество сделалось как бы дряхлым старцем, пересказывающим прошедшее и уже не имеющим ни чувства, ни памяти для настоящего. Счастлив тот народ, за умирающей образованностью которого возникает образованность другая, оживляемая духом плодотворным и новым. Это

есть матемпсихоза государств. Тогда эпохи следуют в нем одна за другою, как в семействе поколения.

Но сии климатерические * переломы, сии болезни возрождения часто бывают смертельными для народов, испытывающих оные. Общество римское погибло во время перехода к христианскому богоучению. Все изменилось в несколько столетий, начиная от поколений до названия самих мест; не одни набеги народов иноплеменных, не одни переселения варваров были причиною переворота. Он был следствием внутренней борьбы в древнем обществе, элементы которого не могли более пребывать между собою в согласии, ни сами собою улучшиться.

Мысль сия еще более поражает нас, когда мы пробегаем последние памятники языческой литературы, свидетельства древнего мира, близкого к концу. Кажется, что читаешь мечтания старцев и лихорадочный бред умирающего; но и это состояние любопытно для наблюдения. Оно ниспровергает обыкновенное мнение, состоящее в том, что равнодушие народов в религии есть знак общественного истощения.

Остановимся только на политеизме греков и римлян. Никогда не внушал он столько суеверной ревности к своему учению, никогда не имел он столь сильных себе защитников, в мистических своих энтузиастах, как в тот век, который предшествовал его разрушению и вместе разрушению империи. Политеизм сей стал буйством последних своих сектаторов; и по

* *Климатерическим* годом называется каждый седьмой год человеческой жизни; напр. 7, 14, 21, 28 и т. д. Годы 63-й и 84-й признаны великими климатерическими годами. Некоторые утверждают, что в сии годы бывают решительные изменения в жизни человека. (Примеч. перевод.)

причине отчаянного его положения и борения с ним других сил в нем еще увеличивалось суеверие древних времен; ибо воображение, творящее себе утопию из прошедшего и создающее мечты из воспоминаний, имеет в себе всю упорность предрассудка, всю стремительность духа нововведений.

Главою сего общества, или лучше сей школы, был Иулиан, коего попеременно называли то отступником, то философом, и который был только фанатиком прошедшего. В доказательство представим себе новое вероучение, овладевающее миром; местный патриотизм, заменяемый космополитическим братством; древнюю философию, древнее красноречие, презираемые по влиянию новых идей; древние обряды веры, вытесняемые обрядами новыми, и, наконец, преступления политики варваров вместе с победою и добродетелями христиан. Юный князь от рода кесарей, исполненный воображения и энтузиазма, страдает в изгнании от тиранства подозрительного Констанция[2], истребившего все его семейство. Констанций христианин — достаточная причина для Иулиана быть язычником — Констанций разрушил древнее вероучение империи — сего довольно, чтобы Иулиан желал восстановить оное. В учении сем находит Иулиан великие примеры обожаемой им добродетели и фанатизм его, ищущий везде предлога к убеждению, почитает себя оправданным философиею Марка Аврелия[3]. В сем хаосе древних и новых, им самым соединенных, Иулиан — деспот и республиканец, язычник-суевер и язычник-нововводитель, заимствующий многое от христианства, им ниспровергаемого, обременяющий нелепыми обрядами очищаемое им язычество, жрец, кудесник, военачальник, император, софист — Иулиан, в одной особе соединяет все роли язычества и придает им

новый характер тем умствующим и преднамеренным суеверием, которое он сам для себя составил.

Когда мы читаем историю, когда мы слышим восклицание одного из христиан при имени Иулиана: *Он был изменник пред богом, но не пред миром*; то соглашаемся в том, что сей необыкновенный человек имел великие дарования, имел много гения; но его должно изучать как представителя древнего общества, как свидетельство борьбы со временем.

Действительно, при всей слабости своей к прошедшему, и несмотря на дерзновенные свои покушения восстановить древнее вероучение мира, он был тесним и преисполнен новыми идеями. Иулиан хотел бы быть суевернее царя Нумы[4], желал бы преувеличить поэтическое баснословие Гомера, желал бы верить более, нежели когда-либо верили, хотя бы только для того, чтобы обезопасить обломки языческих преданий, и он же, Иулиан, призывает нравственность в помощь колеблющемуся своему учению. Он отрекается от предрассудков римлян и греков, в отношении к иудеям, признает * Великого бога, ими исповедуемого, и в самое то время, как он, желая восстановить древнюю веру, увеличивает число кровавых жертвоприношений, умножает блеск языческих обрядов, в то же время желает он учредить, близ каждого храма, училище нравственности и дом врачевания.

Так предприимчивый гений Иулиана не мог вмещаться в пределах древних мнений, которые брался он восстановить. Удерживаемый суеверным подражанием прошедшему, он был, однако, увлекаем но-

---

* Juliani opera passim. (Собрание сочинений Юлиана. — *лат.*)

выми идеями, господствовавшими в его веке Гомер был для него тем же, чем Библия для наших проповедников. Из него заимствовал он правила любви к ближнему; с помощью христианской нравственности изменял чувственное баснословие политеизма и новые идеи прикрывал древними словами. И тогда он умышленно старался смотреть на язычество своего времени как на испорченное состояние истинного язычества, отыскивая сущность оного во мраке отдаленной древности. В сем труде странном, насильственном долженствовал ослабеть природный гений Иулиана, и по сему-то красноречие его было мистическое, отвлеченное, напыщенное, преисполненное софизмами. Ничто не может быть естественным, истинным в усилиях человека жить вне своего времени, подражать гражданственности уже несуществующей и насильственно увеличивать достоинство оной.

Слепою ненавистью к христианству, умом важным и насмешливым, твердою волею сделавшего его полководцем и завоевателем, вопреки страсти к наукам и философическому покою, Иулиан во многом походил на Фридриха Великого [5]. Сии две души вылиты в одну форму; одна только разность времени нарушает многие между ними аналогии. Оба они рождены близ престола и оба в юности испытали великие неприятности и опасности, будучи подвержены жестокому тиранству людей им кровных. Иулиан был заключен в монастырь, Фридрих в крепость. Первому угрожала жестокость Констанция, другому гнев неумолимого его родителя. Оба сохранены были необходимостью иметь наследника престолу. Оба посвятили сие тяжкое время испытаний философии и изящным наукам, которые были им запрещены. Иулиан, воспитанный против собственной воли в хри-

стианском законе, втайне изучал творения языческих софистов; Фридрих, гонимый своим отцом, желавшим сжечь все книги, скрытно доставал себе сочинения самых дерзновенных писателей XVIII века. Фридрих, в казематах Шпандау, воспламенялся при чтении Вольтера, равно как Иулиан, изучая в церкви Антиохийской языческого софиста Либания[6]. Такое насилие, вравне испытываемое, только что раздражало сии два ума, исполненные живости и силы. Оба они получили ненависть к мнениям, которые на них налагали, и фанатизм к тем мнениям, кои были им запрещены. Но философия Иулиана была напечатлена суеверием его времени: она была строгая и мистическая, напротив того, философия Фридриха, буйная, своевольная и скептическая, принадлежала его собственному веку. Иулиан был человеком испорченных нравов и ума пылкого. Нравственность Фридриха была испорченная; сердце его было грубое.

Философия того и другого проистекала от гордости, не защитила их от тщеславия. Иулиан с небрежною поступью, с видом задумчивым, с пальцами в чернилах, сделавшись предводителем войск, показался вначале софистом, и не на своем месте. Фридрих, став королем и не забыв эпикурийского своего учения, убежал с поля первой битвы, но скоро и тот и другой, Иулиан и Фридрих, сделались великими полководцами, изумили всех своим мужеством, привлекли к себе сердца своих сподвижников. Здесь сравнение останавливается. Жизнь одного была прервана в половине его подвигов, после полуторагодичного царствования.

Фридрих совершил весь путь жизни человеческой, привел к концу свои намерения и насладился своею славою. Неизвестно, что бы совершил Иулиан своим

мечом и законами. Но должно заметить, что он был в борьбе со своим веком, что философия его была возвратная и бесплодная, тогда как философия Фридриха, несмотря на его заблуждения, была в соединении с успехами общества. Иулиан был гонителем, хотя был великодушен; Фридрих был веротерпим, ибо был скептик.

Минутною победою и опрометчивыми покушениями Иулиан ускорил падение древнего вероучения и древних мнений. Фридрих был творцом прочного здания.

Д. С‹вербеев›
‹А. Ф. Вильмен›

IV
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЛОГЕ ВИЛЬМЕНЯ

Предыдущая статья об императоре Иулиане * принадлежит к тем немногим произведениям Вильменя, где благородная простота слога не изукрашена кудреватою изысканностью выражений и оборотов. Ибо, говоря вообще, язык Вильменя не столько отличается красотою правильною, строгою и классически спокойною, сколько живою, прихотливою грациозностью, щеголеватою своеобразностью и часто изученною небрежностью. Это особенно заметно в его импровизированных лекциях, где литератор не имеет времени быть сочинителем и переработывать свои невольные внушения по законам отчетливого вкуса и где, следовательно, природный талант является со всеми особенностями своих красот и недостатков, как разбуженная красавица в утреннем неприборе. По той же причине, по которой Гизо [3] на лекциях говорит больше дела и меньше фраз, чем в сочинениях, обделанных на досуге, — по той же причине в импровизациях Вильменя больше фраз и меньше дела, чем в его творениях кабинетных. Зато фразы его, как удачный стих, как счастливая тема, остаются в па-

* Тот же литератор, которому мы обязаны переводом этой статьи, столько же правильно, изящно и близко передал на русский язык сочинение того же автора о христианском красноречии IV века. Сочинение это будет напечатано вместо предисловия к новому переводу «Избранных мест из св. Иоанна Златоуста», издаваемому г. Оболенским [1] (переводчиком Платона и Геродиана) в пользу вдов и сирот духовного звания. См. XIII № «Телескопа» [2].

мяти даже тогда, когда они не выражают мысли новой или необыкновенной, хотя общая система мыслей Вильменя и нова и необыкновенна для Франции. Я говорю *система*, ибо не могу согласиться с теми, которые не находят ее во мнениях Вильменя. Да, несмотря на наружный беспорядок его мыслей, несмотря на небрежность его изложения, несмотря на кажущуюся легкость и случайность его положений, Вильмень имеет свою систему, и систему зрело обдуманную, ибо утверждения его нигде не противоречат одно другому; систему глубокую, ибо его мысли наравне с веком; систему твердо понятую и строго связанную именно потому, что он может выражать ее так легко, так удобопонятно и, по-видимому, так поверхностно: ясность есть последняя степень обдуманности.

На слог Вильменя более других французских писателей походит слог Бальзака, сочинителя «Последнего шуана», «Картин из частной жизни» и проч., и проч. Бальзак, так же как Вильмень, любит удивлять неожиданностью оборотов, необыкновенностью выражений и небывалым сцеплением разнозначительных эпитетов; он, так же как Вильмень, большую часть сравнений своих заимствует из жизни действительной и настоящей; он также позволяет себе иногда неправильность и нововведение для того, чтобы выразить едва выразимое, чтобы нарисовать мысль в ее живом цвете, с ее нежнейшими оттенками; но, несмотря на это сходство *манеры*, слог Бальзака, по моему мнению, отличается от слога Вильменя тем, что последний всегда почти верен чувству изящного приличия, между тем как первый, несмотря на весь талант свой, часто переступает за пределы грациозности в область неестественности. Вильмень скажет

иногда фразу мишурную, но кстати; Бальзак повторит ту же фразу и часто не к месту. Вильмень иногда неправилен как литератор, но в самих неправильностях его вы видите человека со вкусом тонким и воспитанным посреди отборного общества; говоря мысль новую, для которой еще нет выражения, он скорее выберет оборот капризно-разговорный, чем тяжело-ученый, по такому же чувству приличия, по какому наши дамы, не находя русских слов, скорее решаются на галлицизм, чем на выражение славянское. Бальзак неправилен не меньше Вильменя; но неправильность его часто ничем не оправдывается, и его изысканность иногда оскорбляет не только вкус литератора, но и хороший вкус вообще, как слишком высокий прыжок танцующего не на театре.

Особенно примечательно в Вильмене то, что он, не зная по-немецки, в своих мыслях и особенно в их литературных применениях почти всегда сходится с мыслями, господствующими в Германии. По моему мнению, это одно могло бы доказать нам, что познание немецкой литературы значительно распространено между образованными французами; что результаты немецкого мышления обращаются там, как монета, более или менее знакомая каждому, хотя еще новая и не всеми принимаемая, подобно нашим деньгам из платины.

‹И. В. Киреевский›

V

ЭЛЕГИЯ

В дни безграничных увлечений,
В дни необузданных страстей,
Со мною жил превратный гений
Наперсник юности моей.
Он жар восторгов несогласных
Во мне питал и раздувал;
Но соразмерностей прекрасных
В душе носил я идеал.
Когда лишь праздников смятенья
Алкал безумец молодой, —
Поэта мерные творенья
Блистали стройной красотой.
Страстей порывы утихают;
Страстей нечистые мечты
Передо мной не затмевают
Законов вечной красоты,
И поэтического мира
Огромный очерк я узрел,
И жизни даровать, о лира!
Твое согласье захотел.

Е. Баратынский

VI
ЧЕРНЕЦ

Жил был один немецкий граф, по имени граф Зигмунд Гернсбергский; молодая жена его Мария лежала больна злою горячкою; все монахи, все священники совсем уже не чаяли, чтоб она воротилась к жизни, и отнимали всякую надежду на ее выздоровление. Супруг ее, граф Зигмунд, печалился много и сильно, краска пропала с лица, кручина иссушила его, и тоска прежде времени состарила. Неотходно сидел он у постели хозяйки своей; ни один глоток вина не согревал ему сердца: в душу не шло питье, милым другом не налитое, милою женою не поднесенное. Зигмунд и Мария горячо друг друга любили, так что во всем околодке любовь их была примером любви, и в те времена супружеское счастие не было еще осьмым чудом света. Всем нищим подавал граф Зигмунд щедрую милостыню, все церкви обогатил дорогими дарами и всякого притом усердно просил помолиться царице небесной о здоровье жены его; но монахи дары принимали, а усердия к молитве не прилагали. Вот граф Зигмунд дал обещание идти самому ко гробу господню в Иерусалим, если выздоровеет супруга его Мария, и как скоро дал он это обещание, в ту же ночь жар уменьшился, горячка прошла, лекарства подействовали, и через несколько дней румянец здоровья опять начал играть на белых щеках, опять заблистали яхонтами голубые глаза, проглянули жемчужные зубки в улыбке каральковых уст. Радость графа Зигмунда была чрезмерна; от жарких его поцелуев полное здоровье скоро расцвело и созрело на милом лице: ласкам и поцелуям, сердеч-

ным разговорам и сердечным вздохам, шуткам и лобзаниям не было конца; тогда пришел к ним монах, у них в замке живущий и исправляющий должность священника во всем графском владении, и пришедши стал напоминать графу Зигмунду обещание его поклониться святому гробу, если господь возвратит здоровье жене его. Задумался граф, жестоко огорчилась жена его; зачем ехать за море грозное любезному супругу ее? зачем терпеть нужду и непогоду пути дальнего? зачем отдаваться опасностям земель неизвестных, когда здесь, без нужды и печали, без страха и заботы, рука в руку, любовь лелеет их вместе, в обетованной земле верного супружеского счастия? Долго отговаривала она графа и речами, и ласками, и слезами, и поцелуями; но граф Зигмунд был человек набожный и лукавства в себе не ведал, а священник замка был монах хитрый и легко расчел, что в отсутствие графа, взявши надзор над его имением, много лишнего дохода перепадет в карман ему. Вот он день и ночь строго графу выговаривал, стращал его и небом, и адом, и разными мытарствами, и рыцарскою честью; также и графиню. Сдались наконец оба на его увещания, и Зигмунд стал собираться в дорогу; пока он собирался, а между тем день за день шли скоро, в нежных ласках и горячей любви, и через девять месяцев родился у них крепкий, здоровый мальчик, и они назвали его Зигмундом.

Когда Мария встала с постели и оправилась, монах снова принялся за угрозы, за увещания и уговорил наконец графа Зигмунда исполнить обет свой и пуститься на поклонение святому гробу. Расставаясь, вот что сказал он жене своей:

«Я иду в край далекий, а ты оставайся дома и воспитывай нашего сына Зигмунда в рыцарской чести

и в христианском благочинии. А меня люби и не забывай!»

Тысячу тысяч поцелуев отпустила она с ним в дорогу; столь же сот тысяч благословений проводили его; сама же Мария, оставшись, несчетное множество слез пролила, кропила слезами и умывала спокойно у груди лежащее дитя свое; а дитя в кругленьком своем, как яблоко наливное, личике, повторяя черты отца своего, отирало эти слезы, нежным ротиком ловило поцелуи матери и утешало ее горе. В таких ласках, в таком лелеяньи проводила Мария половину дней своих, другую же занимала пеньем и музыкою; никто во всей немецкой земле не умел лучше ее и искуснее играть на арфе, ни у кого не было голоса слаще и чище, никто приятнее не пел веселых и нежных, и забавных песен, которых знала она столько, сколько тридцати ученым песельникам и арфистам во всю жизнь узнать не приводилось.

Между тем граф Зигмунд продолжал, не останавливаясь, путь свой, старался скорее достичь цели и скорее возвратиться в объятия жены своей, где только и удалось ему чувствовать живо, что на свете больше добра, чем зла. В обещании своем он не раскаивался и верил, что царица небесная, вняв молитвам его, пролила в лекарства жены его несколько капель с того животворящего дерева жизни, которое растет и цветет в средине земного рая.

Вот в Венеции сел граф на корабль и поплыл; через несколько дней жестокая буря оборвала паруса и мачты и бросила корабль на каменную скалу; с большим трудом спаслись от смерти и богомольцы, и корабельщики, и матросы; но не добрая доля ждала их на береге, куда выкинули их волны; все равно было бы попасться на съеденье китам морским и гие-

нам. В той земле царствовал салтан, дикой и суровый человек, ненавистник рода христианского; всех христиан, пристающих к нему на берег, приказывал он сковать оковами, запрягал их в железную соху вместе с рогатым волом и заставлял пахать поля. Такая-то участь постигла и графа. Думал он тогда о своем замке, о веселом житье своем, о спокойных досугах, в которых нежная рука жены отирала пот с лица его. Лесные коренья, болотная вода служили ему пищей и питьем, а воспоминание дорогих вин и вкусных брашен, и прежнего раздолья отравляло и коренья лесные, и воду болотную. Бывало и старый и малый с усердием окружали его, угождали каждому взгляду, а приказ — только вымолви! Теперь же, если, уставши, шаг его не равнялся с шагом рогатого товарища, ременная плеть в сильной руке немилосерднаго надсмотрщика болезненно отзывалась со спины в сердце. Бывало, на мягких пуховых подушках усыпляли его стройные звуки тихой арфы и сладкий голос милой хозяйки, — теперь камни кололи бока и волчий вой будил беспокойную дремоту. И стал граф Зигмунд так худ и тощ, как не бывал во время болезни жены своей, и больше похож был на тень, из гроба выходящую, нежели на человека.

Скорбь и печаль не покидали его: что делает жена и сын, которого черты едва мог запомнить? Часто приходила и ревность и нашептывала свои сказки, и насылала мучительные, вражеские сны: будто воротился он в свой замок Гернсберг, будто жена его сидит госпожей за большим столом, а около нее множество маленьких девушек и мальчиков, и все зовут ее матушкой, а отец он был — одному Зигмунду; будто затрубил рог на башне, и вскочила хозяйка, и побежала к дверям; будто у крыльца молодой

рыцарь спрыгивает с коня, статен и красив; вот бежит к молодой хозяйке, ласково его встречающей, и нежно прижимает ее в объятиях своих. Граф Зигмунд искал и не мог найти меча своего, и от сильного волнения просыпался в тех же оковах и в том же одиночестве.

Случилось однажды, что салтан шел мимо той пашни, где работал граф Зигмунд, и остановился салтан, и посмотревши на странное смешение человеков и животных, засмеялся громко и веселился, что может так унижать людей, как душе его угодно. Тут почувствовал граф благоприятную для себя минуту и упал в ноги салтану, и говорил ему такие речи:

«Всемилостивейший и непобедимый салтан-государь! Ежели твоему Величеству благоугодно выслушать моление запряженнаго в соху скота твоего, то наклони ко мне ухо твое; кашель и удушье заложили мне грудь, и я не могу громко говорить с тобой».

Салтан наклонил к нему ухо, засмеялся и сказал со смехом: «Ну, говори, проклятая собака! чего ты от меня просишь?»

«Пусти меня воротиться в свою землю, — сказал Зигмунд умоляющим голосом, — к друзьям моим, к законной супруге, к малолетнему сыну, которому сегодня исполнилось два года и три месяца: крушится душа моя по них. И если ты сжалишься над душею моею и отпустишь меня, то я выкупу дам за себя двух вороных жеребцов во всех статях, ростом пяти вершков, силою, что двадцать пудов им — перышко, рысью — что опередят из лука стрелу. И дам еще за себя выкупу саблю булатную; сталь рубит, как соломинку, голову снесет, как по воздуху пустому махнешь. Еще пришлю тебе бочку вина из того ви-

нограда, который растет на высоких горах моего владения, и с того вина пьян не будет человек; но крепок и бодр, и каждый день крепче и бодрее. Если ж того не довольно, то пришлю тебе на пять лет шесть всадников: на смерть глядят, как на красную девушку, охранять тебя станут, как архангелы, ни день ни ночь не отступят шагу прочь! Смилуйся надо мною! прими мои дары, вели отпречь меня от сохи и отпусти в землю мою отеческую, по которой крушусь безутешно».

Телохранители салтана поглядывали друг на друга, слыша такую речь, и ждали уж приказа посадить на кол дерзновенного раба и мучить его смертью мучительной; но салтану речь забавна показалась, и он смеючись отвечал на нее:

«На что мне дары твои, проклятая собака? Если бы угодно мне было, показал бы тебе, что тысячу коней, каких ты и не видывал, отдам за один волосок красавицы, как ничего; показал бы тебе, что моя сабля булатная твой череп раздробит — и не почувствуешь. Если бы не боялся и не чтил я пророка, показал бы тебе, что в вине купать могу не только себя, но тысячу верблюдов ежедневно. Один знак мой соберет около меня несчетное множество воинов, твердых, как скала каменная, и верных мне, как гром верен молнии. Смеюсь я над речами твоими и не приму даров твоих, не выпрягу тебя из сохи, и паши мою землю, разве придет сюда жена твоя и поклонится мне в землю, тогда отпущу тебя и позволю воротиться в отечество.

Так говорил салтан, и громко раздались хвалы придворной его стражи: «Велик салтан правоверный, образец милосердия: выслушал речь проклятого христианина и не казнил его!»

Стал граф Зигмунд опять волочить свое иго, и горькие слезы текли ручьями из глаз, и не мог он понять, зачем гордился так уж много салтан и отвергал его выкуп. Ночью же, когда он в сарае лежал с другими невольниками, разные мысли приходили ему на ум, и слова салтана глубоко запали в сердце. Мог ли он требовать, чтобы жена немецкого рыцаря оставила отечество и сына малолетнего и переплыла грозное море, чтобы в ноги поклониться неверному салтану? Потом опять казалось ему, что муж жене дороже и спокойствия, и сына, и отеческой земли и если бы удалось ему послать Марии весточку, что может она выкупить супруга своего, то верил он крепко, что не стала бы она медлить, бросила бы все и переплыла бы море, и его выручила. Тут страх другого рода стал смущать его сердце. Увидит салтан Марию и полюбит ее: прелестью и красотою нет ей подобной на свете, возьмет ее салтан в гарем свой, и оставайся граф без радости на свете жить. И колебались мысли его, как качается колос, забытый жнецом на пашне. Отечество и свобода не дороги ему были без Марии и без любви ее. Так горевал он несколько дней и ночей; наконец пришло ему на ум, что Мария может каким-нибудь зельем обезобразить прелестное лицо свое, и, придумавши так, стал бога молить, чтоб послал ему возможность сообщить Марии требование салтана.

Случилось в то же время, что салтан приказал между невольниками избрать двух самых надежных для провожания в немецкую землю искусного немецкого врача. Этот врач возвратил здоровье единородному салтанову сыну, страдавшему долго разными недугами, и салтан наградил врача золотом и серебром, и дорогими каменьями, и отправил с ним

в отечество его двух невольников, и наказывал им возвратиться опять и привезти ему большое количество чудесного целительного бальзама; а потом с полной свободой и богатым награждением позволял им ехать обратно на родину. И пал выбор салтана на одного монаха, вместе с графом скованного, и спросил его граф, не возьмется ли он доставить письмо к графине его Марии? Согласился монах, и написал граф следующее письмо:

«Дражайшей супруге, графине Марии, сердечный поклон! Будь богом хранима! А я нахожусь в постыдной неволе у языческого салтана и должен, с волами впряжен, землю пахать, и кормиться кореньями лесными, и пить болотную воду, и терпеть удары ременной плети, как подлый раб. А всего больше крушит меня, что я не могу обнять тебя, дражайшую мою супругу и дражайшего сына моего Зигмунда, которому посылаю родительское благословение. Обещал салтану богатый выкуп за свободу свою, но не принял он просьбы моей. А могу я свободен быть и избавиться от тяжкой моей неволи, когда ты не побоишься сама море переплыть и за меня поклониться в ноги салтану. За этот выкуп отпустит он меня; это обещал он и поклялся. Жду тебя и надеюсь, что сподоблюсь опять увидеть тебя и отечество, и сына моего. И господь сохранит тебя и в пути, и на море, и во всю жизнь нерушимо, а с тобою верная моя и нелицемерная любовь во веки!

Граф Зигмунд фон Гернсберг».

— И ты веришь, — сказал монах, — что жена твоя придет сюда выкупить тебя у салтана?

— Конечно, верю, — отвечал граф, — и досадно мне, что ты этому не веришь. Ты знаешь женщин только на исповеди, когда высказывают они одни

грехи свои. А я знаю их и хорошую сторону, знаю, что с доброй женой жить лучше, чем в знойный день прохладу найти, чем в жажду стакан старого вина, чем победу над врагом одержать; и в верном сердце любящей женщины столько добра, сколько нету песку на дне морском. Если бы даже спасение души моей зависело бы от прибытия Марии моей сюда, то верил бы я, что спасена душа моя перед богом.

— Крепка твоя вера, рыцарь, — возразил монах. — Ты правду сказал, что мужья знают только хорошую сторону жен своих. Ну, что бы вы сказали, если бы кто из вас, переодевшись в рясу и клобук, подслушал исповедь такую: «грехов моих, святой отец, не сочтешь, как в море песку, и все грехи любовные». Однако наморщенные твои брови напоминают мне, рыцарь, что исповедь высказывать не годится.

— Тебе, святой отец, дурного высказывать не должно, а мне должно высказывать и выхвалять добродетель женскую, и я по гроб то делать буду. Моя жена певала мне, и часто теперь в тяжкой моей работе пою я песню ее и верю ей, и не так тяжка мне работа моя: вот что певала мне жена:

Любовь верная,
Нелицемерная,
Не изменит никогда;
Ты люби меня всегда,
Как люблю тебя милой,
Мой сердечный, дорогой...

Смотритель работ прервал разговор их; монах пошел собираться в дорогу, а графа Зигмунда запрягли опять в соху, и пошел он землю ворочать, припевая про себя: *Любовь верная, нелицемерная* и пр.

Когда же граф Зигмунд услышал веселый крик

в гавани, услышал свист веревок и скрип снастей корабельных, увидел в сером тумане, что корабль летел ласточкой по морю и пропал в дали необозримой, то забилось сердце его радостью, слезы счастия потекли из глаз; воротится корабль и привезет с собой сокровище, дороже золота и жемчугу, алмазов и яхонтов, привезет верную, любящую жену. И в том ожиданьи стал здоровьем поправляться граф; те же коренья лесные, ту же воду болотную надежда приправляла ему, ночью дарила своим золотом, на него не купишь ничего и не выменяешь, только глаза ослепишь, да мысли помутишь, а все встанешь крепок и добр, хоть спал, хоть не спал.

Вот прошло два месяца, вот и третья луна появилась уже на лазурном небе, а корабль все еще не возвращался в гавань. Не потопила ли его бурная волна? не перевернул ли дном вверх буйный ветр? Пропала надежда в сердце графа Зигмунда, страх и тоска по-прежнему стали изнурять его.

В то время монах благополучно достиг родимых берегов, взял у немецкого врача чудного целительного бальзама количество несметное и, собираясь в обратный путь, пришел в замок Гернсберг. Подошел к воротам и только вымолвил, что весть несет от графа Зигмунда, ворота растворились, и его повели к графине. Мария сидела, скромно одетая, за прялкою, и у ног ее толстый, здоровый мальчик играл с двумя большими борзыми собаками, и крепкими своими ручонками обнимал их, и дрался с ними. На лице Марии сияло столько любви и добра, что при первом взгляде каждый должен был полюбить ее, а на кого она ласково взглядывала незабудочными своими глазами, тому казалось, что голубое небо чудесно раскрывается и ангелы ему улыбаются. Когда принес монах

от графа поклон, Мария вскочила с радостью, на пол уронила прялку свою, и расспросам и толкам не было конца: и где видел он Зигмунда? и здоров ли он? и что делает? и пр., и пр. Рассказал ей всю правду монах, и горючие слезы полились из глаз Марии, и, рыдая, ломала она белые руки свои.

Когда первый порыв скорби утолился, Мария посадила монаха и приказала угостить его вином и разными яствами. Между тем монах отдал ей письмо мужа, и графиня послала за домовым священником и приказала ему прочесть письмо графа Гернсберга. Услыша его содержание, плакала она еще горче, еще сильнее прежнего, и несколько раз менялась в лице. «Если б могла его выкупить всем имением моим, — говорила она, рыдая, — всею жизнию моею, — не остановилась бы я; а ехать на такую опасность, терпеть, может быть, обиды от неверных — на это я решиться не могу». И заперлась она в свою комнату и долго думала: что жене добродетельной в таком случае делать надлежит? и молилась усердно; наконец позвала домового своего священника и стала ему сказывать, какой ответ написать к графу Зигмунду.

«Возлюбленный и дражайший супруг мой!

Благодарю бога и царицу небесную, что ты находишься в живых и не утонул в море; а жалуюсь господу богу самому и всем святым его, что ты у языческого салтана в тяжкой такой неволе, и молюсь ему, чтоб он освободил тебя от оков твоих. Если бы трудами рук моих могла я тебя выкупить, трудилась бы я до кровавого поту; если бы последнее платье должна была отдать за тебя, с радостью раздела бы совсем не только себя, но и сына твоего Зигмунда, и охотно бы терпела нужду и неволю. Приказываешь ты мне пуститься в далекий путь и

переплыть море, и поклониться за тебя в ноги неверному салтану: беспокойства дальнего пути не страшны мне, и море грозное не пугает меня; но как быть мне одной среди людей злых и бессовестных на корабле между мужчинами? И салтан неверный, как увидит меня, возьмет к себе в невольницы, и умру я тогда с печали, да и ты за мной; да и малолетний сын наш Зигмунд, как ему обойтися без материнских попечений? Итак, дражайший и возлюбленный супруг мой, попытайся еще раз предложить салтану все имение наше, твое и мое, за выкуп свободы твоей. Смягчит господь сердце его каменное, и он сжалится над моими горькими слезами, и отпустит тебя на родину к жене и сыну. Аминь.

При сем посылаю тебе льняное домашнее рыцарское платье и шесть сорочек, да еще дорогую попону; я вышивала ее для тебя золотом и каменьями и разными шелками, и во всей немецкой земле искуснее и красивее не найдешь; не знала я тогда беды своей и не залила ее слезами моими. Отдай ее салтану; не только ее, за тебя готова я жизнь свою отдать и по гроб мой останусь достойная тебя, немецкого рыцаря, жена.

Мария графиня фон Гернсберг».

Написавши письмо, Мария завернула его с платьем и сорочками и попоной и отдала монаху. Монах простился с доброй хозяйкой, благословил маленького Зигмунда, с которым играл он, покуда Мария занята была в своей горнице. Графиня снабдила монаха на три дни всякими припасами и велела отвезти до места, где собирались все прочие спутники и с ними некоторые богомольцы, чтобы сперва вместе идти до Венеции, потом отправиться на поклонение гробу господню.

В самый день отъезда пристал к путешественникам старый чернец; лицо его было бледно и покрыто морщинами, борода седая почти до пояса; сам сидел он на осле, а к седлу привязана была арфа. Все путешественники рады были такому товарищу, и куда ни приставали они на ночь или на отдых, везде веселил их чернец чудной игрой своей и старинными разными песнями, и волшебными сказками, и всякими мудреными рассказами. Все покоили чернеца и услуживали ему.

Вот прибыли все в город Венецию. Тут монах, посланный салтана, отвел в сторону Чернеца и говорил ему следующие слова:

«Честный отец! исполни просьбу мою, и тебе и мне хорошо будет; я тебе скажу спасибо, а ты мне».

Чернец взглянул на него и смиренно отвечал ему: что могу, то охотно сделаю для тебя.

«Если так, — продолжал монах, — то поедем со мною к тому салтану, который послал меня. Он великий охотник до пения и до музыки, а такого мастера, как ты, другого не найдешь нигде. Салтан даст тебе много золота и серебра, и всего, что душе твоей пожелается; а когда захочешь домой воротиться, с честью отпустит тебя; об нем молва идет злая, а сам он не так жесток и немилостив».

Тогда чернец отвечал ему: что будет, то будет; пускай исполнится воля твоя. И обрадовался крепко монах, и взошли они вместе на корабль, и скоро пристали благополучно к берегам салтанова владения.

Загремело радостное ура матросов; высоко веяли в гавани флаги и вымпелы; без памяти побежал граф Зигмунд туда с народом, навстречу прибывшим, и потащил с собою товарища вола, и спрыгнул бы

с радости вместе с сохою своею в море, — но жестокий смотритель не дремал между тем: он бичом воротил графа на прежнюю пашню; однако не чувствовал боли Зигмунд, глядел не смигаючи на пристань и тысячу приветствий посылал навстречу жене своей. Вот вышли на берег богомольцы и путешественники, и приезжие, и корабельщики, и монах и с ним чернец; зоркими глазами глядел на всех Зигмунд, а Марии его нет, как нет. Утешал он себя надеждою, что, может быть, не узнал ее издали, или глаза изменили ему, и она уже ждет его в сарае невольников, обнимет и прижмет к сердцу, и поклоном земным выкупит у салтана; и запел он свою песню: *Любовь верная, нелицемерная...* так громко, что сам надзиратель не мог от смеха удержаться.

Весь этот день казался длиннее года графу Зигмунду; не мог дождаться он минуты, когда поцелует прекрасный Мариин ротик, когда прижмет к сердцу мякинькую ее ручку, увидит образ свой в голубом зеркале светлых ее глаз; услышит опять нежный шопот сладкого ее голоса; слова: *душа моя*! которые он так охотно слушал, и почувствует подле сердца своего биение сердца жены своей; не переставал он петь «*Любовь верная нелицемерная*», хоть в горле застревала ему эта песня. Вот в мечтах и ожидании, во вздохах и томлении наступил вечер; на небе заблистала звезда верной любви, смотритель отпряг его от сохи и погнал на покой вместе со скотиною.

Пришел Зигмунд в сарай невольников, пробежал он не один раз сарай вдоль и поперек, шарил, искал во всех углах, наконец спросил больных, в сарае оставленных, не видали ли они белокурую женщину? Не приходила ли она спрашивать, где живет Зигмунд граф? Отвечали ему больные, что никакая

женщина не приходила к ним. Покрылось черным туманом лицо его, и бросился он на землю, а в головах села все-таки надежда и шептала ему такие слова: подожди до завтра, жена твоя в незнакомой земле, не нашла сарая твоего, плачет и ищет тебя. Завтра увидитесь. Поверил граф Зигмунд, как водится, а заснуть не мог; лежал и мурлыкал свою песню сердечную, и запел бы ее громким голосом, когда бы не боялся разбудить недужных товарищей, которые при болезни, еще не ждали никого.

Вот опять воротилась и погасать стала звезда утренняя! день, пробудившись, умылся и капли отряс с лица своего. Пришел смотритель поднимать невольников к работе и бичом своим прогнал ранний сладкий сон. Мороз пробежал по спине графа Зигмунда, когда вспомнил он, что опять весь день томиться ему и горевать на пашне, а Мария между тем будет ждать его в сарае невольников, в зараженном проклятом воздухе, и притворился он больным; как ни бил его немилосердный смотритель бичом своим, не мог он привстать и стонал и кряхтел так, что смотритель поверил ему, и отсунув ногой, сказал наконец: ну, валяйся, собака, на съедение волкам!

Такие слова показались ласковым приветом графу Зигмунду; он лежал в сарае, ожидая своей Марии, и пищи в рот взять не мог, ни воды проглотить. Когда ветер, поднявши песок, стукнет камешком в двери, сильно забьется сердце Зигмунда, едва сможет промолвить: войди! Когда шум бури свистал в щелях кровли, он прислушивался и казались ему шаги жены его. И ветер, и буря, и свист — все обмануло его: утро прошло, а Марии нет. Надежда стала дáвить его сердце; больно, невыносимо сделалось ожиданье. Вот и вечер розовыми лучами осветил щели сарая, и на-

чинал уже граф Зигмунд проклинать и судьбу свою, и женщин, и любовь — вдруг вошел в сарай монах, посланный салтана, с письмом и узлом в руках. Граф Зигмунд вскочил, себя не помня, бросился к монаху и закричал: где жена моя? честной отец, где жена моя? Выкупила ли она меня земным своим поклоном? Где жена моя? отдайте мне ее! Тогда монах велел Зигмунду успокоиться и выслушать его. С трудом мог исполнить граф такое веление, наконец монах сказал ему:

«Правду говорил я тебе, рыцарь Гернсберг, что ты жены не знаешь; вместо жены привез я тебе письмо и вот этот узелок».

Хотел Зигмунд закричать и проклинать весь женский род, и не мог ни слова вымолвить; слишком полно было сердце его, а когда переполнится сердце, языку уж воли нет; вздыхал он и стонал, и бил себя кулаком в лоб, и три раза прочел ему монах письмо, прежде нежели он одно слово понял. Наконец сказал ему:

— Довольно, святой отец! ты готовишь меня к свиданию с моей Марией, теперь я вынесу его; пускай придет она, я не умру теперь с радости.

— Не умри-ка с горести, — возразил монах, — божусь тебе Авраамом, Исааком и Иаковом, что жена твоя не поехала со мной, что осталась спокойно дома в замке твоем Гернсберг.

Тогда граф принялся бранить его и от сильной горести кричать так громко, что все больные завернулись в солому свою и чаяли слышать глас трубный света преставления.

Тогда монах начал придумывать, как бы унять и успокоить графа: я видел твоего сына, сказал он ему; держал его на руках: прекрасный ребенок, и похож на тебя, как капля воды одна на другую.

«Как бы похож на меня ни был, он не мой сын! — кричал граф Зигмунд. — Не любила она меня никогда, если может оставлять в неволе и спокойно забывать обо мне!»

Все представления и увещания монаха были тщетны. Граф Зигмунд терзался отчаянием и побежал с пристани, чтобы броситься в море и найти конец скорби своей. Но смотритель догнал его, приковал опять к сохе и прилежно берег, чтоб не ушел опять. Перестал тогда Зигмунд петь свою песенку.

Между тем при дворе салтана чернец был принят с честию отличною и наделен всяким довольством. Играл он салтану на арфе и пел разные песни и сказывал сказки всякий раз, когда салтан за обедом сидел или потешался с женами своими. Все, кто слыхали игру и пение чернеца, не могли ими нахвалиться: он по воле своей выманывал слезы из глаз и цветил весельем душу. Салтан и все придворные были перед ним, как воск перед огнем, и он делал с ними, что хотел. Всюду сопровождал он салтана и расставался с ним только для своего отдыха и молитвы. Наконец салтан предложил ему много золота и земель, и слуг, и богатых одежд, и все удовольствия, какие только в ум взойдут, лишь бы он остался с ним и принял веру Мугаметову. Смиренно опустил голову чернец и отвечал так:

«Отдай мне салтан все царство твое и посади по правую руку на троне твоем, и дели со мною всю власть твою, и тогда не отдам тебе совести моей и воздуха отеческой земли: они дороже мне всех благ целого света; и прошу, салтан-государь! отпусти меня на родину, в немецкую землю, как обещал ты мне».

Опечалился салтан такою просьбою и отказал чернецу. Вот однажды чернец, улучив время, заиграл

на арфе своей заунывную, печальную песню, а слова этой песни были: что хлеб и вода вкуснее в родимой земле, чем сладкие брашна в чужбине; приятнее там дождик и ненастье, чем солнечный свет на стороне чужой: веселее там глаза глядят, быстрее кровь течет, живее жизнь и не страшна смерть сама. И растрогался салтан, вспомнил просьбу чернеца и позволил ему ехать не медля в отечество свое. Перед отъездом приказал салтан принести серебряное блюдо, полное золота червонного, и кубок дорогой из цельного изумруда камня, и одежду пурпуровую, золотом и шелками вышитую, и мешочек с благовонными куреньями и сказал чернецу:

— Все, что ты видишь, чернец, все это твое! и если тебе кажется, что я мало награждаю тебя за удовольствие, твоим пеньем, твоей музыкой доставленное, то прибавь к этому сам, что пожелаешь. Возьми все и ступай с миром.

— Милосердный салтан! — отвечал чернец, — ты даешь мне слишком много; кто бы не удовольствовался твоими дарами, — но на что они мне? Иметь золото и дорогие вещи запрещает мне мой монашеский чин; вместо шитого цветного платья, довольно мне моей черной рясы; благодарю тебя, милосердный государь! а дары твои оставь у себя; но не гневайся на меня за отказ мой, а позволь лучше самому выбрать дар, чтобы по сердцу пришелся.

— И хотя бы полцарства моего, — вскричал салтан, — что ни попросишь, все будет твое!

— Отдай мне, — сказал чернец, голосом робким и дрожащим, — отдай одного из тех невольников, которые там пашут, запряженные в соху; тогда я исполню одну из обязанностей моего сана, помогу по возможности брату несчастному.

— Охотно исполняю просьбу твою, — отвечал Салтан. — Поди и выбери сам, кого тебе угодно.

Пошел чернец на пашню, переглядел всех невольников, искал, у кого на лице яснее написана печаль по родине, и прочел ее у графа Зигмунда в глазах, подошел к нему и говорил ему так: будь свободен, несчастный невольник, тебя милует салтан-государь, возратися в отечество твое к друзьям своим и не забывай чернеца, освободившего тебя! Тогда упал граф Зигмунд в ноги чернецу и целовал его руки, и благодарил горячо хотя без слов и речей. Чернец поднял его, велел благодарить одного бога, стараться благодеяниями к людям заслужить господню благодать и советовал возвратиться скорее на родину, и утешить возвращением своим друзей, об нем тоскующих.

Тогда граф Зигмунд отвечал так: я дал обещание гробу господню поклониться и должен исполнить его, как прилично немецкому рыцарю и честному человеку. Дома же у меня не много друзей, немногих я обрадую возвращением своим; жена забыла любовь мою, не захотела выкупить меня из неволи одним поклоном салтану.

Тут чернец стал говорить ему и уговаривать, как благоразумно поступила жена его, как не должна была доверять незнакомому послу, как прилично осталась дома сидеть и как ему, графу Зигмунду, не годится себя в гнев вводить. Потом они расстались; Зигмунд пошел к гробу господню, а чернец на корабль и отплыл в немецкую землю.

Вот граф Зигмунд благополучно совершил свое странствие, исполнил обет свой, у гроба святого благодарил господа за выздоровление жены своей, а слезы ручьями текли по лицу: та же самая жена его, за которую он столько страданья перенес, забыла об

нем и предпочла беззаботную жизнь беспокойству дальнего пути. Помолившись, граф пошел домой, шел долго и питался щедротой добрых людей и святой милостыней. Наконец пришел в немецкую землю; сильно забилось сердце, когда он увидел замок свой и когда вспомнил, что увидит опять и Марию свою. Недалеко от ворот замка попался ему мальчик, веселый и милый, хотя весь в крови и с мечом в руке; граф Зигмунд остановил его и спросил, куда он спешит? и от чего он в крови? Мальчик засмеялся и отвечал ему:

«Я в лесу нашел волчью нору, старого волка убил там, а молодой укусил меня; спешу теперь домой взять цепь, приковать волчонка и приучить к себе, пускай бегает за мной как собака моя». Понравилась такая смелость графу Зигмунду, и спросил он: как зовут тебя, молодой смельчак? — Зигмунд, граф Гернсбергский, — отвечало дитя. Не мог удержать своего восторга граф, схватил мальчика и без памяти к сердцу прижимал: я отец твой, граф Зигмунд фон Гернсберг, — сказал ему наконец. Обрадовался малютка всею душою, и стал в вороты стучать и кричать во все горло: гей! сторож! отворяй ворота! Отец воротился! отец тут!

Отворились ворота, опустился подъемный мост, и побежал сын вперед, продолжая кричать: матушка! иди сюда! Отец воротился, отец тут! Не успел войти в комнату Зигмунд, а Мария бросилась ему на шею с радостным восторгом любви. Но граф Зигмунд не обнял ее, грустно взглянул и спросил: почему она не исполнила приказанья его, и не пришла освободить от неволи? Со слезами на глазах отвечала ему Мария, что не поверила послу его и не хотела бросить сына и хозяйство без надзора, не имевши ника-

кого яснаго доказательства, что Зигмунду того хочется; прислал бы он хотя кончик епанчи своей, или перевязи, и не остановилась бы она, и поехала бы через море грозное поклониться салтану в ноги. Улыбка ее и взгляд, и слезы в лазурных глазах, все свидетельствовало в правде слов ее, и не мог долее крепиться граф, упал на шею к жене, ласкал ее с прежней любовию, также и сына своего. И все подданные радовались возвращению графа в стены замка Гернсбергского.

Через несколько дней созвал Зигмунд гостей к себе, рыцарей, своих товарищей, и собралися все к нему, а между ними много таких, которые на графиню злобствовали за то, что им не поверила, будто не жив супруг ее, будто должна она выбирать себе другого мужа, любого из них.

Сидели они долго за роскошным столом и вина домашнего выпили много: вдруг Зигмунд граф обратился к ним с вопросом: «Ну, друзья, братья — товарищи! Скажите-ка мне, хорошо ли вела себя жена моя, пока меня не было?» Замолчали все рыцари и бароны. Изумился Зигмунд и продолжал: «Скажите мне, скромно ли жила она, как прилично смиренной жене и не выезжала ли из владений замка моего Гернсбергского?» Тут засмеялись некоторые рыцари и с насмешкой отвечали ему: велико владение твоего замка, если жена твоя не выходила из него.

С бешенством требовал граф Зигмунд изъяснения и назвал того собакою и подлым доносчиком, кто не скажет всего, что на сердце. «Так знай же, — отвечали завистники, — что не долго жила дома скромно и тихо Мария твоя, а куда она ездила и с кем, спроси у того, кто провожал ее».

Ярость закипела в сердце Зигмунда, он схватил нож и хотел вонзить в грудь жены своей, но Мария убежала и затворилась в своей комнате. Рыцари удерживали графа и уговаривали, чтоб он не казнил жены своей; и пока они старались увещевать его, вдруг вошел в комнату чернец с арфой своей за плечами — и вскричал граф от радости и от горького чувства несчастия: смотрите, братья, други мои! вот тот добрый чернец, кому я обязан свободою! Добро пожаловать, чернец святый! — Чем угощу я тебя! — Чем могу наградить?

— Награди меня любовью! — отвечал чернец и снял маску, и увидел Зигмунд Марию свою!

Вне себя от умиления плакал Зигмунд, обнимая верную жену свою, и не мог опомниться, а рыцари подняли к небу полные кубки и единодушно возгласили: «Да здравствует верная жена, Мария!»

Г. Ф. Вехтер

VII

ЕКАТЕРИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ СВЕРБЕЕВОЙ

Мысль неразгульного поэта
Является божественно стройна:
В живые образы одета,
Святым огнем озарена;
Блажен, кто силен ей предаться,
Тот, чья душа спокойна и чиста,
Да в ней вполне изобразятся
Ее гармония, и свет, и чистота,

Так вы блистательно-прекрасны...
А что мой стих? питомец буйных лет
И проповедник разногласный
Мирских соблазнов и сует!
Доныне пьяными мечтами
Студент кипеть не перестал —
И странны были бы пред вами
Вакхический напев и хмель его похвал.

Но чужд святому вдохновенью,
Он ведает, где небо на земле;
Но место есть благоговенью
На удалом его челе:
И, полн таинственной отрады,
Усердно вам приносит он
Свои потупленные взгляды,
Смутившуюся речь и робкий свой поклон.

Н. Языков

VIII

АУ!

Голубоокая, младая,
Мой чернобровый ангел рая!
Еще в те дни, как пел я радость,
И жизни праздничную сладость,
Искрокипучее вино!
Тебе привет мой издалеча,
От москворецких берегов —
Туда, где звонких звоном веча
Моих пугалась ты стихов;
Где странно юность мной играла,
Где в одинокий мой приют
То заходил бессонный труд,
То ночь с гремушкой забегала!

Пестро, неправильно я жил!
Там все, чем бог добра и света
Благословляет многи лета
Тот край, все: бодрость чувств и сил,
Ученье, дружбу, вольность нашу,
Гульбу, шум, праздность, лень — я слил
В одну торжественную чашу,
И пил да пел: я долго пил!

Голубоокая, младая,
Мой чернобровый ангел рая!
Тебя, звезду мою, найдет
Поэта, вестник расторопный,
Мой бойкий ямб четверостопный,
Мой говорливый скороход,
Тебе он скажет весть благую:

Да! я покинул наконец
Пиры, беспечность кочевую,
Я, голосистый их певец!
Святых восторгов просит лира —
Она чужда тех буйных лет,
И вновь из прелести сует
Не сотворит себе кумира!

Я здесь! — Да здравствует Москва!
Вот небеса мои родныя!
Здесь наша матушка-Россия
Семисотлетняя жива!
Здесь все бывало: плен, свобода,
Орда, и Польша, и Литва,
Французы, лавр и хмель народа,
Все, все! .. Да здравствует Москва!

Какими думами украшен
Сей холм давнишних стен и башен,
Бойниц, соборов и палат!
Здесь наших бед и нашей славы
Хранится повесть! Эти главы
Святым сиянием горят!
Сюда! на дело песнопений,
Поэты наши! Для стихов
В Москве ищите русских слов,
Своенародных вдохновений!

Как много мне судьба дала!
Денницей ярко-пурпуровой
Как ясно, тихо жизни новой
Она восток мне убрала!
Не пьян полет моих желаний;
Свобода сердца весела;

И стихотворческие длани
К струнам — и лира ожила!

Мой чернобровый ангел рая!
Моли судьбу, да всеблагая
Не отнимает у меня
Ни одиночества дневного,
Ни одиночества ночного,
Ни дум деятельного дня,
Ни тихих снов ленивой ночи!
И скромной песнию любви
Я воспою лазурны очи,
Ланиты свежие твои,
Уста сахарны, груди полны,
И белизну твоих грудей,
И черных, девственных кудрей
На ней блистающие волны.

Твоя мольба всегда верна!
И мой обет — он совершится!
Мечта любовью раскипится,
И в звуки выльется она!
И будут звуки те прекрасны,
И будет сладость их нежна,
Как сон пленительный и ясный,
Тебя поднявший с ложа сна!

Н. Языков

IX
ОТРЫВКИ ИЗ ПИСЬМА ГЕЙНЕ О ПАРИЖСКОЙ КАРТИННОЙ ВЫСТАВКЕ 1831 ГОДА

Гораций Вернет[1] также украсил выставку нынешнего года своими драгоценными рубинами. Превосходнейшая из выставленных им картин есть Иудифь, готовая убить Олоферна[2]. Цветущая, стройная красавица только что поднялась с его ложа. Фиолетовая одежда, наскоро опоясанная, бежит к ногам ее; внизу бледно-палевое платье, рукав с правого плеча спустился; она левою рукою поднимает его: движение несколько резкое, удалое, но вместе очаровательно грациозное; правою рукою она в то же время обнажила кривой меч против спящего Олоферна. Голова страшно милая и неестественно привлекательная; черные кудри не вьются по лицу, но приподнимаются, как змеи, — с прелестью ужасною. Лицо немного в тени; сладостная дикость, мрачная миловидность и сентиментальная ярость изображаются в благородных чертах убийственной красавицы. Особливо глаза блестят сладкою жесткостью и наслаждением мщения; видно, что она и собственную обиду отомстить хочет на безобразном язычнике. Язычник же в самой вещи не очень привлекателен, но, кажется, *добрый малой.* Он так простосердечно спит в продолженном упоении своего блаженства. Храпит, может быть, — или, как говорит Луиза, спит громко, — уста его шевелятся, как будто ищут поцелуя; он покоится в недрах счастия, или, может быть, счастие покоится в его недрах. Упоенный блаженством и вином, без антракта болезни и страдания, он

рукою прекрасного ангела переносится из одного сна в другой. Завидной конец! Если мне когда-нибудь должно умереть, то, боги! пошлите мне Олофернову смерть.

Другая картина Вернета, представляющая нынешнего папу [3], не столько отличается выражением, сколько смелостью рисунка и колорита. В тройном венце из чистого золота, в белой, золотом шитой одежде, на золотых креслах, несут раба божьих рабов в церковь Св. Петра. Сам папа, хотя краснощекой, но весьма болезненной наружности, почти не заметен на белом поле, дымом кадил и веяньем белых перьев около него образованном. Носильщики в пунцовых ливреях, с черными, падающими на смуглые лица волосами, поражают своими характеристическими фигурами: видны только три, но все три превосходно написаны. То же можно сказать о капуцинах, которых головы, или лучше сказать, затылки с широким пострижением, являются на переднем плане картины. Но исчезающая ничтожность главного лица и разительная значительность окружающих второстепенных фигур есть именно порок в этой картине. Легкость, с которою эти вторые лица изображены, и колорит картины напоминают Павла Веронеза [4]. Недостает только волшебства Венеции; той поэзии красок, которая, как сияние лагун, хотя поверхностно, но чудесным смущением обнимает душу.

Третья картина Вернета, заслужившая общую похвалу за живость красок и смелость рисунка: арестование принцев Конде, Конти и Лонгевиля [5]. Действие происходит на лестнице Пале-Рояля; арестованные принцы сходят, отдавши шпаги свои, по велению королевы Анны [6]. Эта лестница, по которой идут фигуры, позволяет каждой сохранить полный свой

очерк. Конде первый стоит на нижней ступеньке, задумавшись, крутит он рукою усы, и я знаю, о чем он задумался. С верхней ступеньки сходит офицер, держа под рукою шпаги трех принцев. Эти три группы взяты с натуры и весьма натурально между собою сливаются. Тот только, кто достиг высшей степени искусства, может создать такую лестницу.

Не столько замечательна картина, представляющая Камилла Демулен [7], когда он в саду Пале-Рояля взлез на скамейку и оттуда говорит речь народу. Левою рукою срывает он листья с дерева, а правою держит пистолет. В этой картине интересны костюмы 1789 года: напудренные прически, узкие дамские платья, вздувающиеся на бедрах; полосатые фраки, кучерские сюртуки с маленькими воротничками, двое часов с цепочками, параллельно висящими на животе, и даже эти камзолы террористов с широкими отворотами, которые опять вошли в моду в Париже и называются gilet a la Robespierre *.

Сам Робеспьер заметен на картине изысканностию и щеголеватостию своего наряда; в самом деле наружность его всегда была вычищена и выглажена, как топор гильотины; но и внутренность его сердца была неподкупна, не своекорыстна, неумолима, как топор гильотины. Между тем неизменная его строгость была не бесчувственность, а твердость, но твердость, отвращающая сердце и с ужасом покоряющая рассудок. Робеспьер особенно любил Демуленя, школьного своего товарища, и — велел его казнить, когда этот фанфарон свободы вздумал проповедовать опасную и безвременную слабость. Когда кровь Камилла текла на площади Гревской, слезы Максими-

* жилетами на робеспьеровский лад (*фр.*).

лиана, вероятно, текли в уединенном его кабинете. И эта вероятность — не просто одно предположение: недавно молодой Карно [8] рассказывал мне, что Бурдон де Луаз [9], войдя однажды в комитет общественной безопасности, когда Робеспьер сидел там один, нашел его погруженного в кровавых своих актах и горько над ними плачущего.

Не стану говорить о прочих, не столько замечательных картинах Горация Вернета; этот разнообразный живописец с одинакою легкостию пишет все: лица святых, животных, портреты, и все высказывает одинакое дарование.

ДЕКАМП [10]

Лучшего произведения Декампа, собачьей больницы, я, к сожалению, совсем не видал: ее уже приняли, когда я пришел на выставку. Многих других хороших его картин не успел я также посмотреть. Я застал одну маленькую картину [11], еще с выставки не принятую, и сам отгадал тотчас, что Декамп великий живописец; простота и колорит поразили меня. Картина представляет просто турецкое строение, белое, высокое, кое-где маленькие впадины для окошек, откуда выглядывают турецкие головы; внизу тихая вода, в которой с чудесным спокойствием отражаются меловые стены с их красноватою оттенкою. Потом узнал я, что Декамп сам был в Турции и что поразивший меня колорит есть не только оригинальность, но вместе истина, верными и простыми красками в восточных его картинах выраженная. Всего разительнее является она в его *Патруле* [12]. Тут мы видим великого Хаджибея [13], начальника полиции в Смирне, объезжающего город со своими мирмидонами. Турецкой Бей с пузом, как грецкая губка, сидит

высоко на своей лошади, во всем величии глупого невежества; обидно грубая, закоснело бессмысленная рожа, покрытая белою чалмою; в руках орудие самовластных палочных ударов; подле него бегут пешком девять верных исполнителей его quand même*: услужливые твари, на тонких коротеньких ножках, почти со скотскими лицами, кошачьими, обезьянскими, козлиными; один из них составляет мозаику из собачьей морды, свиных глаз, ослиных ушей, телячьей улыбки и заячьего страху. В руках несут они беззаботно оружие, пики, деревом вверх — тут же орудия заботливого правосудия, кол и связку бамбуковых палок. Так как дома, мимо которых шествие совершается, известко-беловатого цвета, а улица желто-глинистая, то темные, странные фигуры выдаются на светлом грунте за ними, на светлом поле перед ними, как яркие Китайские тени. На картине изображены светлые, вечерние сумерки, и странные тени худощавых людей и лошадиных ног усиливают магическое действие целого. Люди бегут с такими смешными ужимками, с такими бестолковыми прыжками; лошадь бежит так глупо скоро, что кажется, будто она или ползет на брюхе, или летит: и все это здешние критики изволили осуждать, упрекать в неестественности, в карикатурности.

И Франция имеет своих рецензентов искусства, критикующих каждое новое произведение по старым принятым правилам; своих обер-знатоков, порхающих по рабочим комнатам и улыбающихся одобрительно, когда угождают их пристрастию. Эти господа не преминули произнести приговор свой и Декамповым картинам. Г. Иаль [14], издающий после каждой выстав-

* во что бы то ни стало (*фр.*)

ки особую брошюрку, думал унизить картину и посмеяться над почитателями оной, смиренно сознавшись, что он человек простой, рассуждающий по правилам, понятным уму, и что бедный его разум не может видеть в Декамповой картине того высокаго, мастерскаго произведения, которое признают в ней люди, парящие выше ума и рассудка. «Бедный человек со своим бедным разумом! Он не чувствует, как праведно осудил себя! Бедному разуму никогда, в самом деле, не приходится быть главным судьею в делах изящного искусства, — так же точно, как при создании оных никогда не играет он первой роли. Идея творения изящного рождается в душе [15]; душа просит у фантазии существенной ее помощи; фантазия бросает ей все цветы свои навстречу, осыпает ими идею и, вероятно, скорее бы задушила, нежели оживила, если бы хромоногий разум не подоспел с садовническим ножом своим, не отбросил излишних цветов своих и не подчистил ненужного. Разум смотрит только за порядком; его можно назвать полициею изящных творений. В жизни он ничто иное, как холодный счетчик; подводит итог под наши дурачества; и, ах, иногда при банкротстве изорванного сердца, он, угрюмый бухгалтер, спокойно записывает недочет.»

Главная ошибка всегда состоит в том, что критик спрашивает: как должен художник делать? Гораздо правильнее был бы вопрос: чего хочет художник? или что ему нужно? Первый вопрос есть произведение тех философов искусства, которые без собственной поэзии заметили несколько особенностей различных изящных искусств, по ним установили мерило для всего будущаго, изобрели разные ро-

ды, выдумали правила и определения. Они не знали, что такие отвлеченности полезны только для толпы подражателей, но что каждый своеобразный художник, что каждый новый гений искусства должен судиться по своим законам, по эстетике, им самим изобретенной. Такие умы всего менее подходят под чужие правила и меряются на чужой аршин. Для исполинов фехтовальное искусство не существует, говорит Менцель[16], их удар прорубает парады. Каждаго гения должно судить по тому, чего он хотел сам. Один только вопрос может найти тут место: имел ли он средства для выражения своей идеи и настоящие ли средства выбрал? Здесь мы действуем не на удачу; мы не переобразовываем явления чужого по своим прихотям, а только смотрим па орудия, которые имел художник, олицетворяя свою идею. В искусствах, говорящих слуху, эти орудия состоят в топах и словах. В искусствах, говорящих зрению, — в красках и формах. Звуки, слова, краски, формы — все, что видно и слышно, — все только символы идей, символы, рождающиеся в душе художника, когда он входит в священный мир вдохновения. Творения его — также символы, которыми он другим душам передает свою собственную идею. Чем простее и односложнее эти символы, чем больше, чем значительнее их выражение, тем выше художник.

Бесценны те произведения, которых символы, выражая идею художника, радуют чувства сами по себе и отдельно от внутреннего своего значения, как цветы Селама[17] отдельно от тайного своего смысла, сами по себе красивы, милы и составляют прекрасный букет. Но всегда ли возможно такое слияние? Всегда ли художник свободно выбирает и сплетает таинственные свои цветы? Или собирает он и свя-

зывает только то, что *должен* принять и соединить? На этот вопрос мистической зависимости я отвечаю утвердительно. Художник подобен той персидской принцессе, которая в магнитическом сне прогуливалась ночью в садах Багдада, с глубоким провидением любви срывала чудеснейшие цветы и свивала из них Селам, значение коего она, пробудившись, сама уже не умела изъяснить. По утру сидела она в своем гареме, рассматривала ночную гирлянду, задумывалась над нею, вспоминала ее, как забытый сон, послала наконец к возлюбленному своему калифу. Жирный евнух, относя гирлянду, радовался и дивился прекрасным цветам, не подозревая их значительности. Но повелитель правоверных, обладатель Соломонова перстня [18], Гарун-Аль-Рашид угадал тотчас смысл таинственного плетения: сердце его прыгало от восторга; он перецеловал каждый цветок, и улыбался, и слезы катились по длинной бороде его.

Я не наследник пророка, не обладаю Соломоновым перстнем, нет у меня и длинной бороды, но утверждаю несмотря на то, что лучше умею разобрать прекрасный Селам, принесенный нам Декампом с востока, нежели все евнухи, не включая кизляр-аги [19], великого оберзнатока и переносчика в гарем искусства. Болтанье этих каплунов-знатоков становится мне несносно; особенно затверженные их поучения, благонамеренные советы молодым художникам и вечные указания на натуру, на любезную им натуру.

В искусствах я супер-натуралист. Я верю, что художник не все первообразы свои отыскать может в натуре, что самые лучшие идеалы, как врожденная символика врожденных идей, открываются только одной душе. Один новый эстетик хотел возобновить старое правило подражания природе, утверждая, что

творящий художник должен находить в природе первообразы своих творений. Этот эстетик, приводя такие поверхностные правила для художников, забыл о первом зиждущем искусстве, архитектуре, которой типы теперь ищут в гротах и лесах, но которые сначала были, конечно, не там; они во внутренности человеческой души, а не во внешней природе.

Тому критику, который Декамповы картины находит не натуральными, кому кажется неестественным движение ног лошади Хаджи-Бея и бег людей его, художник спокойно может отвечать, что он писал их так верно, как сказку, как всякое ясное внутреннее сновидение. В самом деле, когда темные фигуры написаны на светлом грунте, то поневоле имеют какое-то сверхъестественное выражение; они кажутся отдаленными от земли, и художник обязан придать им нечто баснословно-воздушное, невещественное. Кроме того, соединение скотского с человеческим в картине Декампа есть новая причина к необыкновенным изображениям; в самом этом соединении заключен тот древний *humour* (юмор), который греки и римляне умели передать нам в бесчетном множестве уродливых изображений, которым мы радуемся на стенах Геркуланума[20], в статуях сатиров, центавров[21] и т. п. От упрека же в карикатурстве защищают художника гармония его творения, усладительная музыка его красок, хотя комически, но согласно звучащих, и очарование его колорита. Живописцы карикатур редко бывают хорошими колористами, именно по той изорванности сердца, которая внушала им предпочтение к карикатурному роду. Совершенство колорита принадлежит неотъемлемо душе живописца и независимо от согласия с его чув-

ствами. На оригинальных картинах Гогарта [22], в Лондонской народной галерее, можно заметить одни только пестрые каракульки, между собою ссорящиеся, бунт ярких красок.

Забыл я еще сказать, что на Декамповых картинах есть и женские лица: молодые гречанки сидят без покрывала под окошком и смотрят на смешной объезд. Их спокойствие, их красота правятся своею противоположностью. Они не смеются, даже не улыбаются: это невежливое грубиянство верхом, эта собачья покорность, бегающая вокруг — для них зрелище привычное, и это вполне переносит нас в отечество султанизма.

Только тот художник, который чувствует себя гражданином земли образованной, может весело живописать подобную картину. Краски всякого другого, вероятно, были бы резче, можно было бы подмешать какой-нибудь лазури или, по крайней мере, зеленой желчи, и тогда — прощай основной тон веселой насмешливости!

(Окончание в следующей книжке) [23]

X
КРИТИКА

а) ОБОЗРЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЗА 1831 ГОД

Наша литература — ребенок, который только начинает чисто выговаривать.

Несмотря на то, ни в какой земле текущая словесность не имеет такой значительности, как в России, и, между тем как в других государствах литература есть одно из второстепенных выражений образованности, у нас она главнейшее, если не единственное.

Быстрота и важность государственных переломов; деятельное участие, которое обязаны принимать в них люди частные; повсеместная борьба политических и к ним примкнувших религиозных партий; их противоположные выгоды и разногласные требования; успехи и распространенность промышленности, связавшие ее перевороты с целым составом народного бытия; все, даже самые первые стихии частной жизни почти во всех странах Европы, сосредотачивают деятельность умов на *дела государственные*, которые потому могут одни служить полным представителем общественной образованности, указателем господствующего направления и зеркалом текущей минуты.

Самые науки при таком расположении умов не могут занимать в них первого места. К тому же, созревшие вековым развитием, они уже сами собою склоняются к жизни действительной, являясь пред обществом то как сила, то как орудие политической деятельности.

Только относительная значительность остается для литературы. Но та часть ее, которая не задавлена влиянием политики, — литература *чистая*, самоценная — едва заметна посреди всеобщего стремления к делам более существенным: она цветет бледно и болезненно, как цветок осенний, благоухающий для охотников, но не возбуждающий в уме ни надежды на плод, ни доверенности к плодовитости дерева.

В России напротив. Литература наша в первой весне: каждый цвет ее пророчит новый плод и обнаруживает новое развитие. Между тем как в других государствах дела государственные, поглощая все умы, служат главным мерилом их просвещения, у нас неусыпные попечения прозорливого правительства избавляют частных людей от необходимости заниматься политикой, и, таким образом, единственным указателем нашего умственного развития остается литература[1]. Вот почему в России следовать за ходом словесности необходимо не только для литераторов, но и для каждого гражданина, желающего иметь какое-нибудь понятие о нравственном состоянии своего отечества.

Заметим ли мы усовершение вкуса в произведениях литературных — мы вправе заключить, что есть публика образованная, следовательно, мыслящая и в своих мнениях не отстающая от века. Увидим ли мы счастливый успех произведения невежественного, бездарного — мы порадуемся ему, предполагая, что самая необразованная часть русских читателей начинает быть публикою и, следовательно, просыпается от своего умственного бездействия. Услышим ли мы жалобы на то, что книги без достоинства расходятся не только успешно, но еще успешнее книг с достоинством, — мы порадуемся вдвое, видя, что нам гото-

вится в будущем еще больше людей просвещенных, нежели сколько мы имеем теперь.

Так, если самая бездарность в нашей литературе может доставить нам любопытные сведения о нашей первоначальной образованности, сколько же *данных* о нашем просвещении вообще, сколько новых показаний об отношениях нашей литературы к обществу и к чужеземным влияниям, сколько предзнаменований о характере наших будущих успехов открывается внимательному наблюдателю в изучении наших писателей первоклассных, которых каждое слово служит образцом для всего строя рядовых литераторов и каждое произведение отзывается участием отборнейшего круга читателей.

Таким образом, рассматривая замечательные литературные события прошедшего года, мы будем стараться определить настоящую степень нашего литературного развития и вместе открыть отношение нашей образованности вообще к успехам нашей словесности в особенности. Прежде всего рассмотрим три важнейших явления нашей поэзии и в том порядке, в каком они выходили в свет: «Бориса Годунова» Пушкина, «Наложницу» Баратынского и собрание «Баллад и повестей» Жуковского. Потом скажем несколько слов о других произведениях нашей словесности, замечательных либо по внутреннему достоинству, либо по посторонним отношениям. Что же касается до тех произведений литературы, которые не обнаруживая развития, свидетельствуют только о распространении словесности в кругах полуобразованных или едва начинающих образовываться, то вряд ли нужно об них много распространяться. Довольно нам знать для нашего утешения, что теперь, так же как и прежде, мы не бедны

ни дурными сочинениями, ни бездарными писателями, которые воспитывают неопытных читателей и так же необходимы для будущего просвещения, как необходимо удобрение земли для будущего урожая.

«БОРИС ГОДУНОВ»

Каждый народ, имеющий свою трагедию, имеет и свое понятие о трагическом совершенстве. У нас еще нет ни того, ни другого. Правда, что, когда французская школа у нас господствовала, мы думали иметь образца в Озерове; но с тех пор вкус нашей публики так изменился, что трагедии Озерова не только не почитаются образцовыми, но вряд ли из десяти читателей один отдаст ему половину той справедливости, которую он заслуживает, ибо оценить красоту, начинающую увядать, еще труднее, чем отдать справедливость совершенной древности или восхищаться посредственностию новою, и я уверен, что большая часть наших самозванцев-романтиков готова променять все лучшие создания Расина за любую морлакскую песню [2].

Чего же требуем мы теперь и чего должны мы требовать от трагедии русской? Нужна ли нам трагедия испанская или немецкая, или английская, или французская, или чисто греческая, или составная из всех сих родов, и какого рода должен быть сей состав? Сколько каких элементов должно входить в нее? И нет ли элемента, нам исключительно свойственного?

Вот вопросы, на которые критик и публика могут отвечать только отрицательно; прямой ответ на них принадлежит одному поэту, ибо ни в какой литературе правила вкуса не предшествовали образцам. Не чужие уроки, но собственная жизнь, собственные

опыты должны научить нас мыслить и судить. Покуда мы довольствуемся общими истинами, не примененными к особенности нашего просвещения, не извлеченными из коренных потребностей нашего быта, до тех пор мы еще не имеем своего мнения, либо имеем ошибочное; не ценим хорошего приличного потому, что ищем невозможного совершенного, либо слишком ценим недостаточное, потому что смотрим на него из дали общей мысли и вообще меряем себя на чужой аршин и твердим чужие правила, не понимая их местных и временных отношений.

Это особенно ясно в истории новейшей литературы, ибо мы видим, что в каждом народе рождению собственной словесности предшествовало поклонение чужой, уже развившейся. Но если первые поэты были везде подражателями, то естественно, что первые судьи их держались всегда чужого кодекса и повторяли наизусть чужие правила, не спрашиваясь ни с особенностями своего народа, ни с его вкусом, ни с его потребностями, ни с его участием. Не менее естественно и то, что для таких судей лучшими произведениями казались всегда произведения посредственные; что лучшая часть публики никогда не была на их стороне и что явление истинного гения не столько поражало их воображение, сколько удивляло их ум, смешивая все расчеты их прежних теорий.

Только тогда, когда новые поколения, воспитанные на образцах отечественных, получат самобытность вкуса и твердость мнения, независимого от чужеземных влияний, только тогда может критика утвердиться на законах верных, строгих, общепринятых, благодетельных для последователей и страшных для нарушителей. Но до тех пор приговор лите-

ратурным произведениям зависит почти исключительно от особенного вкуса особенных судей и только случайно сходится с мнением образованного большинства.

Вот одна из причин, почему у нас до сих пор еще нет критики[3]. Да, я не знаю ни одного литературного суждения, которое бы можно было принять за образец истинного воззрения на нашу словесность. Не говоря уже о критиках, внушенных пристрастием, не говоря о безотчетных похвалах или порицаниях друзей и недругов, возьмем те суждения об литературе нашей, которые составлены с самою большею отчетливостью и с самим меньшим пристрастием, — и мы везде найдем зависимость мнения от влияний словесностей иностранных. Тот судит нас по законам, принятым в литературе французской, тот образцом своим берет литературу немецкую, тот английскую и хвалит все, что сходно с его идеалом, и порицает все, что не сходно с ним. Одним словом, нет ни одного критического сочинения, которое бы не обнаруживало бы пристрастия автора к той или другой иностранной словесности, пристрастия по большей части безотчетного, ибо тот же критик, который судит писателей наших по законам чужим, обыкновенно сам требует от них национальности и укоряет за подражательность.

Самым лучшим подтверждением сказанного нами могут служить вышедшие до сих пор разборы «Бориса Годунова». Иной критик, помня Лагарпа[4], хвалит особенно те сцены, которые более напоминают трагедию французскую, и порицает те, которым не видит примера у французских классиков. Другой в честь Шлегелю[5] требует от Пушкина сходства с Шекспиром и упрекает за все, чем поэт наш отли-

чается от английского трагика, и восхищается только тем, что находит между обоими общего. Каждый, по-видимому, приносит свою систему, свой взгляд на вещи, и ни один в самом деле не имеет своего взгляда, ибо каждый занял его у писателей иностранных, иногда прямо, но чаще понаслышке. И эта привычка смотреть на русскую литературу сквозь чужие очки иностранных систем до того ослепила наших критиков, что они в трагедии Пушкина не только не заметили, в чем состоят ее главные красоты и недостатки, но даже не поняли, в чем состоит ее содержание.

В ней нет единства [6], говорят некоторые из критиков, нет поэтической гармонии, ибо главное лицо, Борис, *заслонено* лицом второстепенным, Отрепьевым [7].

Нет, говорят другие, главное лицо не Борис, а Самозванец; жаль только, что он не довольно развит [8] и что не весь интерес сосредоточивается на нем, ибо, где нет единства интереса, там нет стройности.

Вы ошибаетесь, говорит третий, интерес *не должен* сосредоточиваться ни на Борисе, ни на Самозванце. Трагедия Пушкина есть трагедия *историческая*, следовательно, не страсть, не характер, не лицо должны быть главным ее предметом, но целое время, *век* [9]. Пушкин то и сделал: он представил в трагедии своей верный очерк века, сохранил все его краски, все особенности его цвета. Жаль только, что эта картина начертана поверхностно и не полно, ибо в ней забыто многое характеристическое и развито многое лишнее, например характер Марины [10], и т. п. Если бы Пушкин понял глубже время Бориса, он бы представил его полнее и ощутительнее, то

есть, другими словами, подражая более Шекспиру, Пушкин более удовлетворил бы требованиям Шлегеля. Но забудем на время наших критиков, и Шекспира, и Шлегеля, и все теории трагедий; посмотрим на «Бориса Годунова» глазами, не предубежденными системою, и, не заботясь о том, что *должно* быть средоточением трагедии, спросим самих себя: что составляет главный предмет создания Пушкина?

Очевидно, что и Борис, и Самозванец, и Россия, и Польша, и народ, и царедворцы, и монашеская келья, и государственный совет — все лица и все сцены трагедии развиты только в *одном отношении*: в отношении к последствиям цареубийства. Тень умерщвленного Дмитрия царствует в трагедии от начала до конца, управляет ходом всех событий, служит связью всем лицам и сценам, расставляет в одну перспективу все отдельные группы и различным краскам дает один общий тон, один кровавый оттенок. Доказывать это значило бы переписать всю трагедию.

Но если убиение Димитрия с его государственными последствиями составляет главную нить и главный узел создания Пушкина, если критики, несмотря на то, искали средоточия трагедии в Борисе или Самозванце, или в жизни народа, и т. п., то очевидно, что они *по совести* не могли быть довольны поэтом и должны были находить в нем и нестройность, и неполноту, и мелкость, и незрелость, ибо при таком отношении судей к художнику, чем более гармонии в творении последнего, тем оно кажется разногласнее для первых, как верно рассчитанная перспектива для избравшего ложный фокус.

Но если бы вместо *фактических* последствий цареубийства Пушкин развил нам более его *психологи-*

ческое влияние на Бориса, как Шекспир в «Макбете» [11], если бы вместо русского монаха, который в темной келье произносит над Годуновым приговор судьбы и потомства, поэт представил нам шекспировских ведьм или Мюльнерову волшебницу-цыганку [12], или пророческий сон

Pendant l'horreur d'une profonde nuit* [13],

тогда, конечно, он был бы скорее понят и принят с большим восторгом. Но чтобы оценить «Годунова», как его создал Пушкин, надобно было отказаться от многих ученых и школьных предрассудков, которые не уступают никаким другим ни в упорности, ни в односторонности.

Большая часть трагедий, особенно новейших, имеет предметом дело совершающееся или долженствующее совершиться. Трагедия Пушкина развивает последствия дела уже совершенного, и преступление Бориса является не как *действие*, но как сила, как мысль, которая обнаруживается мало-помалу то в шепоте царедворца, то в тихих воспоминаниях отшельника, то в одиноких мечтах Григория, то в силе и успехах Самозванца, то в ропоте придворном, то в волнениях народа, то, наконец, в громком ниспровержении неправедно царствовавшего дома. Это постепенное возрастание коренной мысли в событиях разнородных, но связанных между собою одним источником, дает ей характер сильно трагический и таким образом позволяет ей заступить место господствующего лица или страсти, или поступка.

Такое трагическое воплощение мысли более свойственно древним, чем новейшим. Однако мы могли бы найти его и в новейших трагедиях, например в

---

* В ужасе глубокой ночи (*фр.*)

«Мессинской невесте»[14], в «Фаусте», в «Манфреде»[15], но мы боимся сравнений: где дело идет о созидании новом, пример легче может сбить, чем навести на истинное воззрение.

Согласимся, однако, что такого рода трагедия, где главная пружина не страсть, а мысль, по сущности своей не может быть понята большинством нашей публики, ибо большинство у нас не толпа, не народ, наслаждающийся безотчетно, а гг. читатели, почитающие себя образованными; они, *наслаждаясь*, хотят вместе *судить* и боятся прекрасного непонятного, как злого искусителя, заставляющего чувствовать против совести. Если бы Пушкин вместо «Годунова» написал эсхиловского «Промефея»[16], где также развивается воплощение мысли и где еще менее *ощутительной* связи между сценами, то, вероятно, трагедия его имела бы еще меньше успеха, и ей не только бы отказали в праве называться *трагедией*, но вряд ли бы признали в ней какое-нибудь достоинство, ибо она написана явно против всех правил новейшей драмы. Я не говорю уже об нас, бедных критиках; наше положение было бы тогда еще жалче: напрасно ученическим помазком старались бы мы расписывать красоты великого мастера, нам отвечали бы одно: «Промефей» не трагедия, это стихотворение беспримерное, какого нет ни у немцев, ни у англичан, ни у французов, ни даже у испанцев, — как же вы хотите, чтобы мы судили об ней? На чье мнение можем мы сослаться? Ибо известно, что нам самим

Не должно сметь
Свое суждение иметь[17].

Таково состояние нашей литературной образованности. Я говорю это не как упрек публике, но как

факт и более как упрек поэту, который не понял своих читателей. Конечно, в «Годунове» Пушкин выше своей публики; но он был бы еще выше, если б был общепонятнее. Своевременность столько же достоинство, сколько красота, и «Промефей» Эсхила в наше время был бы анахронизмом, следовательно, ошибкою.

Мы еще воротимся к трагедии Пушкина, когда будем говорить о русской литературе вообще.

в) BRIFE AUS PARIS, 1830—31, VON LUDWIG BÖRNE, 2 THEILE, HAMBURG.

Письма из Парижа, 1830—31, Лудвига Берне, 2 части, Гамбург, 1832

Никогда не собиралось в Париже столько немецких ученых и литераторов, как в 1830 году; и большая часть из них ехала во Францию с тем же чувством любопытства, с каким немецкий студент едет в аудиторию своего профессора присутствовать при новых экспериментах. Многие из этих путешественников выдали уже свои записки, другие еще собираются, и, вероятно, немногие упустят случай написать любопытную книгу. Письма из Франции Раумера [1] (известного профессора истории в Берлине) отличаются ученостью автора и многими дельными замечаниями. Но письма Берне и его друга Гейне замечательны особенно в отношении литературном. Тот и другой принадлежат к левой стороне и в политике и в словесности, — ибо словесность в Германии имеет также свою правую сторону и свою оппозицию, хотя, кажется, не имеет своего центра. К правой стороне принадлежат поклонники Гете, прямые последователи Августа Шлегеля [2] и вообще те литераторы, которые

цель искусства видят в самом искусстве, и не знают ничего выше изящества художественного. Противники их самое искусство подчиняют жизни, или лучше сказать, и жизнь и искусство видят в одной нераздельности. Оттого все произведения их носят печать минуты, мысли, самые отвлеченные, проникнуты событиями действительными и текущими, и мечты, самые поэтические, перемешаны с расчетами политики. Вот что сам Берне говорит о своих сочинениях, вышедших в 1829 году: «Я не писал книг. я только пробовал перо то на одном, то на другом лоскутке бумаги; теперь переплетчик собирает отдельные листочки в томы, — и вот мои сочинения. Я говорил только то, что думал, записывал только то, что подсказывало сердце. Надо мной стали бы смеяться, если бы знали, с каким волнением я берусь за перо. Нет, я не художник, хотя знаю, что истинный литератор должен быть художником, — и что в искусствах важно не то, *что́* выражаешь, а *как* выражаешь. Лягушка, огурец, свинья, Вильгельм Мейстер, Наполеон — перед художником все равны, лишь бы представлены были искусно. Я не таков и никогда таким не был. Я в природе не искал ничего, кроме бога, в искусстве ничего, кроме божественной природы, и где не находил природы, там не находил ни искусства, ни красоты, ни таланта: так судил я и о событиях, и об людях, и об книгах. Я хотел только одного: передать *чувство*; но *учить* и *доказывать* много охотников и без меня... Друзья мои всегда упрекали меня с горем, а враги со злою радостью, за то, что я не умею написать книги. Но беда ли это? Книга, — вино в бочке; листочек, — вино в бутылке. Дело только в том, чтобы было *вино*, а пить его все же нельзя, не доставши из бочки и не раз-

ливши по бутылкам. К тому же путешественнику, который спешит, — некогда читать томов; а свет теперь в дороге» [3].

Лудвиг Берне родился во Франкфурте на Майне 1786 года. Говорят, он жид или, по крайней мере, из жидов. Замечательно, что то же говорят про большую часть нынешних известных писателей Германии: про Гейне, про Раупаха [4], про Ганса [5], Иммермана [6] и многих других. Он издавал несколько журналов, но прекратил их потому, что не мог ужиться с ценсурою. Слог его жив и оригинален: насмешка зла и умна, и вообще все, что ни скажет Берне, сказано либо от сердца, либо с сердцем. Язык его довольно чист, всегда свеж и оригинален, но несмотря на то, в переводе он показался бы часто изыскан и темен, ибо мы не привыкли к тем тяжелым фразам, где небрежность дружеской записки соединена с кудреватостью уездного комплимента; к тем учено-продолжительным сравнениям, которые утомляют даже и тогда, когда нравятся, и которые более или менее свойственны каждому из немецких писателей, выключая, может быть, одного Гете и немногих из его последователей. Однако надобно отдать ту справедливость немцам, что слог их, говоря вообще, становится теперь гораздо проще и естественнее, чем во время Жан-Поля [7] и Гофмана [8], а литературный вкус публики делается строже и образованнее. Может быть, стесненная жизнь немецких литераторов и недостаток столичной людкости более других причин удаляет их от благородной простоты, которая воспитывается всего естественнее посреди довольства жизни, в кругу общества просвещенно-аристократического. Вот что Берне в своих письмах из Парижа говорит о французских ученых.

«Теперь министерство переменилось[9], как вы увидите из газет. Тьерс, написавший Историю Французской Революции, будет помощником государственного секретаря по части финансов, следовательно, почти тоже, что министр. Я знал его прежде. Ему нет еще, я думаю, тридцати лет. Когда мы были в Париже, он приехал к нам с Минье[10], своим земляком, и не имел ни связей, ни знакомых. Один немец, мой приятель, принял участие в молодых людях и взял их на свои руки, а теперь один из них государственный советник, а другой министр! Как здесь людям везет! Это тоже, что сделать министром Гейне или Менцеля[11], или меня. А мы, что? Бедный немецкий ученый пожелтел с досады и зависти, видя, как счастье ласкает французских писателей. Кроме множества денег за сочинения, они получают еще и места от правительства. Стендаль готовится ехать в Триест, где ему дали место консула. Вите́[12] (Vitet), который пишет так называемые исторические романы: Henri III, les Barricales, les Etats de Blois, теперь получил должность, в которой я ему завидую. Он сделан conservateur des monuments d'antiquité de la France *. Такого места прежде никогда не было, и министр Гизо[13] создал его для Вите, которому он покровительствовал. Должность его состоит в том, чтобы ежегодно раза по два объезжать Францию, осматривать древние здания, храмы, амфитеатры, водопроводы, церкви, построенные во времена римлян или в средние века, и сохранять их от разрушения. За это он получает ежегодно тридцать тысяч франков, и сверх того ему выдаются еще путевые деньги. Можно ли найти место приятнее для такого чело-

---

* хранителем древних сооружений во Франции (*фр.*)

века, как я, с моею ленью и с моею страстию к путешествиям. Поневоле треснешься головой об стену с досады, что мы, немцы, и что не можем вылезти из нашей бедности и ничтожества. Правда, в Германии делается много для искусств и наук; но для художников и ученых не делается ровно ничего. Здесь правительство ежегодно выдает награды за лучшие произведения живописи, ваяния, литографии, музыки и других искусств. Самая большая награда состоит в том, что художник в продолжении *пяти лет* получает ежегодно по 5000 франков и за то обязан употребить это время на свое образование в Риме. Немцу *обязанность жить в Риме* покажется смешною, потому что он в Риме живет охотнее, чем в Берлине или Карлсру. Но французам это часто кажется стеснением: они не охотно расстаются с Парижем. Еще на прошедшей неделе один молодой человек по имени Берлио́[14] (Berlioz) получил первую награду за музыкальные сочинения. (Я его знаю и люблю: у него на лице виден гений.) Случается ли у нас что-нибудь подобное? Вспомните о Беетговене. О! меня это бесит! Пришлите мне коробок с немецкою землею: я ее съем; это полезно от изжоги, и я рад буду хоть символически уничтожить и проглотить эту проклятую землю!»

Менцель, который повторяет эти слова в своей газете (Literatur Blatt), не разделяет мнения Берне. «Слава Богу, — говорит он, — что мы не на службе и не только можем, но даже принуждены носить мундир обще-человеческий, или обще-немецкий, а не Рейс-Грейц-Шлейцский, или Вадуцкий. Очень естественно, что при теперешних обстоятельствах Германии правительство не печется о людях, отличающихся своим умом. В области гения нельзя провести таких таможенных линий, какие вдоль и по-

перек проведены в Германии. Крылатый гений не годится в таможенные чиновники; его нельзя употреблять на мелочные дела и выгоды. Гений всегда остается при своей полноте, и нельзя его дробить, как Германию, на сотни участков. Великий германский гений находится во всю жизнь точно в том же положении, в каком г-жа Сталь [15] и г. Шатобриан [16] были на короткое время. Говорили, что Франции не достает Шатобриана, а Шатобриану Франции. Точно так же можно сказать, что Германия и ее высокие умы вечно в друг друге нуждаются» [17].

Мы не имели случая видеть новой книги Берне; но выписываем некоторые места из нее, помещенные в той же газете Менцеля. Рассказывая многое о блестящих событиях в мире искусств и театров, он, между прочим, рисует отменно забавный портрет Паганини, которого сходство, говорит Менцель, поразит каждого, кто слышал великого виртуоза на струне G [18].

«Не могу вам выразить словами того впечатления, которое Паганини произвел первым своим концертом. Я мог бы только выразить его на его собственной скрипке, если б она была моя. Это небесное, дьявольское вдохновение. Я в жизнь свою не слыхал и не видел ничего подобного. Этот народ сумасшедший, и между ним поневоле сойдешь с ума. Внимание было так напряжено, что никто не смел дышать; даже необходимое биение сердца мешало и досаждало. Когда он вышел на сцену, и еще прежде нежели стал играть, все его встретили громкими восклицаниями. Посмотрели бы вы на него! Он шатался, как пьяный. Он толкал свои собственные ноги и наступал на них. Он то протягивал руки к небу, то опускал вниз; то простирал к кулисам, умоляя и небо, и землю, и людей, чтобы они помогли ему

в жестоком положении. Потом он останавливался с руками распростертыми, как распятый: широко разевал рот и как будто спрашивал: мне ли это? В неловкости своей он был чрезвычайно живописен»[19]

Вот что Берне говорит о Тальони[20], известной танцовщице; «Флора меня особенно восхищала: в ее движениях такое слияние огня и грации, живости и умеренности, какого я не видал ни у одной танцовщицы. Она летала около самой себя: была и цветок и мотылек в одно время. Казалось, она не двигалась, а сам воздух то подымал, то опускал ее; небо и земля оспаривали ее друг у друга. «Кто эта танцовщица?» — спросил я у моего соседа в ложе, человека в лет пятьдесят, очень важной наружности. Как посмотрел он на меня! «Mais... c'est mademoiselle Taglioni!»[1*] — отвечал он наконец. Если бы я спросил у него лет двадцать тому назад, у парада на Марсовом поле: кто этот маленький человек на лошади, в сером сюртуке и низенькой шляпе?... он не мог бы на меня больше вытаращить глаз и отвечать с большим удивлением: mais, c'est Napoléon![2*] С тех пор я опять видел, как она танцевала: но она понравилась мне меньше, чем в первый раз: я открыл в ней недостатки. Вся душа ее в ногах; ее лицо мертво. Я заметил это и в первый раз, но тогда она играла богиню Флору; ее неподвижность показалась мне древним спокойствием и не повредила наслаждению. Во второй раз она играла Баядеру, влюбленную, несчастную, страстную Баядеру: ее пляска выражала слияние наслаждения и грусти; но лицо и глаза — спали. Либо стекло моей зрительной трубки было тускло, либо прекрасная Тальони глупа и не понимает своих ног»[21].

[1*] но ... это мадемуазель Тальони! (*фр.*)
[2*] но это Наполеон! (*фр.*)

XI
СМЕСЬ

а) ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВОСТИ

В Англии недавно вышла книга под названием: *Записки о Себастиане Каботе*[1], *с приложением обозрения морских открытий.* Конечно, немногие из наших читателей знают о Себастиане Каботе, и несмотря на то, он оспаривает у Колумба и Америга Веспуция[2] честь открытия Америки. Чтобы рассеять незаслуженный мрак, лежавший на имени славного мореходца, автор написал вышеназванную книгу, — имея возможность пользоваться из архивов такими документами, которые уничтожают всякое сомнение.

Себастиан Кабот, по словам испанского писателя Гомары[3] и других, был сын одного венецианца, жившего в Бристоле. Там он родился, рано сделался моряком и во время одного из своих путешествий по северным морям дошел до гораздо высшего градуса с. широты, нежели как до сих пор думали. Кабот хотел найти дорогу в Китай через северные моря, чтобы сократить переезд в Индию; он достиг, по словам *де-Бри, Бельфореста Шофтона* и других, 68-го С. Ш.[4], был, как кажется, истинным открытелем залива, который позднее назван Гудсоновым, и не мог идти далее оттого, что был остановлен бунтом на его корабле. Часть Америки, которую Кабот в первый раз увидел, 24 июля 1497, была не Ньюфоундланд, как обыкновенно думают, а маленький остров под 56-о С. Ш. у самого Лабрадорского берега. Это объясняет много, что осталось бы необъяснимо, если бы мы каботово описание этого острова стали применять к земле, теперь называемой Ньюфоундланд,

забывая, что это имя давалось и материку и всем новооткрытым островам.

О времени первого открытия Американского материка Каботом многие писатели говорили совершенно несправедливо. Но один патент, найденный в архиве, уничтожает всякое сомнение и бесспорно отдает Каботу высокую честь *истинного открытия Америки*. Этот документ, писанный 5 февраля 1498, заключает в себе подробное исчисление всех земель и островов, *уже открытых* Каботом, и это исчисление, вместе с картою, им начертанною (которая несколько лет висела в Вайтгале[5] (Whitehall), доказывает ясно, что Кабот был в тех странах прежде Колумба и Веспуция.

Далеко ли Кабот был на *юге* американского берега, не ясно видно из упоминаемого сочинения; кажется, однако же, что он доходил *почти* до Флориды. Впрочем, это неважно. Довольно того, что он видел Америку за целые четырнадцать месяцев до Колумба и за целые два года прежде, нежели Америго Веспуцци, которого именем называется весь новый мир, был на запад от Канарских островов.

В 1512 году Кабот вступил в испанскую службу, предводительствовал многими экспедициями в новооткрытую землю и открыл много нового. Он был и в Южной Америке, устремлял свои взгляды на Перу и просил Императора (Карла V), чтоб он позволил ему исполнить задуманные планы. Но Карл нуждался тогда в деньгах и должен был отказать ему в помощи. Удалец Писсарро[6] был счастливее. В 1528 году он получил позволения, средства и открыл Перу. Кабот кончил жизнь в Англии, и вероятно, в Лондоне. Но никто не знает, где покоятся его кости, и Англия, которая так гордится своими великими людь-

ми, почти совершенно забыла одного из величайших мореходцев, оказавшего ей неисчислимые услуги.

Купер[7] издал новый роман под названием: *il Bravo, Венецианская повесть.*

Вашингтон Ирвинг[8] оканчивает и скоро издаст *Историю Магомета,* составленную из Восточных преданий.

Недавно вышло в Германии пятое пополнӗнное издание стихотворений Лудвига Уланда[9], одного из первоклассных немецких лириков, известного у нас по некоторым переводам В. А. Жуковского.

Литературная репутация Уланда особенно замечательна. Несмотря на множество журналов в Германии, ни один из них не сказал ни слова в похвалу поэту в продолжении долгого времени, и только некоторые отзывались об нем с неуважением и даже с насмешкою. Между тем его звучные, глубоко-поэтические создания передавались с любовью из уст в уста, из сердца к сердцу и таким образом успели обойти всю Германию прежде, чем журналисты вздумали отдать им должную справедливость.

Но с тех пор как рукоплесканья немецких литераторов гремят поэту со всех концов немецкой земли, выражая ему любовь и сочувствие немецкой публики, в нем превозносят более всего его песни и романсы, обращая менее внимания на его патриотические оды и гимны, которые, однако ж, заключают в себе не менее достоинства. «Причина этому, — говорит Менцель, — находилась в обстоятельствах того времени; обстоятельства переменяются, и Германия отзывается с новым восторгом; и вдохновенные звуки

Уланда, и те гимны, которые лира его издала тому пятнадцать лет, кажутся нам теперь только созданными, ибо мы теперь только способны сочувствовать им»[10].

В Германии явился новый поэт *Густав Пфицер*[11]. Вот, что говорят об нем в Literatur-Blatt: «Мы находим в стихотворениях Пфицера благородно-нравственное направление Шиллера и Уланда, пламенное и чистое вдохновение, возвышенный и быстрый полет, и сладкозвучие и силу языка. При этом согласии, которое мы назовем *сердечным*, развивает он незаимствованное богатство духа самобытного и неподражательного. Но в большей части его стихотворений господствует, как у Шиллера, направление дидактическое. Когда он то с грустью и тоскою, то с чувством наслаждения воспевает природу, любовь, древнюю Грецию, женщин, свое отечество и собственную душу, то в этих песнях всегда отзывается Поэт *философ*, который в каждой капле слезы, в каждой росинке ищет отражение целого мироздания. Редко оставляет он этот возвышенный полет, чтобы беззаботно предаться сердцу и утонуть в чувстве внутреннего счастья, как в следующей скромной песенке[12]:

Menschen giebts, die rasch und glücklich,
Alles treffen in der Welt;
Was sie reden, das ist schicklich;
Was sie treiben, das gefällt.

Kommen stets am rechten Tage;
Überall paßt ihr Gewicht;
Und in ihrer Hand der Wage
Zittert und bewegt sich nicht.

Stets gewinnen sie im Lieben,
Wenn ihr Einsatz noch so klein;
Und die Lustigen und Trüben
Müssen ihre Beute sein.

Was sie bilden — das ist Leben!
Was sie sagen — Poesie!
Ohne Klagen — ohne Streben —
Virtuosen nennt man sie!

Kaum möcht' ich mit ihnen tauschen,
Die so hoch und sicher gehn!
Will an *Einer* Thüre lauschen
Will vor *Einem* Herde stehn.

Muß ich auch oft fast verzagen:
«Du verdienst nicht ihre Wahl!»
Ach, die süße Luft zu wagen
Würzet selbst des Zweifels Qual,

Schüchtern bring ich die Gedichte,
Die ich fern der Holden sang —
Vor dem holden Angesichte
Harr'ich der Entscheidung bang.

Neidet mich, ihr Virtuosen!
Wenn nur Eines ihr gefällt!
Wenn sie mir des Mundes Rosen
Liebevoll entgegenhält!» [1*]

[1*] Есть люди, живые и счастливые, которым все в жизни удается. То, что они говорят, удачно, то, чем они занимаются, вызывает одобрение. Они всегда приходят в нужный день, их влияние везде к месту, стрелка весов в их руке не дрожит и

Нет сомнения, что в этой песенке много красот, которые обнаруживают истинный талант. Однако, не во гнев Менцелю, многие стихи в ней доказывают еще незрелость и неопытность дарования. Так, напр., слово Virtuosen здесь не настоящее. Стих: Zittert und bewegt sich nicht, представляет двойной смысл; т. е. Zittert nicht und bewegt sich nicht[2*], или: Zittert nur, aber bewegt sich nicht[3*] Кроме того, многие стихи слабы, а конец слишком обыкновенен. Но Менцель между своими похвалами не упоминает о других недостатках, кроме дурных рифм, следовательно, мы в праве заключить, что его рецензия писана пристрастно, и хотя много можем ожидать от Пфицера, но не во всем поверить на слово его рецензенту.

не движется. Они всегда преуспевают в любви, когда не принимают ее еще близко к сердцу. И веселых и печальных они рассматривают как свою добычу. То, что они создают, — это жизнь, то, что они говорят — поэзия, без жалоб, без домогательства — их называют виртуозами. Едва ли я хотел бы поменяться с ними, идущими так высоко и уверенно, прислушиваться к одной двери, находиться у одного очага. Нередко я тоже почти впадаю в уныние: «Ты не заслуживаешь их внимания!» Ах, сладкий воздух услаждает даже муку сомнения. Робко несу я стихотворения, которые пою в дали очарования. Перед чудными лицами я робко жду решения. Завидуйте мне, виртуозы! Если вам нравится только одно! Если вы с любовью подносите мне розовые уста! (*нем.*)

[2*] Не дрожит и не движется (*нем.*).

[3*] Лишь дрожит, но не движется (*нем.*).

b) СЕВЕРНО-АМЕРИКАНСКИЙ СЕНАТ

Вашингтон избрали как самое приличное место для американского сената. Палата представителей очень во многом не сходна с английским нижним парламентом: не только в архитектуре и украшениях, но и в самом ходе дела. Члены нижнего парламента стеснены в старинной, длинной зале, где, однако же, голос говорящего явственно слышен, когда он несколько возвышается над обыкновенным разговорным тоном. Скамьи уставлены рядами, возвышающимися один над другим; посетители сжаты в маленькой, узкой галерее.

Вашингтонская палата представителей, напротив того, великолепная полукружная зала 96 футов в ширину и 40 футов в высоту. Вдоль по ее полукругу стоят четырнадцать мраморных колонн, доходящих до самого потолочного свода и под капителями красиво убранных фестонами из красной камки. Галерея для публики возвышена около 20 футов над полом залы и занимает пространство за колоннами. Внизу, в середине залы, сидит оратор, от кресел которого семь ходов в виде лучей ведут к окружности, а представители одноцентральными полукружиями сидят против оратора — так, что все вместе похоже на половину паутинного круга. Все члены сидят на красных, мягких креслах, а перед ними письменные столы с перьями, бумагой и выдвижными ящиками, от которых у них ключи.

Эта красивая зала, или лучше сказать, этот амфитеатр неудобен для говорящих. Если б это действительно был театр и если бы зрители сидели на местах членов, а актеры не находились бы в коридоре или в пустом пространстве за оратором, то все было бы хорошо, потому что голос оратора всегда слышен

очень явственно. Но когда захочет говорить член палаты, то это ему всегда стоит труда. Я говорил с одним из них об этом недостатке, и он признался, что в этом случае польза принесена в жертву красоте; «но вы согласитесь, — прибавил он, — что эта ошибка не часто повторяется в Америке».

В этой зале всегда царствуют порядок и приличие — не кашляют, не смеются, не кричат: «Слушайте! Слушайте!» (hear! hear!). Всякий член конгресса может говорить сколько захочет, без перерыва; но я не могу сказать, чтобы все, что там говорится, выслушано было со вниманием; там говорят между собою, пишут письма, отсылают их, шумят бесчисленными листами газет, которыми наводнена палата, запирают и отпирают ящики письменных столов или ходят взад и вперед между рядами кресел. Несколько расторопных мальчиков беспрестанно бегают взад и вперед либо с пуками бумаг, либо с записками к оратору, либо от одного члена к другому. Если кто-нибудь встает с намерением говорить долго, один из этих маленьких Меркуриев [1] тотчас бежит за стаканом воды и ставит его подле говорящего.

Широкий ход окружает подножия колонн, между которыми стоят покойные диваны, где члены палаты или посетители, получившие вход от оратора, могут отдыхать по произволу. Дамам запрещен вход в самую залу, а позволено было только в галерее. Посланникам и другим иностранцам назначается очень хорошее место за креслами оратора; там же находятся места и для тех, которые сообщают газетам известия о прениях.

Сенатская зала по наружности похожа на палату представителей, но гораздо меньше; в поперечнике ее полукруга только 75 футов.

Самый Капитолий — огромное, прекрасное здание, хотя многие думают, что его действие уменьшается от трех плоских куполов на верху, которые разногласят со стилем здания. Под середним куполом прозрачная зала, называемая *ротундою*, где ниши украшены колоссальными картинами Трумбулла[2]. Подле ротунды библиотека конгресса, соединенная с нею рядом ступеней: это прекрасная, очень хорошо убранная комната.

Камень, из которого построен Капитолий, очень сообразен с назначением такого здания, и его легкий приятный желтый цвет дает ему красивую наружность.

с) ИЗ ЖАН-ПОЛЯ[1]

Как часто называл я блаженными великого поэта, великого живописца, великого музыканта! Они могут творить, создавать великое, прекрасное, веселое! Могут чистой своей фантазией почтить священный прах! И однако же, что их суждения? Мечтательная, блестящая игрушка! Есть нечто лучшее: *жизнь*; есть *создание*. В нем заключается весь человек.

Силу жизни дают одни *дела, красоту* дает ей *мера*.

Человек должен всегда иметь в виду или великую цель, или великих людей; иначе душевные способности слабеют, как магнитная стрелка, долгое время отвращенная от полюса, теряет свою силу.

Человек совершенно, неограниченно свободен не в том, что хочет делать или чем хочет наслаждаться; но в том, от чего хочет он отказаться: все может он, если может хотеть презирать.

d) «ГОРЕ ОТ УМА» — НА МОСКОВСКОМ ТЕАТРЕ

В конце прошедшего года поставлена на московский театр известная комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» [1], и несмотря на то, что актеры играли дурно и ни один из них, не исключая даже г. Щепкина, не понял своей роли; несмотря на то, что комедия была уже давно знакома большей части зрителей, ибо нет уезда в европейской России, нет армейского полка, где бы ее не знали наизусть; несмотря на то, что она не имеет собственно драматических и театральных достоинств и лучше в простом чтении, чем па сцене; несморя на то, наконец, что московская публика видела в ней собственную свою карикатуру, — театр был почти полон в продолжении трех или четырех раз ее представления. Доказывает ли это беспристрастие московской публики? Или наша насмешливость сильнее нашего самолюбия? Или, может быть, мы смотрели на сцену с таким же добрым простодушием, с каким известная обезьяна, глядясь в зеркало, говорила медведю:

Смотри-ка, Мишенька: что это там за рожа? [2]

Правда, оригиналы тех портретов, которые начертал Грибоедов, уже давно не составляют большинства московского общества, и хотя они созданы и воспитаны Москвою, но уже сама Москва смотрит на них как на редкость, как на любопытные развалины другого мира. Но главный характер московского общества вообще — не переменился. Философия Фамусова и теперь еще кружит нам головы *; мы и

---

* Пофилософствуй, ум вскружится:
Ешь три часа, а в три дни не сварится!

теперь так же, как и в его время, хлопочем и суетимся из ничего; кланяемся и унижаемся бескорыстно и только из удовольствия кланяться; ведем жизнь без цели, без смысла; сходимся с людьми без участия, расходимся без сожаления; ищем наслаждений минутных и не умеем наслаждаться. И теперь так же, как при Фамусове, домы наши равно открыты для всех: для званных и незванных, для честных и для подлецов. Связи наши составляются не сходством мнений, не сообразностью характеров, не одинакою целью в жизни и даже не сходством нравственных правил; ко всему этому мы совершенно равнодушны. Случай нас сводит, случай разводит и снова сближает без всяких последствий, без всякого значения.

Эта пустота жизни, это равнодушие ко всему нравственному, это отсутствие всякого мнения и вместе боязнь пересудов, эти ничтожные отношения, которые истощают человека по мелочам и делают его неспособным ко всему стройно дельному, ко всему возвышенному и достойному труда *жить*, — все это дает московскому обществу совершенно особенный характер, составляющий середину между уездным кумовством и безвкусием и столичною искательностью и роскошью. Конечно, есть исключения, и, может быть, их больше, чем сколько могут заметить проходящие: есть общества счастливо отборные, заботливо охраняющие себя от их окружающей сметенности и душного ничтожества; есть люди, которые в кругу тихих семейных отношений, посреди бескорыстных гражданских обязанностей, развивают чувства возвышенные вместе с правилами твердыми и благородными; есть люди, постигшие возможность цели высокой посреди всеобщей пустоты и плоскости; люди, умеющие создавать себе наслаждения просве-

щенные, и роскошествовать с утонченностью и вкусом; но эти люди, эти общества далеко не составляют большинства; и если бы они захотели принять на себя бесполезную и молодо-странную откровенность Чацкого [3], то так же, как он, явились бы пугалищем собраний, существом несносным, непривычным и сумасшедшим.

Однако и самые исключения, находящиеся в беспрестанной борьбе с большинством, не могут совершенно сохраниться от его заразительности и невольно более или менее разделяют его недостатки. Так, почти нет дома в Москве, который бы чем-нибудь не обнаружил просвещенному иностранцу нашей необразованности, и если не в гостиной, не в кабинете, то хотя в прихожей найдет он какое-нибудь разногласие с европейским бытом и согласие с бытом московским.

Естественно, что это имеет влияние и на самого хозяина, и потому совершенно справедливо, что:

На всех Московских есть особый отпечаток.

Вот в чем состоит главная мысль комедии Грибоедова, мысль, выраженная сильно, живо и с прелестью поразительной истины. Каждое слово остается в памяти неизгладимо; каждый портрет прирастает к лицу оригинала неотъемлемо; каждый стих носит клеймо правды и кипит огнем негодования, знакомого одному таланту.

Но есть в этой же комедии другая мысль, которая, по моему мнению, если не противоречит господствующей, то, по крайней мере, доказывает, что автор судил о Москве более как *свидетель*, страстно взволнованный, нежели как *судья*, равнодушно мыслящий и умеющий, даже осуждая, отличать хорошее

от дурного. Может быть, это не вредит произведению искусства, не вредит истине художественной, но вредит истине практической и нравственной. Мысль, о которой я говорю, заключается в негодовании автора на нашу любовь к иностранному. Правда, эта любовь часто доходит до смешного и бессмысленного; дурно направленная, она часто мешает нашему собственному развитию; но злоупотребления вещи не уничтожают ее достоинства. Правда, мы смешны, подражая иностранцам, но только потому, что подражаем неловко и не вполне; что из-под европейского фрака выглядывает остаток русского кафтана и что, обривши бороду, мы еще не умыли лица. Но странность нашей подражательности пройдет при большем распространении просвещения, а просвещение у нас распространиться не может иначе, как вместе с распространением иностранного образа жизни, иностранного платья, иностранных обычаев, которые сближают нас с Европою *физически* и, следовательно, способствуют и к нашему нравственному и просвещенному сближению. Ибо, кто не знает, какое влияние имеет наружное устройство жизни на характер образованности вообще? Нам нечего бояться утратить своей национальности: наша религия, наши исторические воспоминания, наше географическое положение, вся совокупность нашего быта столь отличны от остальной Европы, что нам физически невозможно сделаться ни французами, ни англичанами, ни немцами. Но до сих пор национальность наша была национальность необразованная, грубая, китайски-неподвижная. Просветить ее, возвысить, дать ей жизнь и силу развития может только влияние чужеземное; и как до сих пор все просвещение наше заимствовано извне, так только извне можем мы заимствовать его

и теперь, и до тех пор, покуда поравняемся с остальною Европою. Там, где *общеевропейское* совпадается с нашею *особенностью*, там родится просвещение истинное русское, образованно-национальное, твердое, живое, глубокое и богатое благодетельными последствиями. Вот отчего наша любовь к иностранному может иногда казаться смешною, но никогда не должна возбуждать негодования; ибо, более или менее, посредственно или непосредственно, она всегда ведет за собой просвещение и успех, и в самих заблуждениях своих не столько вредна, сколько полезна.

Но любовь к иностранному не должно смешивать с пристрастием к иностранцам; если первая полезна как дорога к просвещению, то последнее, без всякого сомнения, и вредно, и смешно, и достойно нешуточного противодействия. Ибо, — не говоря уже о том, что из десяти иноземцев, променявших свое отечество на Россию, редко найдется один просвещенный, — большая часть так называемых иностранцев не рознится с нами даже и местом своего рождения; они родились в России, воспитаны в полурусских обычаях, образованы так же поверхностно и отличаются от коренных жителей только своим *незнанием русского языка* и иностранным окончанием фамилий. Это незнание языка, естественно, делает их чужими посреди русских и образует между ними и коренными жителями совершенно особенные отношения. Отношения сии, всем им более или менее общие, рождают между ними общие интересы и потому заставляют их сходиться между собою, помогать друг другу и, не условливаясь, действовать заодно. Так самое *незнание языка* служит для них *паролем*, по которому они узнают друг друга, а

недостаток просвещения нашего заставляет нас смешивать иностранное с иностранцами, как ребенок смешивает учителя с наукою и в уме своем не умеет отделить понятия об учености от круглых очков и неловких движений.

‹И. В. Киреевский›

е) ПИСЬМО ИЗ ЛОНДОНА

Одни театры оживляют печальную ноябрьскую погоду и скучную жизнь лондонских жителе˝˙ г. Мартин с мимическим своим зверинцем[1], теат˛ Адельфи[2] со своими пародиями, на котором лев в перчатках боксирует и поет соло, и г-жа Вестрис[3] прелестною своею игрою каждый вечер привлекают многочисленную публику. В литературе нет ничего нового, кроме альманахов: альманахи же пестрее и разнообразнее, чем когда-либо, и состязаются между собою в превосходстве, мягкости и отделке гравюр: Amulet, friendships offering, Literary souvenir, и Keepsake не уступают и нынче своим предшественникам. В литературном отношении они весьма незначительны, и редко попадется статья, заслуживающая внимания. Замечательного в мире словесности почти нет ничего: она задавлена рассуждениями о политике и о холере. Даже объявленный роман Вальтера Скотта медлит своим появлением; говорят даже, что он и совсем не выйдет в свет: друзья автора нашли в сем последнем его произведении столько следов старости и болезни, что боятся изданием оного повредить прежней славе великого писателя. Это *говорят*, — но я не ручаюсь за справедливость этого слуха. (*М. В.*)[4]

ЕВРОПЕЕЦ. № 2

I
ВОЙНА МЫШЕЙ И ЛЯГУШЕК
(Отрывок из неоконченной поэмы)

Слушайте: я расскажу вам, друзья, про мышей и
лягушек.
Сказка ложь, а песня быль, говорят нам; но в этой
Сказке моей найдется и правда. Милости ж просим
Тех, кто охотник в досужный часок пошутить,
посмеяться,
Сказки послушать; а тех, кто любит смотреть
исподлобья,
Всякую шутку считая за грех, мы просим покорно
К нам не ходить и дома сидеть да высиживать скуку.
Было прекрасное майское утро. Квакун двадесятый,
Царь знаменитой породы, властитель ближней
трясины,
Вышел из мокрой столицы своей, окруженный
блестящей
Свитой придворных. Вприпрыжку они взобрались
на пригорок,
Сочной травою покрытый, и там, на кочке усевшись,
Царь приказал из толпы его окружавших почетных
Стражей вызвать бойцов, чтоб его, царя, забавляли
Боем кулачным. Вышли бойцы; началося; уж много
Было лягушечьих морд царю в угожденье разбито;
Царь хохотал; от смеха придворная квакала свита
Вслед за его величеством; солнце взошло уж на
полдень.

Вдруг из кустов молодец в прекрасной беленькой
шубке,
С тоненьким хвостиком, острым, как стрелка,
на тоненьких ножках
Выскочил: следом за ним четыре таких же, но в
шубах
Дымного цвета. Рысцой они подбежали к болоту.
Белая шубка, носик в болото уткнув и поднявши
Правую ножку, начал воду тянуть и, казалось,
Был для него тот напиток приятнее меда; головку
Часто он вверх подымал, и вода с усастого рыльца
Мелким бисером падала; вдоволь напившись и лапкой
Рыльце обтерши, сказал он: «Какое раздолье студеной
Выпить воды, утомившись от зноя. Теперь понимаю
То, что чувствовал Дарий, когда он, в бегстве
из мутной
Лужи напившись, сказал: я не знаю вкуснее напитка!»
Эти слова одна из лягушек подслушала; тотчас
Скачет она с донесеньем к царю: из леса-де вышли
Пять каких-то зверков, с усами турецкими, уши
Длинные, хвостики острые, лапки как руки; в осоку
Все они побежали и царскую воду в болоте
Пьют. А кто и откуда они неизвестно. С десятком
Стражей Квакун посылает хорунжего Пышку
проведать,
Кто незваные гости; когда неприятели — взять их,
Если дадутся; когда же соседи, пришедшие
с миром, —
Дружески пригласить к царю на беседу. Сошедши
Пышка с холма и увидя гостей, в минуту узнал их:
«Это мыши, неважное дело! Но мне не случалось
Белых меж ними видать, и это мне чудно.
Смотрите ж, —
Спутникам тут он сказал, — никого не обидеть.
Я с ними

1832 **N. 2**

ЕВРОПЕЕЦЪ.

I.

ВОЙНА МЫШЕЙ И ЛЯГУШЕКЪ

(Отрывокъ изъ неоконченной поэмы.)

Слушайте; я разскажу вамъ, друзья, про мышей и лягушекъ.
Сказка ложь, а пѣсня быль, говорятъ намъ; но въ этой
Сказкѣ моей найдется и правда. Милостивъ просимъ
Тѣхъ, кто охотникъ въ досужной часокъ пошутить, посмѣяться,
Сказки послушать; а тѣхъ, кто любитъ смотрѣть изъ подлобья,
Всякую шутку считая за грѣхъ, мы просимъ покорно
Къ намъ не ходить, и дома сидѣть, да высиживать скуку.
Было прекрасное Майское утро. Квакунъ двадесятый,

Европ. Ч. I. 10

Первая страница второго номера «Европейца»

Сам на словах объяснюся. Увидим, что скажет мне
белый».
Белый меж тем с удивленьем великим смотрел,
приподнявши
Уши, на скачущих прямо к нему с пригорка лягушек;
Слуги его хотели бежать, но он удержал их,
Выступил бодро вперед и ждал скакунов; и как скоро
Пышка с своими к болоту приблизился: «Здравствуй,
почтенный
Воин, — сказал он ему, — прошу не взыскать, что без
спросу
Вашей воды напился я; мы все от охоты устали;
В это же время здесь никого не нашлось; благодарны
Очень мы вам за прекрасный напиток; и сами готовы
Равным добром за ваше добро заплатить:
благодарность
Есть добродетель возвышенных душ». Удивленный
такою
Умною речью, ответствовал Пышка: «Милости просим
К нам, благородные гости; наш царь, о прибытии
вашем
Сведав, весьма любопытен узнать: откуда вы родом,
Кто вы и как вас зовут. Я послан сюда пригласить вас
С ним на беседу. Рады мы очень, что вам показалась
Наша по вкусу вода; а платы не требуем: воду
Создал господь для всех на потребу, как воздух
и солнце».
Белая шубка учтиво ответствовал: «Царская воля
Будет исполнена; рад я к его величеству с вами
Вместе пойти, но только сухим путем, не водою;
Плавать я не умею; я царский сын и наследник
Царства мышиного». В это мгновенье, спустившись
с пригорка,
Царь Квакун со свитой своей приближался. Царевич

Белая шубка, увидя царя с такою толпою,
Несколько струсил, ибо не ведал, доброе ль, злое ль
Было у них на уме. Квакун отличался зеленым
Платьем, глаза навыкат сверкали, как звезды,
и пузом
Громко он, прядая, шлепал. Царевич Белая шубка,
Вспомнивши, кто он, робость свою победил. Величаво
Он поклонился царю Квакуну. А царь, благосклонно
Лапку подавши ему, сказал: «Любезному гостю
Очень мы рады; садись, отдохни; ты из дальнего,
верно,
Края, ибо до сих пор тебя нам видать не случалось».
Белая шубка, царю поклоняся опять, на зеленой
Травке уселся с ним рядом; а царь продолжал:
«Расскажи нам,
Кто ты? кто твой отец? кто мать? и откуда пришел
к нам?
Здесь мы тебя угостим дружелюбно, когда, не таяся,
Правду всю скажешь: я царь и много имею богатства;
Будет нам сладко почтить дорогого гостя дарами». —
«Нет никакой мне причины, — ответствовал Белая
шубка, —
Царь-государь, утаивать истину. Сам я породы
Царской, весьма на земле знаменитой; отец мой
из дома
Древних воинственных Бубликов, царь Долгохвост
Иринарий
Третий; владеет пятью чердаками, наследием славных
Предков, но область свою он сам расширил войнами:
Три подполья, один амбар и две трети ветчинни
Он покорил, победивши соседних царей; а в супруги
Взявши царевну Прасковью-Пискунью белую шкурку,
Целый овин получил он за нею в приданое. В свете
Нет подобного царства. Я сын царя Долгохвоста,

Петр Долгохвост, по прозванию *Хват*. Был я воспитан
В нашем столичном подполье премудрым Онуфрием
крысой.
Мастер я рыться в муке, таскать орехи; вскребаюсь
В сыр и множество книг уж изгрыз, любя просвещенье.
Хватом же прозван я вот за какое смелое дело:
Раз случилось, что множество нас, молодых
мышеняток,
Бегало по полю взапуски; я как шальной, раззадорясь,
Вспрыгнул с разбегу на льва, отдыхавшего в поле,
и в пышной
Гриве запутался; лев проснулся и лапой огромной
Стиснул меня; я подумал, что буду раздавлен,
как мошка.
С духом собравшись, я высунул нос из-под лапы;
«Лев-государь, — ему я сказал, — мне и в мысль
не входило
Милость твою оскорбить; пощади, не губи; неровен
час,
Сам я тебе пригожуся». Лев улыбнулся (конечно,
Он уж покушать успел) и сказал мне: «Ты, вижу,
забавник.
Льву услужить ты задумал. Добро, мы посмотрим,
какую
Милость окажешь ты нам? Ступай». Тогда он
раздвинул
Лапу; а я давай бог ноги; но вот что случилось:
Дня не прошло, как все мы испуганы были
в подпольях
Наших львиным рыканьем: смутилась, как будто от
бури,
Вся сторона: я не струсил; выбежал в поле и что же
В поле увидел? Царь Лев, запутавшись в крепких
тенетах,

Мечется, бьется, как бешеный; кровью глаза
налилися,
Лапами рвет он веревки, зубами грызет их; и было
Все то напрасно; лишь боле себя он запутывал.
«Видишь,
Лев-государь, — сказал я ему, — что и я пригодился.
Будь спокоен: в минуту тебя мы избавим». И тотчас
Созвал я дюжину ловких мышат; принялись мы
работать
Зубом; узлы перегрызли тенет, и Лев распутлялся.
Важно кивнув головою косматой и нас допустивши
К царской лапе своей, он гриву расправил, ударил
Сильным хвостом по бедрам и в три прыжка очутился
В ближнем лесу, где вмиг и пропал. По этому делу
Прозван я *Хватом*, и славу свою поддержать я
стараюсь;
Страшного нет для меня ничего; я знаю, что смелым
Бог владеет. Но должно, однако, признаться, что
всюду
Здесь мы встречаем опасность; так бог уж землю
устроил.
Все здесь воюет: с травою Овца, с Овцою голодный
Волк, Собака с Волком, с Собакой Медведь,
а с Медведем
Лев; Человек же и Льва, и Медведя, и всех побеждает.
Так и у нас, отважных Мышей, есть много опасных,
Сильных гонителей: Совы, Ласточки, Кошки,
а всех их
Злее козни людские. И тяжко подчас нам приходит.
Я, однако, спокоен; я помню, что мне мой наставник
Мудрый, крыса Онуфрий, твердил: беды нас смиренью
Учат. С верой такою ничто не беда. Я доволен
Тем, что имею: счастию рад, в несчастье не хмурюсь».
Царь Квакун со вниманьем слушал Петра Долгохвоста.

«Гость дорогой, — сказал он ему, — признаюсь
откровенно:
Столь разумные речи меня в изумленье приводят.
Мудрость такая в такие цветущие лета! Мне сладко
Слушать тебя: и приятность и польза! Теперь опиши
мне
То, что случалось когда с мышиным вашим народом,
Что от врагов вы терпели и с кем когда воевали». —
«Должен я прежде о том рассказать, какие нам козни
Строит наш хитрый двуногий злодей, Человек. Он
ужасно
Жаден: он хочет всю землю заграбить один и
с Мышами
В вечной вражде. Не исчислить всех выдумок хитрых,
какими
Наше он племя избыть замышляет. Вот, например, он
Домик затеял построить: два входа, широкий и узкий;
Узкий заделан решеткой, широкий с подъемною
дверью.
Домик он этот поставил у самого входа в подполье.
Нам же сдуру на мысли взбрело, что, поладить
С нами желая, для нас учредил он гостиницу.
Жирный
Кус ветчины там висел и манил нас; вот целый
десяток
Смелых охотников вызвались в домик забраться,
без платы
В нем отобедать и верные вести принесть нам.
Входят они, но только что начали дружно висячий
Кус ветчины тормошить, как подъемная дверь
с превеликим
Стуком упала и всех их захлопнула. Тут поразило
Страшное зрелище нас: увидели мы, как злодеи

Наших героев таскали за хвост и в воду бросали.
Все они пали жертвой любви к ветчине и к отчизне.
Было нечто и хуже. Двуногий злодей наготовил
Множество вкусных для нас пирожков и расклал их,
Словно как добрый, по всем закоулкам; народ наш
Очень доверчив и ветрен; мы лакомки; бросилась
жадно
Вся молодежь на добычу. Но что же случилось?
Об этом
Вспомнить — мороз подирает по коже! Открылся
в подполье
Мор: отравой злодей угостил нас. Как будто шальные
С пиру пришли удальцы: глаза навыкат, разинув
Рты, умирая от жажды, взад и вперед по подполью
Бегали с писком они, родных, друзей и знакомых
Боле не зная в лицо; наконец, утомясь, обессилев,
Все попадали мертвые лапками вверх; запустела
Целая область от этой беды; от ужасного смрада
Трупов ушли мы в другое подполье, и край наш
родимый
Надолго был обезмышен. Но главное бедствие наше
Ныне в том, что губитель двуногий крепко сдружился,
Нам ко вреду, с сибирским котом, Федотом Мурлыкой.
Кошачий род давно враждует с мышиным. Но этот
Хитрый котище Федот Мурлыка для нас наказанье
Божие. Вот как я с ним познакомился. Глупым
мышонком
Был я еще и не знал ничего. И мне захотелось
Высунуть нос из подполья. Но мать-царица Прасковья
С крысой Онуфрием крепко-накрепко мне запретили
Норку мою покидать; но я не послушался, в щелку
Выглянул: вижу камнем выстланный двор; освещало
Солнце его, и окна огромного дома светились;

Птицы летали и пели. Глаза у меня разбежались.
Выйти не смея, смотрю я из щелки и вижу, на дальнем
Крае двора зверек усатый, сизая шкурка.
Розовый нос, зеленые глазки, пушистые уши,
Тихо сидит и за птичками смотрит; а хвостик, как змейка,
Так и виляет. Потом он своею бархатной лапкой
Начал усастое рыльце себе умывать. Облилося
Радостью сердце мое, и я уж сбирался покинуть
Щелку, чтоб с милым зверьком познакомиться. Вдруг зашумело
Что-то вблизи; оглянувшись, так я и обмер. Какой-то
Страшный урод ко мне подходил; широко шагая,
Черные ноги свои подымал он, и когти кривые
С острыми шпорами были на них; на уродливой шее
Длинные косы висели змеями; нос крючковатый;
Под носом трясся какой-то мохнатый мешок, и как будто
Красный с зубчатой верхушкой колпак, с головы перегнувшись,
По носу бился, а сзади какие-то длинные крючья,
Разного цвета, торчали снопом. Не успел я от страха
В память прийти, как с обоих боков поднялись у урода
Словно как парусы, начали хлопать, и он, раздвоивши
Острый нос свой, так заорал, что меня как дубиной
Треснуло. Как прибежал я назад в подполье, не помню.
Крыса Онуфрий, услышав о том, что случилось со мною,
Так и ахнул. «Тебя помиловал бог, — он сказал мне, —
Свечку ты должен поставить уроду, который так кстати

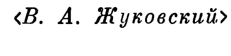
Криком своим тебя испугал; ведь это наш добрый
Сторож петух; он горлан и с своими большой забияка;
Нам же, мышам, он приносит и пользу: когда
закричит он,
Знаем мы все, что проснулися наши враги;
а приятель,
Так обольстивший тебя своей лицемерною харей,
Был не иной кто, как наш злодей записной, объедало
Кот Мурлыка; хорош бы ты был, когда бы с
знакомством
К этому плуту подъехал: тебя б он порядком погладил
Бархатной лапкой своею; будь же вперед осторожен».
Долго рассказывать мне об этом проклятом Мурлыке;
Каждый день от него у нас недочет. Расскажу я
Только то, что случилось недавно. Разнесся
в подполье
Слух, что Мурлыку повесили. Наши лазутчики сами
Видели это глазами своими. Вскружилось подполье;
Шум, беготня, пискотня, скаканье, кувырканье,
пляска, —
Словом, мы все одурели, и сам мой Онуфрий
премудрый
С радости так напился, что подрался с царицей и
в драке
Хвост у нее откусил, за что был и высечен больно.
Что же случилось потом? Не разведавши дела
порядком,
Вздумали мы кота погребать, и надгробное слово
Тотчас поспело. Его сочинил поэт наш подпольный
Клим, по прозванию Бешеный Хвост; такое прозванье
Дали ему за то, что, стихи читая, всегда он
В меру вилял хвостом, и хвост, как маятник, стукал.
Все изготовив, отправились мы на поминки к Мурлыке;

Вылезло множество нас из подполья; глядим мы, и вправду
Кот Мурлыка в ветчинне висит на бревне, и повешен
За ноги, мордою вниз; оскалены зубы; как палка,
Вытянут весь; и спина, и хвост, и передние лапы
Словно как мерзлые; оба глаза глядят не моргая.
Все запищали мы хором: «Повешен Мурлыка, повешеп
Кот окаянный; довольно ты, кот, погулял; погуляем
Нынче и мы». И шесть смельчаков тотчас взобралися
Вверх по бревну, чтоб Мурлыкины лапы распутать, но лапы
Сами держались, когтями вцепившись в бревно; а веревки
Не было там никакой, и лишь только к ним прикоснулись
Наши ребята, как вдруг распустилися когти, и на пол
Хлопнулся кот, как мешок. Мы все по углам разбежались
В страхе и смотрим, что будет. Мурлыка лежит и не дышит.
Ус не тронется, глаз не моргнет; мертвец, да и только.
Вот, ободрясь, из углов мы к нему подступать понемногу
Начали; кто посмелее, тот дернет за хвост, да и тягу
Даст от него; тот лапкой ему погрозит; тот подразнит
Сзади его языком; а кто еще посмелее,
Тот, подкравшись, хвостом в носу у него пощекочет.
Кот ни с места, как пень. «Берегитесь, — тогда нам сказала
Старая мышь Степанида, которой Мурлыкины ко́гти
Были знакомы (у ней оп весь зад ободрал, и насилу

Как-то она от него уплела), — берегитесь: Мурлыка
Старый мошенник; ведь он висел без веревки, а это
Знак недобрый; и шкурка цела у него». То услыша,
Громко мы все засмеялись. «Смейтесь, чтоб после
не плакать, —
Мышь Степанида сказала опять, — а я не товарищ
Вам». И поспешно, созвав мышеняток своих, убралася
С ними в подполье она. А мы принялись, как
шальные
Прыгать, скакать и кота тормошить. Наконец
поуставши,
Все мы уселись в кружок перед мордой его, и поэт
наш
Клим, по прозванию Бешеный Хвост, на Мурлыкино
пузо
Взлезши, начал оттуда читать нам надгробное слово,
Мы же при каждом стихе хохотали. И вот что
прочел он:
«Жил Мурлыка; был Мурлыка кот сибирский,
Рост богатырский, сизая шкурка, усы, как у турка;
Был он бешен, на краже помешан, за то и повешен,
Радуйся наше подполье!..» Но только успел
проповедник
Это слово промолвить, как вдруг наш покойник
очнулся.
Мы бежать... Куда ты! пошла ужасная травля.
Двадцать из нас осталось на месте; а раненых втрое
Более было. Тот воротился с ободранным пузом,
Тот без уха, другой с отъеденной мордой; иному
Хвост был оторван; у многих так страшно искусаны
были
Спины, что шкурки мотались, как тряпки; царицу
Прасковью

Чуть успели в нору уволочь за задние лапки;
Царь Иринарий спасся с рубцом на носу; но
премудрый
Крыса Онуфрий с Климом-поэтом достались Мурлыке
Прежде других на обед. Так кончился пир наш
бедою».

. . . .


‹В. А. Жуковский›

II
ПЕРСТЕНЬ

В деревушке, состоящей не более как из десяти дворов (не нужно знать, какой губернии и уезда), некогда жил небогатый дворянин Дубровин. Умеренностью, хозяйством он заменял в быту своем недостаток роскоши. Сводил расходы с приходами, любил жену и ежегодно умножающееся семейство, — словом, был счастлив; но судьба позавидовала его счастью. Пошли неурожаи за неурожаями. Не получая почти никакого дохода и почитая долгом помогать своим крестьянам, он вошел в большие долги. Часть его деревушки была заложена одному скупому помещику, другую оттягивал у него беспокойный сосед, известный ябедник. Скупому не был он в состоянии заплатить своего долга; против дельца не мог поддержать своего права, — конечно, бесспорного, но скудного наличными доказательствами. Заимодавец протестовал вексель, проситель с жаром преследовал дело, и бедному Дубровину приходило дозареза.

Всего нужнее было заплатить долг; но где найти деньги? Не питая никакой надежды, Дубровин решился, однако ж, испытать все способы к спасению. Он бросился по соседам, просил, умолял; но везде слышал тот же учтивый, а иногда неучтивый отказ. Он возвратился домой с раздавленным сердцем.

Утопающий хватается за соломинку. Несмотря на свое отчаяние, Дубровин вспомнил, что между соседями не посетил одного, — правда, ему незнакомого, но весьма богатого помещика. Он у него не был, и тому причиною было не одно незнакомство. Опальский (помещик, о котором идет дело) был человек отменно странный. Имея около полутора тысяч душ,

огромный дом, великолепный сад, имея доступ ко всем наслаждениям жизни, он ничем не пользовался. Пятнадцать лет тому назад он приехал в свое поместье, но не заглянул в свой богатый дом, не прошел по своему прекрасному саду, ни о чем не расспрашивал своего управителя. Вдали от всякого жилья, среди обширного дикого леса, он поселился в хижине, построенной для лесного сторожа. Управитель, без его приказания и почти насильно, пристроил к ней две комнаты, которые с третьею, прежде существовавшею, составили его жилище. В соседстве были о нем разные толки и слухи. Многие приписывали уединенную жизнь его скупости. В самом деле, Опальский не проживал и тридцатой части своего годового дохода, питался самою грубою пищею и пил одну воду; но в то же время он вовсе не занимался хозяйством, никогда не поверял своего управителя, — к счастью, отменно честного человека. Другие довольно остроумно заключили, что, отличаясь образом жизни, он отличается и образом мыслей, и подозревали его дерзким философом, вольнодумным естествоиспытателем, тем более что, по слухам, не занимаясь лечением, он то и дело варил неведомые травы и коренья, что в доме его было два скелета и страшный желтый череп лежал на его столе. Мнению их противоречила его набожность: Опальский не пропускал ни одной церковной службы и молился с особенным благоговением. Некоторые люди, и в том числе Дубровин, думали, однако ж, что какая-нибудь горестная утрата, а может быть, и угрызения совести были причиною странной жизни Опальского.

Как бы то ни было, Дубровин решился к нему ехать. «Прощай, Саша! — сказал он со вздохом жене

своей, — еще раз попробую счастья», — обнял ее и сел в телегу, запряженную тройкою.

Поместье Опальского было верстах в пятнадцати от деревушки Дубровина; часа через полтора он уже ехал лесом, в котором жил Опальский. Дорога была узкая и усеяна кочками и пнями. Во многих местах не проходила его тройка, и Дубровин был принужден отпрягать лошадей. Вообще нельзя было ехать иначе, как шагом. Наконец он увидел отшельническую обитель Опальского.

Дубровин вошел. В первой комнате не было никого. Он окинул ее глазами и удостоверился, что слухи о странном помещике частью были справедливы. В углах стояли известные скелеты, стены были обвешаны пуками сушеных трав и кореньев, на окнах стояли бутылки и банки с разными настоями. Некому было о нем доложить; он решился войти в другую комнату; отворил двери и увидел пожилого человека в изношенном халате, сидящего к нему задом и глубоко занятого каким-то математическим вычислением.

Дубровин догадался, что это был сам хозяин. Молча стоял он у дверей, ожидая, чтобы Опальский кончил или оставил свою работу; но время проходило, Опальский не прерывал ее. Дубровин нарочно закашлял, но кашель его не был примечен. Он шаркал ногами, — Опальский не слышал его шарканья. Бедность застенчива. Дубровин находился в самом тяжелом положении. Он думал, думал и, ни на что не решаясь, вертел на руке своей перстень, наконец уронил его, хотел подхватить на лету, но только подбил, и перстень, перелетев через голову Опальского, упал на стол перед самым его носом.

Опальский вздрогнул и вскочил с своих кресел.

Он глядел то на перстень, то на Дубровина, и не говорил ни слова. Он взял со стола перстень, с судорожным движением прижал его к своей груди, остановив на Дубровине взор, выражавший попеременно торжество и опасение. Дубровин глядел на него с замешательством и любопытством. Он был высокого роста; редкие волосы покрывали его голову, коей обнаженное темя лоснилось; живой румянец покрывал его щеки; он в одно и то же время казался моложав и старообразен. Прошло еще несколько мгновений. Опальский опустил голову и казался погруженным в размышление; наконец сложил руки, поднял глаза к небу; лицо его выразило глубокое смирение, беспредельную покорность. «Господи, да будет воля твоя!» — сказал он. «Это ваш перстень, — продолжал Опальский, обращаясь к Дубровину, — и я вам его возвращаю... Я мог бы не возвратить его... что прикажете?»

Дубровин не знал, что думать: но собравшись с духом, объяснил ему свою нужду, прибавя, что в нем его единственная надежда.

«Вам надобно десять тысяч, — сказал Опальский, — завтра же я вам их доставлю; что вы еще требуете?»

«Помилуйте, — вскричал восхищенный Дубровин, — что я могу еще требовать? Вы возвращаете мне жизнь неожиданным вашим благодеянием. Как мало людей вам подобны! Жена, дети опять с хлебом; я, она до гробовой доски будем помнить...»

«Вы ничем мне не обязаны, — прервал Опальский. — Я не могу отказать вам ни в какой просьбе. Этот перстень... (тут лицо его снова омрачилось) этот перстень дает вам беспредельную власть надо мною... Давно не видал я этого перстня... Он был моим... но что до этого? Ежели я вам более не ну-

И. В. КИРЕЕВСКИЙ
Рис. Э. А. Дмитриева-Мамонова

Н. М. ЯЗЫКОВ
Литография К. Эргот

В. А. ЖУКОВСКИЙ
Портрет К. Брюллова

А. С. ПУШКИН
Портрет Т. Райта

Е. А. БАРАТЫНСКИЙ
Портрет Ф. Берже

1

Европеецъ

Журналъ наукъ и словесности,

будетъ состоять изъ 5ти отдѣленiй:

1. Науки. Сiе отдѣленiе будетъ наполняться оригинальными и переводными статьями по части Исторiи, Географiи, Статистики въ пространномъ смыслѣ, Государствовѣдѣнiя, Земледѣлiя, Политической Экономiи, Философiи, Астрономiи, Наукъ Естественныхъ, и пр.

2. Изящная Словесность: стихи, повѣсти, сказки, разсужденiе и вообще изящная проза, переводная и оригинальная.

3. Бiографiи знаменитыхъ современниковъ, особенно Литтераторовъ.

4. Критика: Разборы книгъ, журнальныхъ статей и театральныхъ пiесъ Русскихъ и Иностранныхъ.

5. Смѣсь: библiографiя, извѣстiя, замѣчанiя о Литтературѣ и Наукахъ, о Русскихъ и Иностранныхъ Театрахъ, новости, анекдоты и пр.

Годовое изданiе будетъ состоять изъ 6ти томовъ или 24 книжекъ, къ которымъ по временамъ будутъ прилагаться портреты, виды, fac simile, карикатуры, ноты и проч.

Программа журнала «Европеец»
(ЦГАЛИ)

Текст статьи И. В. Киреевского «Девятнадцатый век» с пометой цензора С. Т. Аксакова и поправкой автора (ЦГАЛИ)

Милостивый Государь,

Князь Карлъ Андреевичъ!

Государь Императоръ, прочитавъ въ № 1-мъ издаваемаго въ Москвѣ Иваномъ Кирѣевскимъ журнала подъ названіемъ Европейцъ, статью Девятнадцатый Вѣкъ, изволилъ обратить на оную особое Свое вниманіе. Его Величество изволилъ найти, что вся статья сія есть ни что иное какъ разсужденіе о высшей Политикѣ, хотя въ началѣ оной сочинитель и утверждаетъ, что онъ говоритъ не о Политикѣ а о Литературѣ. — Но стоитъ обратить только нѣкоторое вниманіе чтобъ видѣть, что сочинитель, разсуждая будто бы о Литературѣ разумѣетъ совсемъ иное, что подъ словомъ просвѣщеніе онъ понимаетъ свободу, что дѣятельность разума означаетъ у него революцію, а искусно отысканная средина ничто иное какъ конституцію. По сему Его Величество изволитъ на-

ходить

Его Свѣт-му Кн. К. А. Ливену —

Письмо А. Х. Бенкендорфа к К. А. Ливену о закрытии «Европейца» (ЦГИА)

жен, позвольте мне докончить мою работу: завтра я к вашим услугам».

Едучи домой, Дубровин был в неописанном волненьи. Неожиданная удача, удача, спасающая его от неизбежной гибели, конечно, его радовала, но некоторые слова Опальского смутили его сердце. «Что за перстень? — думал он. — Некогда принадлежал он Опальскому; мне подарила его жена моя. Какие отношения были между нею и моим благодетелем? Она его знает! Зачем же всегда таила от меня это знакомство? Когда она с ним познакомилась?» Чем он более думал, тем он становился беспокойнее; все казалось странным и загадочным Дубровину.

«Опять отказ? — сказала бедная Александра Павловна, видя мужа своего, входящего с лицом озабоченным и пасмурным. — Боже! что с нами будет!» Но, не желая умножить его горести: «утешься, — прибавила она голосом более мирным, — бог милостив, может быть, мы получим помощь, откуда не чаем».

«Мы счастливее, нежели ты думаешь, — сказал Дубровин. — Опальский дает десять тысяч... Все слава богу».

«Слава богу? отчего же ты так печален?»

«Так, ничего... Ты знаешь этого Опальского?»

«Знаю, как ты, по слухам... но ради бога...»

«По слухам... только по слухам. Скажи, как достался тебе этот перстень?»

«Что за вопросы! Мне подарила его моя приятельница Анна Петровна Кузмина, которую ты знаешь: что тут удивительного?»

Лицо Александры Павловны было так спокойно, голос так свободен, что все недоумения Дубровина исчезли. Он рассказал жене своей все подробности

своего свидания с Опальским, признался в невольной тревоге, наполнившей его душу, и Александра Павловна, посердясь немного, с ним помирилась. Между тем она сгорала любопытством. «Непременно напишу к Анне Петровне, — сказала она. — Какая скрытная! никогда не говорила мне об Опальском. Теперь поневоле признается, видя, что мы знаем уже половину тайны».

На другой день, рано поутру, Опальский сам явился к Дубровину, вручил ему обещанные десять тысяч и на все выражения его благодарности отвечал вопросом: «Что еще прикажете?»

С этих пор Опальский каждое утро приезжал к Дубровину, и «что прикажете» было всегда его первым словом. Благодарный Дубровин не знал, как отвечать ему, наконец привык к этой странности и не обращал на нее внимания. Однако ж он имел многие случаи удостовериться, что вопрос этот не был одною пустою поговоркою. Дубровин рассказал ему о своем деле, и на другой же день явился к нему стряпчий и подробно осведомился о его тяжбе, сказав, что Опальский велел ему хлопотать о ней. В самом деле, она в скором времени была решена в пользу Дубровина.

Дубровин прогуливался однажды с женою и Опальским по небольшому своему поместью. Они остановились у рощи над рекою, и вид на деревни, по ней рассыпанные, на зеленый луг, расстилающийся перед нею на необъятное пространство, был прекрасен. «Здесь бы, по-настоящему, должно было построить дом, — сказал Дубровин, — я часто об этом думаю. Хоромы мои плохи, кровля течет, надо строить новые, и где же лучше?» На другое утро крестьяне Опальского начали свозить лес на место,

избранное Дубровиным, и вскоре поднялся красивый, светлый домик, в который Дубровин перешел с своим семейством.

Не буду рассказывать, по какому именно поводу Опальский помог ему развести сад, запастись тем и другим: дело в том, что каждое желание Дубровина было тот час же исполнено.

Опальский был как свой у Дубровиных и казался им весьма умным и ученым человеком. Он очень любил хозяина, но иногда выражал это чувство довольно странным образом. Например, сжимая руку благоденствованному им Дубровину, он говорил ему с умилением, от которого навертывались на глаза его слезы: «Благодарю вас, вы ко мне очень снисходительны!»

Анна Петровна отвечала на письмо Александры Павловны. Она не понимала ее намеков, уверяла, что и во сне не видывала никакого Опальского, что перстень был подарен ей одною из ее знакомок, которой принес его дворовой мальчик, нашедший его на дороге. Таким образом, любопытство Дубровиных осталось неудовлетворенным.

Дубровин расспрашивал об Опальском в его поместье. Никому не было известно, где и как он провел свою молодость; знали только, родился он в Петербурге, был в военной службе, наконец, лишившись отца и матери, прибыл в свои поместья. Единственный крепостной служитель, находившийся при нем, скоропостижно умер дорогою, а наемный слуга, с ним приехавший и которого он тотчас отпустил, ничего об нем не ведал.

Народные слухи были занимательнее. Покойный приходской дьячок рассказывал жене своей, что однажды, исповедуясь в алтаре, Опальский говорил так

громко, что каждое слово до него доходило. Опальский каялся в ужасных преступлениях, в чернокнижестве; признавался, что ему от роду 450 лет, что долгая эта жизнь дана ему в наказание и неизвестно, когда придет минута его успокоения. Многие другие были россказни, одни других замысловатее и нелепее; но ничто не объясняло таинственного перстня.

Беспрестанно навещаемый Опальским, Дубровин почитал обязанностью навещать его по возможности столь же часто. Однажды, не застав его дома (Опальский собирал травы в окрестности), он стал перебирать лежащие на столе его бумаги. Одна рукопись привлекла его внимание. Она содержала в себе следующую повесть:

«Антонио родился в Испании. Родители его были люди знатные и богатые. Он был воспитан в гордости и роскоши; жизнь могла для него быть одним праздником... Две страсти — любопытство и любовь — довели его до погибели.

Несмотря на набожность, в которой его воспитывали, на ужас, внушаемый инквизицией (это было при Филиппе II) [1], рано предался он преступным изысканиям: тайно беседовал с учеными жидами, рылся в кабалистических книгах долго, безуспешно; наконец край завесы начал перед ним приподниматься.

Тут увидел он в первый раз донну Марию, прелестную Марию, и позабыл свои гадания, чтобы покориться очарованию ее взоров. Она заметила любовь его и сначала казалась благосклонною, но мало-помалу стала холоднее и холоднее. Антонио был в отчаянии, и оно дошло до исступления, когда он уверился, что другой, а именно дон Педро де-ла-Савина владел ее сердцем. С бешенством упрекал он Марию

в ее перемене. Она отвечала одними шутками; он удалился, но не оставил надежды обладать ею.

Он снова принялся за свои изыскания, испытывал все порядки магических слов, испытывал все чертежи волшебные, приобщал к показаниям ученых собственные свои догадки, и упрямство его, наконец, увенчалось несчастным успехом. Однажды вечером, один в своем покое, он испытывал новую магическую фигуру. Работа приходила к концу; он провел уже последнюю линию: напрасно!.. фигура была недействительна. Сердце его кипело досадою. С горькою внутреннею усмешкою он увенчал фигуру свою бессмысленным своенравным знаком. Этого знака недоставало... Покой его наполнился странным жалобным свистом. Антонио поднял глаза... Легкий прозрачный дух стоял перед ним, вперив на него тусклые, но пронзительные свои очи.

„Чего ты хочешь?“ — сказал он голосом тихим и тонким, но от которого кровь застыла в его сердце и волосы стали у него дыбом. Антонио колебался, но Мария предстала ему со всеми своими прелестями, с лицом приветливым, с глазами, полными любовью... Он призвал всю свою смелость. «Хочу быть любим Мариею», — отвечал он голосом твердым.

„Можешь, но с условием“.

Антонио задумался. „Согласен! — сказал он наконец, — но для меня этого мало. Хочу любви Марии, но хочу власти и знания: тайна природы будет мне открыта?“

„Будет, — отвечал дух. — Следуй за своею тенью.“ Дух исчез. Антонио встал. Тень его чернела у дверей. Двери отворились: тень пошла, — Антонио за нею.

Антонио шел, как безумный, повинуясь безмолвной своей путеводительнице. Она привела его в глу-

бокую уединенную долину и внезапно слилась с ее мраком. Все было тихо, ничто не шевелилось... Наконец земля под ним вздрогнула... Яркие огни стали вылетать из нее один за другим; вскоре наполнился ими воздух: они метались около Антонио, метались миллионами; по свет их не разогнал тьмы, его окружающей. Вдруг пришли они в порядок и бессчисленными правильными рядами окружили его на воздухе. „Готов ли ты?“ — вопросил его голос, выходящий из-под земли. „Готов“, — отвечал Антонио.

Огненная купель пред ним возникла. За нею поднялся безобразный бес в жреческом одеянии. По правую свою руку он увидел огромную ведьму, по левую такого же демона.

Как описать ужасный обряд, совершенный над Антонио, эту уродливую насмешку над священнейшим из обрядов! Ведьма и демон занимали место кумы и кума, отрекаясь за пеофита Антонио от бога, добра и спасения; адский хохот раздавался по временам вместо пения; страшны были знакомые слова спасения, превращенные в заклятия гибели. Голова кружилась у Антонио; наконец прежний свист раздался; все исчезло. Антонио упал в обморок, утро возвратило ему память, он взглянул на божий мир — глазами демона: так он постигнул тайну природы, ужасную, бесполезную тайну; он чувствовал, что все ему ведомо и подвластно, и это чувство было адским мучением. Он старался заглушить его, думая о Марии.

Он увидел Марию. Глаза ее обращались к нему с любовию; шли дни, и скорый брак должен был их соединить навеки.

Лаская Марию, Антонио не оставлял свои кабалистические занятия; он трудился над составлением

талисмана, которым хотел укрепить свое владычество над жизнью и природой: он хотел поделиться с Марией выгодами, за которые заплатил душевным спасением, и вылил этот перстень, впоследствии послуживший ему наказанием, быть может, легким в сравнении с его преступлениями.

Антонио подарил его Марии; он ей открыл тайную его силу. „Отныне нахожусь я в совершенном твоем подданстве, — сказал он ей, — как все земное, я сам подвластен этому перстню; не употребляй во зло моей доверенности; люби, о люби меня, моя Мария“.

Напрасно. На другой же день он нашел ее сидящей рядом с его соперником. На руке его был магический перстень „Что, проклятый чернокнижник, — закричал дон Педро, увидя входящего Антонио, — ты хотел разлучить меня с Марией, но попал в собственные сети. Вон отсюда! жди меня в передней!“

Антонио должен был повиноваться. Каким унижениям подвергнул его дон Педро! Он исполнял у него самые тяжелые рабские службы. Мария стала супругою его повелителя. Одно горестное утешение оставалось Антонио: видеть Марию, которую любил, несмотря на ужасную ее измену. Дон Педро это заметил. „Ты слишком заглядываешься на жену мою, — сказал он. — Присутствие твое мне надоело: я тебя отпускаю“. Удаляясь, Антонио остановился у порога, чтобы еще раз взглянуть на Марию. „Ты еще здесь? — закричал дон Педро, — ступай, ступай, не останавливайся!“

Роковые слова! Антонио пошел, но не мог уже остановиться; двадцать раз в продолжении ста пятидесяти лет обошел он землю. Грудь его давила усталость; голод грыз его внутренность. Антонио призывал смерть, но она была глуха к его молениям; Анто-

нио не умирал, и ноги его все шагали. „Постой!“ — закричал ему, наконец, какой-то голос. Антонио остановился, к нему подошел молодой путешественник. „Куда ведет эта дорога?“ — спросил он его, указывая направо рукой, на которой Антонио увидел свой перстень. „Туда-то...“ — отвечал Антонио. „Благодарю“, — сказал учтиво путешественник и оставил его. Антонио отдыхал от полуторавекового похода, но скоро заметил, что положение его не было лучше прежнего: он не мог ступить с места, на котором остановился. Вяла трава, обнажались деревья, стыли воды, зимние снега падали на его голову, морозы сжимали воздух, — Антонио стоял неподвижно. Природа оживлялась, у ног его таял снег, цвели луга, жаркое солнце палило его темя... Он стоял, мучился адскою жаждою, и смерть не прерывала его мучения. Пятьдесят лет провел он таким образом. Случай освобождал его от одной казни, чтобы подвергнуть другой, тягчайшей. Наконец...»

Здесь прерывалась рукопись. Всего страннее было сходство некоторых ее подробностей с народными слухами об Опальском. Дубровин нисколько не верил колдовству. Он терялся в догадках. «Как я глуп, — подумал он напоследок. — Это перевод какой-нибудь из этих модных повестей, в которых чепуху выдают за гениальное своенравие».

Он остался при этой мысли; прошло несколько месяцев. Наконец Опальский, являвшийся ежедневно к Дубровину, не приехал в обыкновенное свое время. Дубровин послал его проведать. Опальский был очень болен.

Дубровин готовился ехать к своему благодетелю, но в ту же минуту остановилась у крыльца его повозка.

«Марья Петровна, вы ли это? — вскричала Александра Павловна, обнимая вошедшую, довольно пожилую женщину. — Какими судьбами?»

«Еду в Москву, моя милая, и, хотя ты 70 верст в стороне, заехала с тобой повидаться. Вот тебе дочь моя, Дашенька, — прибавила она, указывая на пригожую девицу, вошедшую вместе с нею. — Не узнаешь? ты оставила ее почти ребенком. Здравствуйте, Владимир Иванович, привел бог еще раз увидеться!»

Марья Петровна была давняя дорогая приятельница Дубровиных. Хозяева и гости сели. Стали вспоминать старину; мало-помалу дошли и до настоящего. «Какой у вас прекрасный дом, сказала Марья Петровна, — вы живете господами». «Слава богу! — отвечала Александра Павловна, — а чуть было не пошли по миру. Спасибо этому доброму Опальскому». «И моему перстню», — прибавил Владимир Иванович. «Какому Опальскому? какому перстню? — вскричала Марья Петровна. — Я знала одного Опальского; помню и перстень... Да нельзя ли мне его видеть?»

Дубровин подал ей перстень. «Тот самый, — продолжала Марья Петровна, — перстень этот мой, я потеряла его тому назад лет восемь... О, этот перстень напоминает мне много проказ! Да что за чудеса были с вами?» Дубровин глядел на нее с удивлением, но передал ей свою повесть в том виде, в каком мы представляем ее нашим читателям. Марья Петровна помирала со смеху.

Все объяснилось. Марья Петровна была донна Мария, а сам Опальский, превращенный из Антона в Антонио, страдальцем таинственной повести. Вот как было дело: полк, в котором служил Опальский, стоял некогда в их околотке. Марья Петровна была то время молодой прекрасной девицей. Опальский, ко-

торый тогда уже был слаб головою, увидел ее в первый раз на святках одетою испанкой, влюбился в нее и даже начинал ей нравиться, когда она заметила, что мысли его были не совершенно здравы: разговор о таинствах природы, сочинения Эккартсгаузена навели Опальского на предмет его помешательства, которого до той поры не подозревали самые его товарищи. Это открытие было для него пагубно. Всеобщие шутки развили несчастную наклонность его воображения; но он совершенно лишился ума, когда заметил, что Марья Петровна благосклонно слушает одного из его сослуживцев, Петра Ивановича Савина (дон Педро де-ла-Савина), за которого она потом и вышла замуж. Он решительно предался магии. Офицеры и некоторые из соседственных дворян выдумали непростительную шутку, описанную в рукописи: дворовой мальчик явился духом. Опальский до известного места в самом деле следовал за своей тенью. На это употребили очень простой способ: сзади его несли фонарь. Марья Петровна в то время была довольно ветрена и рада случаю посмеяться. Она согласилась притвориться в него влюбленною. Он подарил ей свой таинственный перстень; посредством его разным образом издевались над бедным чародеем: то посылали его верст за двадцать пешком с каким-нибудь поручением, то заставляли простоять целый день на морозе; всего рассказывать не нужно: читатель догадается, как он пересоздал все эти случаи своим воображением и как тяжелые минуты казались ему годами. Наконец Марья Петровна над ним сжалилась, приказала ему выйти в отставку, ехать в деревню и в ней жить как можно уединеннее.

«Возьмите же ваш перстень, — сказал Дубровин, — с чужого коня и среди грязи долой». «И, батюшка,

что мне в нем?» — отвечала Марья Петровна. «Не шутите им, — прервала Александра Павловна, — он принес нам много счастья: может быть, и с вами будет то же». — «Я колдовству не верю, моя милая, а ежели уже на то пошло, отдайте его Дашеньке: ее беде одно чудо поможет».

Дубровины знали, в чем было дело: Дашенька была влюблена в одного молодого человека, тоже страстно в нее влюбленного, но Дашенька была небогатая дворяночка, а родные его не хотели слышать об этой свадьбе; оба равно тосковали, а делать было нечего.

Тут прискакал посланный от Опальского и сказал Дубровину, что его барин желает как можно скорее его видеть. «Каков Антон Исаич?» — спросил Дубровин. «Слава богу, — отвечал слуга, — вчера вечером и даже сегодня утром было очень дурно, но теперь он здоров и спокоен».

Дубровин оставил своих гостей и поехал к Опальскому. Он нашел его лежащего в постели. Лицо его выражало страдание, но взор был ясен. Он с чувством пожал руку Дубровину: «Любезный Дубровин, — сказал он ему, — кончина моя приближается: мне предвещает ее внезапная ясность моих мыслей. От какого ужасного сна я проснулся!.. Вы, верно, заметили расстройство моего воображения... Благодарю вас: вы не употребили его во зло, как другие, — вы утешили вашею дружбою бедного безумца!..»

Он остановился, и заметно было, что долгая речь его утомила: «Преступления мои велики, — продолжал он после долгого молчания. — Так! хотя воображение мое было расстроено, я ведал, что я делаю: я знаю, что я продал вечное блаженство за времен-

ное... Но и мечтательные страдания мои были велики! Их возложит на весы свои бог милосердный и праведный».

Вошел священник, за которым было послано в то же время, как и за Дубровиным. Дубровин оставил его наедине с Опальским.

«Он скончался, — сказал священник, выходя из комнаты. — Но успел совершить обязанность христианина. Господи, прими дух его с миром!»

Опальский умер. По истечении законного срока пересмотрели его бумаги и нашли завещание. Не имея наследников, он отдал имение свое Дубровину, то называя его по имени, то означая его владетелем такого-то перстня; словом, завещание было написано таким образом, что Дубровин и владетель перстня могли иметь бесконечную тяжбу.

Дубровины и Дашенька, тогдашняя владетельница перстня, между собою не ссорились и разделили поровну неожиданное богатство. Дашенька вышла замуж по выбору сердца и поселилась в соседстве Дубровиных. Оба семейства не забывают Опальского, ежегодно совершают по нем панихиду и молят бога помиловать душу их благодетеля.

Е. Баратынский

III

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ А. А. ВОЕЙКОВОЙ

Ее уж нет, но рай воспоминаний
Священных мне оставила она:
Вон чуждый брег и мирный храм познаний,
Каменами любимая страна;
Там, смелый гость свободы просвещенной,
Певец вина и дружбы и прохлад,
Настроил я, младый и вдохновенный,
Мои стихи на самобытный лад —
И вторились напевы удалые
При говоре фиалов круговых!
Там грудь моя наполнилась впервые
Волненьем чувств заветных и живых,
И трепетом, томительным и страстным,
Божественной и сладостной любви.
Я счастлив был: мелькали дни мои
Летучим сном, заманчивым и ясным.

А вы, певца внимательные други,
Товарищи, как думаете вы?
Для вас я пел немецкие досуги,
Спесивый хмель ученой головы,
И праздник тот, шумящий ежегодно,
Там у пруда, на бархате лугов,
Где обогнул залив голубоводный
Зеленый скат лесистых берегов?
Луна взошла, древа благоухали,
Зефир весны струил ночную тень,
Костер пылал — мы долго пировали
И бурные, приветствовали день!
Товарищи! не правда ли? на пире
Не рознил вам лирический поэт?
А этот пир не наобум воспет,
И вы моей порадовались лире!
Нет, не для вас! — Она меня хвалила,
Ей нравились: разгульный мой венок,
И младости заносчивая сила,
И пламенных восторгов кипяток.

Когда она игривыми мечтами,
Радушная, преследовала их;
Когда она веселыми устами
Мой счастливый произносила стих —
Торжественна, полна очарованья,
Свежа, и где была душа моя!
О! прочь мои грядущие созданья!
О! горе мне, когда забуду я
Огонь ее приветливого взора,
И на челе избыток стройных дум,
И сладкий звук речей, и светлый ум
В лиющемся кристале разговора.

Ее уж нет! Все было в ней прекрасно!
И тайна в ней великая жила,
Что юношу стремило самовластно
На видный путь и чистые дела;
Он чувствовал: возвышенные блага
Есть на земле! Есть целый мир труда
И в нем — надежд и помыслов отвага,
И бытие привольное всегда!
Блажен, кого любовь ее ласкала,
Кто пел ее под небом лучших лет...
Она всего поэта понимала —
И горд, и тих, и трепетен, поэт
Ей приносил свое боготворенье —
И радостно во имя божества
Сбирались в хор созвучные слова:
Как фимиам, горело вдохновенье.

Н. Языков

IV
КАРЛ МАРИЯ ВЕБЕР[1]

Я родился 18 декабря 1786 в Эйтине в Герцогстве Голштинском и получил весьма хорошее воспитание, главным предметом коего были изящные искусства: ибо отец мой[2] был из числа отличных знатоков и любителей оных. Уединенная семейная жизнь, обращение почти исключительно с особами зрелого возраста и весьма образованными, заботливость моих родителей отдалить от меня общество молодых людей, моих сверстников, с ранних лет заставили меня углубиться в самого себя, жить в идеальном мире, на него устремить мою деятельность и в нем искать блаженства. Время мое посвящено было живописи и музыке. С успехом начинал я упражняться на разных отраслях живописи. Писал масляными и сухими красками, в миниатюре, и выучился работать резцом. Но нечувствительно перестал заниматься сими предметами, и тогда совершенно овладела мною музыка. В обычае у отца моего было — часто переменять местопребывание. Неудобство, происходившее от частой перемены учителей, было для меня вознаграждаемо необходимостью заменять недостаток в средствах учения усугубленным прилежанием и собственными моими размышлениями. Доброму и вместе строгому Гаутелю[3] (1796—1797) обязан я началами особенного искусства играть на фортепиано: метода его отличалась выразительностью, ясностью и силою. Как скоро отец мой заметил меру моего таланта, то не стал ничего щадить для развития оного. Он повез меня в Зальцбург, к Михаилу Гайдену[4]. Важность характера сего художника препятствовала ему снизойти к си-

лам отрока, и я научился от него немногому, и то с большими усилиями. Для ободрения моих талантов отец мой издал в этом городе в 1798 году первое мое сочинение, о котором с благосклонностью возвещено было в музыкальной газете. В конце года отправился я в Мюнхен и там брал уроки пения у Валлези[5] и уроки композиции у органиста Калхера[6].

Ясному и постепенно успешному способу обучения последнего в особенности обязан я тою легкостию, с которою располагаю средствами искусств, особливо в музыкальных сочинениях на четыре голоса. Средства сии должны сделаться столь же природными для композитора, сколько орфография и просодия стихотворцу. Я занимался предметами моими с неутомимым прилежанием и почувствовал особенное пристрастие к драматическому роду. Под руководством моего учителя сочинил я оперу (Могущество любви и вина), музыку для большой обедни, несколько сонат для фортепиано, вариаций и трио для скрипки и пр. Все эти пьесы после преданы были огню[7].

Пылкость юношеского возраста, во время коего стремятся овладеть всем, что ново и что может наделать шуму, возродила во мне желание усовершенствовать литографию, только что изобретенную тогда Зенефельдером[8]. Я успел уверить себя в том, что сам изобрел оную с помощью машины более удобной. Желание упражняться сим художеством в большем его объеме побудило нас ехать в Фрейберг, где все материалы должны, казалось, быть в изобилии и под рукою. Но скоро наскучило мне сие упражнение, совершенно механическое и мелочное. С новым рвением обратился я к композиции.

Тогда сочинил я оперу «Лесная дева» на слова

шевалье Стейнсберга [9]. Она была представлена в ноябре 1800 и сделалась всюду известною более, нежели бы я того теперь желал. Опера моя была весьма не совершенное произведение, хотя и имела в себе некоторое достоинство изобретения; но, несмотря на ее недостатки, она была представлена 14 раз в Вене, *переведена на богемский язык* (!) и с успехом играна в С. Петербурге (заметим, что автору было тогда только 14 лет). Творение мое было одним из тысячи следствий неприязненного на юные таланты влияния рассказов о чудесах равномерного совершенства знаменитых художников, с коими юноши желают сравниться.

Около этого времени одна статья в музыкальной газете [10] дала мне мысль сочинить музыку совершенно другого рода и ввести снова в употребление инструменты, уже забытые. Возвратясь в Зальцбург, куда призывали меня семейные дела, я написал там по совершенно новым началам оперу «Петр Шмоль и его соседи», которая заслужила весьма лестную для меня похвалу прежнего моего учителя Гайдена. Впрочем, и это было справедливо, опера была играна без большого успеха в Аугсбурге. После я переделал ювертюру. В 1802 году я предпринял с отцом моим музыкальное путешествие в Лейпциг, Гамбург, в Голштинию и в это время с большим старанием собирал и изучал многие сочинения о теории моего искусства. К несчастию, встретился я с одним доктором медицины [11], который разрушил все мои прекрасные системы, повторяя ко всему свои вопросы *для чего*? *почему*? и пр. Он изнурил меня в океане сомнений, из которого высвободился я мало-помалу медленным созданием собственно мне принадлежащей теории, утвержденной на основании естествен-

ном и философическом. Я старался отыскать причины прекрасных правил искусства, оставленных нам в руководство древними художниками, и привести правила сии в систему. Мысль сия увлекала меня в музыкальный мир Вены, и там-то впервые вздохнул я свободно. Там познакомился я со многими отличными художниками и особенно с бессмертным Гайденом и аббатом Фоглером[12]. Последний с любовию, которая есть удел каждого ума истинно великого, с искренним желанием одолжать и с самым чистым бескорыстием открыл предо мною богатую сокровищницу науки.

Тот, который подобно мне и еще немногим имел случай наблюдать сего человека, одаренного глубокою чувствительностью и редким характером, постигнуть обширность и богатство его сведений, его способность немедленно познавать доброе и умение строго оценивать это доброе, не мог не уважить Фоглера, не мог не посвятить ему вечного воспоминания, не мог не прощать или даже не находить естественными недостатки и странности, наводившие некоторую тень на его превосходные качества. Слабости его были в нем следствием его воспитания, его состояния и тех козней, которых он был предметом.

По совету Фоглера я отказался, не без сожаления, от больших композиций и посвятил более двух лет прилежному изучению творений различных великих художников, которых конструкцию, идеи и механизм анализировали мы вместе. В это время я ничего не издавал, кроме некоторых мелочей, вариаций и извлечения из оперы «Санкори» Фоглера для фортепиано.

Полученное мною место директора музыки в Бреславле открыло предо мною обширное поприще для

умножения моего познания эффектов. Я составил там и новый оркестр и новый хор, переделал прежние мои сочинения и написал оперу «Рюбецаль» на слова профессора Раде [13]. Должность моя оставляла мне мало времени для других моих трудов, но тем лучше мог я изучить и согласить столь различные начала искусств, приобретенных мною с такою пламенною к ним любовию; и то, что творец дал мпе самобытного и особенпого, могло удобнее во мне развиться и образоваться.

В 1806 принц Евгений Виртембергский, любивший искусства, призвал меня к своему двору в Карлсру, в Силезии. Там сочинил я две симфонии и несколько концертов. Война скоро разрушила наш хорошенький театр и превосходную нашу домовую капеллу. Во время сих неблагоприятных обстоятельств я совершил музыкальное путешествие и жил несколько времени в доме герцога Людвига Виртембергского [14] в Стутгарте. Там, одобряемый дружбою ко мне доброго Данци [15], написал я оперу «Сильвана» на сюжет «Лесной девы» и еще несколько пьес, пока в 1810 году обстоятельства позволили мне продолжать мое путешествие. С сей эпохи, думаю, что был я уже в согласии с самим собою и окончил мою систему. Последовавшая за тем временем увеличивающаяся во мне опытность ограничилась уже тем, что доставила более верности основаниям моей системы, более ясности и единства ее развитию.

Я путешествовал по всей Германии. Благосклонность, с которою всюду вообще принимали мои произведения, и постоянное одобрение оных публикою, несмотря на оппозицию довольно сильную, побудили меня употребить и с моей стороны всю силу и всю чистоту твердой и непреложной воли, которые одни

могут посвятить человека служению искусствам. Во Франкфурте, Мюнхене, Берлине, Вене представляли мои оперы и разыгрывали концерты. В последний раз виделся я с аббатом Фоглером незадолго до его кончины, в то время, как он совершенно предал себя двум отличным ученикам искусства Мейербергу [16] и Генсбахеру [17]. В их обществе, более зрелый сам и более способный распознать истину, я еще один раз мог воспользоваться его опытностью. Тогда сочинил я оперу мою «Абу-Гасан». С тех пор я один только раз видел Фоглера. Он принимал живое участие в моих трудах. Мир его праху! С 1813 по 1816 управлял я оркестром в Праге и дал ему новое образование; но желая жить единственно для моего искусства и убежденный в том, что я призван ускорить успехи оного, я отказался от моей должности. Цель моя была достигнута. Все, что могло быть исполнено сим публичным заведением, казалось мне достаточно приготовленным; и довольно было верного надзирателя, дабы обеспечить существование оного.

Снова пустился я ездить по свету, спокойно ожидая, что судьба назначит мне новую сферу. Со всех сторон делали мне самые блистательные предложения. Я сдался только на приглашение основать немецкую оперу в Дрездене. И вот я делаю мое дело со всевозможною для меня ревностию и старанием, и когда поставят камень на смертных остатках моих, то могут справедливо вырезать на нем следующие слова: «Здесь лежит человек, который от сердца желал успехов искусству и добра человечеству».

На этом отрывке из жизни Вебера, им самим написанном, выставлено 26 число марта 1818. За год перед сим временем назначен он был капельмей-

стером короля Саксонского и сохранил это звание до конца жизни. Тогда же начал он трудиться над сочинением, которое особенно сделало его повсюду славным; но, как бы желая попробовать публику, он выдал пред тем «Пресиозу», которая представлена была в 1820 и успехи коей были счастливым предзнаменованием «Фрейшюцу», — 18 июня 1821 сие оригинальное произведение играно было в первый раз в Берлине в новой театральной зале. Известен великий успех, увенчавший сию музыку, написанную на слова Фридриха Кинда [18] и взятую из народных преданий. Она играна была не только во всех городах Германии, во Франции, в Англии, но и в новом Орлеане, в новом Йорке и в Рио Жанейро. В 1823 году Вебер присутствовал при первом представлении в Вене новой оперы «Эврианта», которая сочинена им была вместе с г-жою Хеци [19]. Сам он выбрал предмет оперы, и, показавшись народным во «Фрейшюце», он хотел в этот раз обратиться к другой публике.

«Успех, произведенный „Эвриантою“, был такой, какого я ожидал, — писал он к другу. — Мои неумеренные друзья в этот раз были согласны с моими порицателями в том, что те и другие требовали, чтобы „Эврианта“ привлекала народ, как то было с „Фрейшюцом“. Какое безумие! Как будто (впрочем без сравнения) „Ифигения“ или „Дон Карлос“ были написаны для толпы».

Желая обеспечить существование своего семейства, у которого страшился он быть рановременно похищенным, отправился он в Лондон по приглашению сочинить для сей столицы оперу. В исходе 1825 окончил он «Оберона» и в марте 1826 повез его в Лондон. Английская публика приняла его с энту-

зиазмом. Представление «Оберона» 15 апреля того же года было истинным торжеством германского Орфея[20] и повторялось 27 раз сряду. К несчастию, новый род жизни, которому он должен был подчиниться в Англии, частые репетиции, на коих он должен был присутствовать, большой концерт, на который полагал он надежду увеличить свое состояние, — надежду несовершившуюся, — истощили все его силы и совершенно разрушили его здоровье, уже ослабленное многочисленными трудами. Он, однако, обманывался в своем положении и думал возвратиться в Дрезден, как вдруг ночью 4 июня нервический удар прекратил прекрасную его жизнь. Прах его покоится в Церкви Св. Павла в Лондоне. Мы не произнесем никакого суждения о музыкальном гении Карла Марии Вебера. Европа его оценила, и всеобщее удивление назначило ему место между знаменитейшими художниками, а знавшие Вебера ставят его в числе добродетельнейших людей.

Литературные его сочинения, изданные после его смерти Феодором Геллем[21], заключаются в очерках, отрывках и журнальных статьях, почти всегда относящихся к музыке. В авторе везде виден ум, вкус и самобытность, везде тонкие и глубокие замечания и веселость живая и остроумная; везде светит любовь пламенная и чистейшая к искусству, для которого столь счастливо произвела его природа и которому посвятил он жизнь свою.

(*N. R. G.*)

V
КОНЬ

Жадно, весело он дышит
Свежим воздухом полей,
Сизый пар кипит и пышет
Из пылающих ноздрей;
Полон сил, удал на воле,
Громким голосом заржал,
Встрепенулся конь — и в поле
Бурноногий поскакал!
Скачет, блещущий глазами,
Дико голову склонил;
Вдоль по ветру он волнами
Черну гриву распустил.

Сам, как ветер: круть ли встанет
На пути? Отважный прянет —
И на ней уж! Ляжет ров
И поток клубится? — Мигом
Он широким перепрыгом
Через них — и был таков!

Веселися, конь ретивый!
Щеголяй избытком сил!
Не надолго волны гривы
Вдоль по ветру ты пустил!
Не надолго жизнь и воля
Разом бурному даны!
И холодный воздух поля,
И отважны крутизны,
И стремины роковые...

Скоро, скоро под замок!
Тешь копыта удалые,
Свой могучий бег и скок!

Снова в дело, конь ретивый!
В сбруе легкой и красивой,
И блистающий седлом,
И бренчащий поводами,
Стройно-верными шагами
Ты пойдешь под седоком.

Н. Языков

VI
ЭЛЕГИЯ

Ночь безлунная звездами
Убирала синий свод;
Стихли бор и зыби вод;
Под зелеными кустами
Сладко, дева-красота,
Я сжимал тебя руками;
Я горячими устами
Целовал тебя в уста;
Страстным жаром подымались
Перси полные твои,
Разлетаясь, развивались
Черных локонов струи;
Закрывала, открывала
Ты лазурь своих очей;
Трепетала и вздыхала
Грудь, прижатая к моей.

Под ночными небесами
Сладко, дева-красота,
Я горячими устами
Целовал тебя в уста...
Небесам благодаренье!
Здравствуй, дева-красота!
То играло сновиденье,
Бестелесная мечта!

Н. Языков

VII

Н. М. ЯЗЫКОВУ

Языков, буйства молодого
Певец роскошный и лихой!
По воле случая слепого
Я познакомился с тобой
В те осмотрительные лета,[1]
Когда смиренная диета
Нужна здоровью моему,
Когда и тошный опыт света
Меня наставил кой-чему,
Когда от бурных увлечений
Желанным отдыхом дыша,
Для благочинных размышлений
Созрела томная душа;
Но я люблю восторг удалый,
Разгульный жар твоих стихов.
Дай руку мне: ты славный малый,
Ты в цвете жизни, ты здоров;
И неумеренпую радость,
Счастливец, славить ты в правах;
Звучит лирическая младость
В твоих лирических грехах.
Не буду строгим моралистом
Или бездушным журналистом;
Приходит все своим чредом:
Послушный голосу природы,
Предупредить не должен годы
Ты педантическим пером;
Другого счастия поэтом
Ты позже будешь, милый мой,
И сам искупишь перед светом
Проказы Музы молодой.

Е. Баратынский

VIII
ОТРЫВКИ ИЗ ПИСЬМА ГЕЙНЕ О ПАРИЖСКОЙ КАРТИННОЙ ВЫСТАВКЕ 1831 ГОДА
(Окончание)

Чтобы не заговориться еще долее об этой картине, быстро оборачиваюсь к другой, на которой написано имя Лесора[1] и которая привлекает каждого роскошью своей простоты и скромности, и чудесною верностью изображенного. Она поставлена в росписи под названием «Старший брат». На бедном чердаке лежит на бедной постеле больной мальчик и томящимся взором глядит на деревянное распятие, к голой стене прикрепленное; у ног его сидит другой мальчик, с потупленными глазами, заботливо печальный. Его коротенький камзольчик, его исподнее платье, хотя чисты, но толстое сукно несколько раз меняло свои заплаты. Желтое байковое одеяло на постеле и не мебель, а недостаток мебели, показывают горькую нищету. Отделка совершенно прилична предмету. Она напоминает нищих на картинах Мирльо[2]. Редкие тени; твердые, вольные, строгие черты; краски не наскоро наброшены, но положены со смелым спокойствием; странная туманность, без мутности; одним словом, то, что Шекспир называет the mode *of nature*[1*][3]. Эта картина, окруженная другими блестящими в сияющих золотом рамках, тем разительнее производила действие, что поставлена в старой раме с потертым тусклым золотом, во всем согласующимся с тоном картины. Гармоническим своим явлением,

[1*] скромность естественности (*англ.*)

противоположностью со всем ее окружающим она на каждого зрителя делала впечатление сильное, меланхолическое, наполняя душу каким-то невыразимым сожалением; казалось, будто мы на минуту оставили ярко освещенную гостиную, веселое общество, а на темной улице столкнулись с собратом в изодранных лохмотьях, который жалуется на мороз и голод. Эта картина немногими чертами говорит много и больше еще возбуждает в душе.

ШНЕЦ[4]

Известное имя. Признаюсь, однако, что я не с таким удовольствием его называю, как предыдущее, меньше известное в мире искусства. Он пишет хорошо, но, по моему мнению, не хороший живописец. Большая его картина на нынешней выставке «Итальянцы пред образом Мадонны, вымаливающие чудотворение» имеет много превосходных частностей, особенно мальчик, одержимый судорогами, прекрасно нарисован. Большое мастерство заметно во всем техническом, но вся картина скорее сочинена, нежели живописана; фигуры как будто декламируют на сцене, нигде нет внутреннего взора, своебытности, единства. Шнец выражается многосложными штрихами и то, что выразил, всегда почти лишнее. Великий художник может, также как и посредственный, сделать что-нибудь дурное, но никогда не сделает лишнего, пустого. Высокое стремление, твердая воля почтенны и в посредственном таланте, но это почтение не заглаживает недостатков его произведений. В гении высокопарящем нам нравится именно уверенность, с какою он лепит: чем больше мы убеждены в могущественной силе его крыльев, тем более радуемся его возвышению, тем охотнее душа наша

возносится за ним к чистому солнцу возвышенного искусства. Совсем не такое действие производят театральные гении. Мы видим веревки, которые тянут все вверх, каждую минуту опасаемся падения и смотрим на их возвышенность с боязненным недовольством. Может быть, веревки, на которых вешает Шнец, слишком тонки, может быть, гений его слишком по них тяжел; как бы то ни было, он не возвысил души моей, а придавил несколько ниже.

Шнец в выборе предметов и в выработке их много имеет сходства с одним живописцем, которого часто вместе с ним называют и который в нынешней выставке не только его, но и всех почти соперников далеко перелетел и получил в награду орден Почетного легиона.

РОБЕРТ [5]

Исторический ли он живописец или peintre de genre [2*]? — спросит у меня немецкий цех мастеровых? По несчастию, не умею отвечать на этот вопрос и должен сам немного вразумиться в неразумное выражение, чтоб однажды навсегда отклонить все могущие случиться недоразумения. Различие между историею и жанром так бестолково, что кажется, будто изобретено художником, трудившимся при Вавилонском столпотворении. Между тем выдумано оно позднее. В первом периоде искусства была одна только история, то есть представления из священной истории. Потом назвали именем исторической живописи не только картины, взятые из Библии или легенд, но и те, которых предметы взяты из светской истории или языческого баснословия, и этим названием отличили их от картин, изображающих жизнь част-

[2*] жанрист (*фр.*).

ную. Последняя живопись родилась в Нидерландах, где протестантизм отбросил предметы католические и мифологические, где не было для последних ни образцов, ни понятия, где многие образованные живописцы искали себе работы и многие обожатели искусства охотно покупали картины. Различные представления вседневного были названы различными genre.

Многие живописцы передали нам юмористические частности домашней жизни, но техническое мастерство сделалось, к сожалению, главным их старанием. Все картины того времени имеют для нас интерес исторический. В картинах Миериса [6], Нетшера [7], Ван-Стена [8], Ван-Дау [9], Вандер-Верфта [10] и пр. чудесным образом открывается перед нами дух того времени; мы смотрим на шестнадцатый век [11], как будто в окошко, подслушиваем занятия и костюмы нидерландские. Живописцы могли быть довольны костюмами: одежда крестьянина довольно живописна, а одежда мужчин среднего состояния была красивое соединение нидерландской непринужденности с испанскою величавостью; одежда женщин — смешение всесветной прихотливой пестроты с отечественною флегмою; напр., Mynherr [3*] в бургундской бархатной мантии, в пестром рыцарском берете держал глиняную домашнюю трубку во рту; Mifrow [4*] в тонком венецианском двуличневом атласном платье с хвостом, в брисельских кружевах, в африканских страусовых перьях, в русском мехе, в восточных туфлях, держала в руках андалусскую мандолину, или муфту, или темношерстную собаку сардамской породы; при-

---

[3*] господин (*голл.*).
[4*] госпожа (*голл.*).

служивающий маленький араб; турецкий ковер; пестрые попугаи; иноземные цветы, огромная серебряная и золотая посуда с вытиснутыми арабесками, все это придавало сырной голландской жизни отблеск восточной сказки.

Когда искусство, уснув надолго, наконец пробудилось, то художники в великое пришли замешательство от выбора предметов. Симпатия к предметам древним исчезла, а костюмы современников слишком неблагоприятны для живописца. Наш фрак столько имеет в себе прозаического, что может войти в картину только как пародия.

Я не люблю фрака; живописцам также он не нравится, и они принуждены отыскивать себе других костюмов красивее. Это, вероятно, усилило пристрастие к предметам историческим, и в Германии есть теперь школа, которая только тем и занимается, чтобы людей нового фасона, с новыми чувствами, с новой физиономией одевать в старинные костюмы из кладовой исторических и феодальных времен. Другие живописцы нашли другое средство избегать фраков; они избирают предметами изображений своих такие народы, у которых наступающая образованность еще не отняла ни оригинальной физиономии, ни национальной одежды. Оттуда сцены из Тироля, которые так часто встречаются на картинах мюнхенских живописцев: горы тирольские к ним так близки и костюмы тирольцев столько живописнее наряда наших fashionable [5*]! Та же причина размножает у нас эти светлые, веселые изображения из народной жизни в Италии, которая также недалека от живописцев, особливо от тех, которые живут в Риме:

[5*] денди (*англ.*).

там и природа благороднее, и человек красивее, и костюм живописнее.

Роберт родом француз, был в молодости гравером, потом несколько лет прожил в Риме [12], и картины его, выставленные нынешний год в Париже, принадлежат именно тому роду живописи, о котором мы здесь упоминали. Сцены из италианской народной жизни! А! так он не италианский живописец? — скажут многие из ремесленных мастеров живописи: он то, что называют «peintre de genre» [6*]. Однако ж я этого допустить не могу, потому что теперь уже не существует картин исторических в прежнем, старом, смысле. Но называть этим именем всякую картину, которая выражает глубокую мысль, было бы слишком неопределенно и родило бы бесконечные споры о том, есть ли мысль в картине или нет, споры, которых все торжество ограничивалось бы победою слова. Может быть, это слово *историческая живопись* выражало бы смысл определенный, если бы его употребляли в самом естественном значении, то есть для изображения предметов, взятых из всемирной истории; тогда оно могло бы ясно означать тот род живописи, который теперь так роскошно возрастает и так я́рко цветет в образцовых произведениях Делароша.

Но прежде, чем я перейду к нему, еще несколько слов о картинах Роберта. Они все, как я уже сказал, представляют Италию и самым чудесным образом обнаруживают прелести этой страны. Так искусство, долгое время украшение Италии, стало теперь указателем ее красоты; говорящие краски открывают нам

[6*] жанрист (*фр.*).

ее пленительные тайны; прежнее очарование оживает снова, и страна, некогда покорявшая нас оружием, потом словами, теперь покоряет нас силою своей красоты. Да, Италия вечно будет властвовать над нами; и живописец, каков Роберт, может снова привязать нас к Риму.

«Флейщики» Роберта, если я не ошибаюсь, уже известны из литографий. Теперь они здесь на выставке. Несколько албанских пастухов пришли на святки в Рим и перед образом пречистой девы играют на флейтах. В этой картине рисунок лучше красок: есть что-то резкое, мрачное, болонское, как будто раскрашенная гравюра. Однако ж эта картина производит свое действие; кажется, слышишь простосердечно-благочестивую музыку албанских пастухов; кажется, она сейчас раздалась и принеслась сюда с албанских гор.

Другая картина Роберта [13] сложнее; но, может быть, глубокомысленнее. Братья милосердия несут на кладбище мертвое тело, непокрытое по обычаям итальянцев. Монахи, все в черном, проходят, как привидения, глаза их страшно выглядывают из узких отверстий, прорезанных в их черных покрывалах. На скамье, впереди, против зрителя, сидят отец, мать и молодой брат умершего. Бедно одетый, опустив голову, сложивши руки, сидит старик между женою и сыном; он молчит, ибо нет на свете страданий выше страданий отца, когда он переживает. Желтобледная мать, кажется, а отчаянии плачет. У мальчика в руках хлеб, который он кусает и не может есть от непонятного ему горя вокруг него; и тем печальнее его личико. Умерший, кажется, старший; он лежит в гробе — молодой, светлый и почти улыбаясь; так в этой картине жизнь представляется

мрачною, отвратительною, горькою, а смерть бесконечно прекрасною, милою и почти веселою.

Живописец, который так трогательно украсил смерть, еще прекраснее умел изобразить прелесть жизни: его образцовую картину «Жнецы» можно назвать апофеозою жизни. При взгляде на нее забываешь, что есть царство теней; не веришь, что где-нибудь может быть светлее и блаженнее, чем на земле. «Земля есть небо, и люди на ней святы и божественны» [14] (т. е. могут быть таковыми). Вот великая проповедь, которая веселыми красками произносится на этой картине. Парижская публика особенно хорошо поняла и приняла это живописное благовествование.

Глухая сторона в Романии, освещенная итальянским ясным, вечерним солнцем. Посередине мужицкая повозка, в которую тяжелыми цепями запряжены два огромные буйвола; на повозке сидит семья поселян и, кажется, сейчас остановилась. Направо видны жнецы подле своих снопов; они отдыхают от работы, между тем как перед ними гудит музыкант на волынке, а его товарищ весело пляшет под эту музыку. Кажется, слышишь и мелодию и слова:

> Damigella, tutta bella,
> Versa, versa il bel vino!..[7*] [15]

По левую сторону также идут женщины с своими снопами, молодые, прекрасные: цветы, несущие колосья. С той же стороны выходят два молодые жнеца, из которых один смотрит в землю с видом сладострастно утомленным и нежным, между тем как дру-

---

[7*] Прекраснейшая из девушек, лей, лей прекрасное вино! *(ит.)*

гой, поднявши серп, идет весело и живо, как будто прыгая. Между двумя буйволами стоит широкий, смугло-грудый работник и стоя спит. На верху повозки с одной стороны лежит мягко уложенный дедушка, добродушный и дряхлый старик, который, может быть, умственными возжами правит повозку семьи. С другой стороны, его сын, смело покойный, мужественный мужчина, сидит, поджавши ногу, на спине одного из буйволов и держит в руках чувствительный знак власти: кнут! Выше на повозке, почти возвышенно, стоит молодая и красивая жена этого мужчины с ребенком на руках, как розан с распуколькой, а подле нее стоит существо почти так же цветущее, вероятно, брат, который готовится распустить над ними палатку. Но я не стану больше описывать этой картины потому, что, говорят, она уже вырезывается из меди [16] и, может быть, скоро поедет по Европе в виде гравюры. Но гравюра, так же как и всякое описание, не в силах передать ее главного волшебства, которое заключается в колорите. Фигуры вообще темнее грунта, но отражением неба освещаются так небесно-чудно, что блестят самыми яркими красками, несмотря на то, что все очерки обозначены резко и строго. Только в этих портретах живописец не следовал примеру бестолковой совестливости тех из своих товарищей, которые, стараясь подделываться под природу, переписывают ее с дипломатическою аккуратностию. Образы, которые природа дает Роберту, проходят сперва сквозь глубину души его и, как грешные души в чистилище, не теряя своей особенности, освобождаются только от земных недостатков, чтобы, очистившись, вознестись блаженными на небеса, — так эти образы очищаются и просветляются в пламенной душе художника, не теряя

своей физиономии, и просветленные, возносятся в горн искусства, где также царство вечной любви и жизни и где вечное поклонение красоте, где никогда не умирают Ромео и Юлия, где Елена остается вечно молодою и где старая Гекуба, — по крайней мере, не становится еще старее.

По соединению красок в картине Роберта видно, что он изучал Рафаэля. Последнего напоминает мне также и архитектоническое изящество группировки. Отдельные фигуры, например мать с младенцем, также похожи на фигуры рафаэлевых картин, писанных прежде полной весны его таланта; когда он еще передавал строгие типы Перуджина[17] хотя чрезвычайно верно, но с привлекательной мягкостью.

Мне не придет в голову проводить параллель между Робертом и величайшим живописцем католического века; но не могу не сказать, что есть между ними какое-то сродство, — впрочем, сродство только материальное, сродство форм, а не духовное, не химическое сродство. Рафаэль весь проникнут католическим христианством; религиею, в которой выражается борьба духа с материею, или неба с землею; которая стремится к победе над материею, всякое сопротивление называет грехом, и землю хочет одухотворить небом, или лучше сказать, хочет принести землю в жертву небесам. Но Роберт принадлежит народу, в котором католицизм угас. Выражение Хартии[18] (говоря мимоходом), признающее *католицизм религиею большинства*, ничто иное как французская учтивость к Notre Dame de Paris[8*], которая в свою очередь с такою же снисходительностью носит на главе своей три цвета Франции, — снисходительность,

---

[8*] Собору Парижской Богоматери (*фр.*).

на которую безумная толпа отвечала несколько грубо [19], еще недавно разрушая церкви и бросая в Сену святые иконы. На католических изображениях только головы, как престол духа, окружены сиянием; на робертовой картине мы видим освещение самой материи; видим, как весь человек и с челом и с головою окружен светом, будто сиянием.

Но католицизм в новой Франции не только угас, но даже не оставил и возвратного влияния на искусство, как у нас в *протестантской* Германии, где поэзия, живущая во всем прошедшем, дала ему новую значительность. Может быть, тайная злопамятность мешает французам ценить католические предания, между тем как у них возникает сильное участие ко всем другим явлениям истории. Это замечание я могу доказать фактом, который обратно можно пояснить этим замечанием. На выставке нынешнего года число картин, изображающих христианские предметы из Ветхого и Нового Завета, из преданий и легенд, так невелико, что многие подразделения различного рода светских картин и многочисленнее и лучше. По точному счету я вижу между тремя тысячами нумеров каталога не больше двадцати девяти священных картин, между тем как одних картин, представляющих сцены из романов Вальтера Скотта, считается слишком тридцать.

Картина, выставленная Деларошем [20], вызывает на историческое сравнение. Вечно будут проводить параллельные линии между Лудвигом XVI и Карлом I-м, между Кромвелем и Наполеоном. Скажу, однако же, смело, что последних несправедливо сравнивают между собою. Наполеон не был осквернен кровию священной. (Казнь герцога Энгиенского [21] просто убийство.) Кромвель же никогда не унизился

до того, чтобы велеть беззаконно помазать себя на власть. Жизнь одного замарана пятном крови, жизнь другого пятном священного масла. Оба глубоко чувствовали тайную вину свою. Императорская багряница не принесла счастия тому Бонапарту, который мог быть Вашингтоном Европы и сделался только ее Наполеоном; одна мысль, как призрак умерщвленной матери, преследовала его всюду; везде он слышал ее голос; даже ночью, испуганный, он вырывался из брачных объятий приобретенной своей законности, скорыми шагами обегал звонкие комнаты огромных Тюльери, шумел, сердился, неистовал, — и когда поутру, бледный, утомленный, приходил в государственный совет, то жаловался на Идеологию, очень опасную, на гибельную Идеологию, — а Корвизар [22] важно покачивал головою.

Кромвель также не знал спокойного сна: также ночью бегал по дворцу Вэйтгаля, однако же его преследовал не призрак убитого Короля, как думали набожные царедворцы, а просто страх живых мстителей; он боялся не идей, а кинжалов, и потому под платьем носил всегда панцырь и каждый день становился подозрительнее; а наконец, когда явилась книжка под заглавием «Умерщвление не убийство» [23], то улыбка никогда уже не появлялась на лице Оливьера Кромвеля.

Чем менее сходства между императором Франции с протектором, тем богаче параллель, которую представляют нам ошибки Стюартов и Бурбонов и их государственные последствия. Недостает только, чтобы французский претендент, как некогда английский, возвратился в свою отчизну.

Зрителей Кромвеля невольно занимает разгадка мыслей его при гробе Карла. История двояким обра-

зом рассказывает это происшествие [24]. Иные говорят, что ночью, при свете факелов, Кромвель велел открыть гроб и долго стоял перед ним, смущенный, окаменелый; другие уверяют, что он открыл гроб днем, спокойно смотрел на тело и холодно сказал: «Он был крепкого сложения, мог жить еще долго». По моему мнению, Деларош, писавши свою картину, имел в виду последнюю демократическую легенду. Лицо Кромвеля не изображает ни удивления, ни смущения, ни же другого душевного волнения; напротив, зритель поражен его необыкновенным, ужасающим, невыносимым спокойствием: вот стоит перед ним этот человек, твердый, совершенно земной, *грубый как событие*, сильный без преувеличенья, чудесно обыкновенный, дьявольски естественный. Вне суда и закона и в то же время подчиняющий себя порядку законности, — он смотрит на дело, совершенное им, почти так же холодно, как дровосек на срубленное дерево. Равнодушно ниспроверг он на землю этот величественный дуб, некогда покрывавший своими ветвями Англию и Шотландию; государства, под тенью которых цвели столько красивых человеческих поколений, в которых феи поэзии сплетали лучшие свои хороводы; спокойно ниспроверг он его ненавистным топором, и высокий дуб лежит на земле со всею прелестью лиственной сени своей и с нетронутой святынею своего венца.

Do you not think, Sir, that the guillotine is a great improvement [9*]? Этими словами британец, стоявший за мною, прервал ощущения, болезненно наполнявшие мою душу пока я рассматривал рану Карла

[9*] «Не находите ли вы, сэр, что гильотина — великое усовершенствование?» (*англ.*)

на картине Делароша. Кровь изображена слишком ярко, да и крышка гробовая не хорошо обрисована и похожа больше на скрипичный футляр. Все остальное в картине написано мастерски: с легкостью и обдуманностью Вандика, с резкими тенями Рембрандта — и вспоминает именно республиканских воинов на больших исторических картинах последнего: мне напомнило «Ночную стражу», которую я видел в Трипенгуйсе [25], в Амстердаме.

Кисть Делароша, так как большой части современных артистов, подходит к фламандской школе; только врожденная французская грация нежнее обходится с предметами, и французская щеголеватость играет ими красивее и поверхностнее. Делароша можно назвать щеголеватым, грациозным нидерландцем.

Может статься, в другом месте повторяются толки, слышанные мною о картине Кромвеля.

Нигде нельзя послушать больше народных чувств и кипящих настоящим мнений. Картина висела при входе длинной галереи, а подле нее примирительно утешительная картина Роберта. Когда грубо воинственное пуританское лицо, ужасный жнец с королевскою главою, выставляясь из темного грунта, потрясал зрителя и возбуждал в нем все политические страсти, то душа его успокаивалась при взгляде на скромных жнецов Роберта, цветущих под светлым сиянием неба, с невинной, золотой своей жатвой возвращающихся на семейный праздник любви и мира. Когда, глядя на первую картину, мы чувствуем, что земля дрожит под нами, и мы слышим яростный гром бурь, видим зев бездны, жадно глотающей потоки крови, и ужас поневоле смущает нас, — тогда другая картина является с вечною, твердою, спокойною землею, любовно приносящею золотые плоды

свои, несмотря на универсальную римскую трагедию со всеми ее гладиаторами, ее кровью, венцами, зверями и рукоплесканьями.

На одной картине видим мы существо, которое глупо валяется в грязи и крови, целые века молчит бессмысленно и вяло, вдруг без постороннего содействия вспрыгивает с бешенством, неистово бушует, без разбора бьет встречного и поперечного; существо, известное под именем: Всемирная История. Другая картина представляет нам ту великую повесть, которая живет в простой хижине, может уместиться и на простой телеге; повесть без конца и начала, вечно повторяющуюся, обыкновенную, как море, как небо, как времена года; повесть священную, воспеваемую поэтами, скрытую в архивах каждого сердца: *Историю человека.*

Прежнее мое пророчество[26] о кончине периода искусств, родившегося вместе с Гете и с ним долженствующего сойти в один гроб, кажется, скоро исполнится. Искусство теперь цвести не может: его корни до сих пор еще зарыты в отжилом, священном прошедшем римского владычества; потому, подобно всем вялым остаткам сего прошедшего, стоит оно в непримиримом противоречии с настоящим; и это противоречие, а не направление века, вредит искусству. Направление века должно бы ему благоприятствовать. В Афинах, во Флоренции искусство развернуло лучшие цветы свои во время междуусобных войн и беспокойств. Правда, что греческие и флорентинские художники не знали, что такое изолированная, себялюбивая художническая жизнь, что такое праздно поэтическая душа, герметически закупорившаяся от всех великих радостей и скорбей времени; напротив, их произведения были зеркалом их века, сами они

были людьми вполне, и столько же сильны, самобытны в действиях, сколько могущественны в созданиях; Фидий, Микеланджело были слиты в одну цельную группу с своими изваяниями; и как их статуи приличны были в греческих и римских храмах, так сами художники верно гармонировали с окружающими обстоятельствами. Они не отделяли своего искусства от ежедневного хода вещей; не могли работать с тем жадным, кабинетным вдохновением, которое вливается в каждый заданный предмет, вклепывается в каждое заданное чувство. Эсхил живописал своих персов с тем одушевлением, с каким сражался с ними на полях Марафона; Данте писал свою Комедию не на заказ среди веселого приволья, но в изгнании, как гвельф, и жаловался не на свое угнетение.

Между тем новая жизнь породит новое искусство, которое будет идти с нею в стройном, вдохновительном созвучии, которое символику свою не станет занимать у поблекшего минувшего, которое изобретет даже новую технику, от прежней отличную, своеобразную.

М. В.[27]

IX
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСПАНИИ

Что такое Испания? Прошло уже много лет с тех пор, как этот вопрос повторяется, а задача все еще не решена. Постараемся представить здесь взгляд на современное состояние Испании и влияние физических, нравственных и политических причин на ее внутреннее устройство. Может быть, нам удастся с помощью новейших сочинений об этом предмете дать истинное понятие об улучшениях и усовершенствованиях, для Испании возможных. Предприятие наше трудно. Размер этой картины обширен, и подробности многосложны; но мы надеемся, что методическое распределение и отчетливая краткость дадут нам средства расположить сумму собранных замечаний таким образом что они возбудят живое участие. Во всяком случае, можно будет яснее видеть государство, которого слава помрачается и величие падает, но которое хранит еще внутри себя все стихии гражданственного возрождения.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИСПАНИИ

Полуостров, наружность которого древние сравнивали с растянутой воловьей шкурой, образует юго-западную оконечность Европы. Атлантический океан и Средиземное море окружают его со всех сторон, кроме северо-восточной, где цепь Пиренейских гор обозначает французскую границу. От подножья Пиренеев, проходящих почти в прямой линии с востока на запад, тянутся многочисленные ряды второстепенных гор, которые стремятся на запад и полдень и,

как богатая сеть, покрывают весь полуостров. Главнейшие из гор: Астурийская и Галисийская (витки Пиренейских); Гвадаррамская, названные географом Антильоном[1] *Иверийскою цепью*; Сиерра Морена, страшная своими теснинами; горы Гранадская и Рондская, которых вершины владычествуют над купами высот, примыкающих к Средиземному морю, и массы которых, по выражению Марианы[2], тяготеют над морем, готовые обрушиться и наполнить пространство между Европой и Африкою.

Эти излучистые хребты разделяют Испанию на две части, хотя неравные, но совершенно отличные: первая состоит из середины, вторая из сторон. Внутренняя часть Испании сама по себе может быть названа огромною горою, потому что ее равнины, пересекаемые высокими холмами, образуют площадь, которая находится от осьми сот до тысячи футов над поверхностью моря; эта страна, таким образом возвышенная на огромном основании, превосходит высотою все вершины, которыми увенчаны береговые стороны. «Вступая на полуостров, — говорит автор „Года в Испании“ [3] [1*], — и проходя восточным берегом, примыкающим к Средиземному морю, я с удивлением увидел, что горизонт был закрыт с западной стороны завесою гор; но удивление мое удвоилось, когда с высоты тех же самых гор, на которые я всходил, удаляясь от Валенсийского моря, увидел я не долину, а равнину без зелени, которая шла на пространство, зрению необъятное, вровень с тою возвышенною точкою, где я стоял. В самом деле, мне должно было проехать более ста миль по этой широкой равнине, прежде нежели я достигнул Сиерры Морены; оттуда,

---

[1*] *A year in Spain*; by an American. 2 vol. in 8.

через проход, называемый *Деспёнья Перрос* (Despena Perros), я вдруг спустился в Андалусию».

Казалось бы, что в земле, испещренной горами, должны быть неистощимые запасы воды для рек, но обнаженность Испании, почти совершенный недостаток деревьев и тени, где влага могла бы собираться и удерживаться, происходящая от того сухость атмосферы, продолжающаяся большую часть года, — все эти причины уменьшают число и величину рек, которые совсем несоизмерны с высотою и множеством гор. Главнейшие из рек: Эбро, Дуэро, Тахо, Гвадиана и Гвадалквивир. Эбро выходит из гор Наваррских, протекает к востоку между главным хребтом и одною из второстепенных ветвей Пиренеев и впадает в Средиземное море ниже Тортосы. Дуэро начинается на севере Гвадаррамских гор, постепенно увеличивается в течении, протекает через Португалию и изливается в океан под городом Опорто. Тахо, по нраву названный Царем рек, также сходит с гор Гвадаррамских, но с противоположной стороны: он орошает сады и рощи Аранхуэсские, обтекает полукругом около Толедо, и принимая, как дань, волны многих потоков, гордо и величественно приближается к Лиссабону; там он отражает в себе беззаботных и волнуемых страстями жителей португальской столицы. Гвадиана выходит из болот Рундосских; она скоро равняется с берегами, орошает пленительные долины, где пасутся многочисленные стада, и впадает в залив Гуэльвский. Гвадалквивир, рожденный между Сиерра-Мореной и Сиерра-Невадою, питается потоками этих двух соперничествующих хребтов; величественно протекая к океану, он орошает стены Кордовы и Севильи и оплодотворяет прекрасные поля Андалусии. Вот главные реки и, так сказать, главные артерии

Испанского Королевства. Хотя масса воды, из них изливающаяся, не превышает массу французских рек и хотя время, на которое они судоходны, гораздо короче, от возвышенности мест и быстроты их течения, — но несмотря на то, стремяся почти отвесно между орошенными ими долинами, они заключают в себе богатые средства к устроению каналов и усовершенствованию системы земледелия. Испанские реки, как реки египетские, сделались бы неиссякаемым источником плодородия, если бы жители не лишены были — я не говорю уже ободрения, — но свободы пользоваться выгодами, данными им природой [2*].

Различное влияние климата соответствует наружному виду и расположению земли. Температура атмосферы всегда постояннее у морских берегов, чем в землях, отдаленных от моря; и в Испании также она однообразнее в областях приморских. Западные и северные берега открыты только западным ветрам: эти ветры, напитанные влагою Атлантического океана, изливаются дождями зимой и весною. Со стороны Средиземного моря атмосфера спокойнее; там ветры, довольно часто дующие с Востока, никогда не бывают так сильны, как на оконечности Испании, особенно в Кадисе. Таким образом, на берегах Каталунии, Валенсии, Мурсии и Гренады температура редко опускается ниже 10 градусов по Реомюру. Там, под защитою центральных гор и под лучами безоблачного солнца, — зима почти неизвестна. На плоскости обеих Кастилий, где малейший холм превышает морскую поверхность более, нежели на восемьсот футов, жары усиливаются не так быстро; только в начале июня

[2*]. *A year in Spain*; Antillon, Mariana, Laborde.

успокоившаяся атмосфера устанавливается между 21 и 26 градусами и восходит иногда до тридцатого градуса по Реомюру. В августе свежесть ночей исчезает, так сказать, с зари и опять становится чувствительна после захождения солнечного, что очень ослабляет действие дневного зноя.

Выключая северные области, климат в Испании замечательно сух. Отсутствие дождей и всякой влажности, чистое и прозрачное небо — вот выгоды, которых не должно терять из виду; но эта сухость часто превращается в убийственную засуху: реки иссякают, растения вянут, люди и животные умирают от жажды, которой нечем утолить. Это бедствие часто повторяется в испанской истории: его действия равно убийственны и для растений, и для животных, и для людей. На возвышенности, на которой стоит столица Испании, жары так жестоки, что, по народной пословице, в Мадриде *девять месяцев бывает зима, а три месяца ад* (nueve meses d'invierno y tres d'infierno). Глубокая премудрость внутреннего устройства дополнила щедрость природы, и теперь можно сказать без преувеличения, что для бóльшей части жителей столицы ад продолжается целый год.

Вершины многих испанских гор покрыты вечными снегами, между тем как высокое положение средних областей открывает их холодным зимним ветрам и палящим лучам летнего солнца. Эти невыгоды еще чувствительнее от недостатка лесов, который в Испании заметнее, нежели во всех других европейских государствах. Нет ни одного значительного леса от Байонны до самого Кадиса, если не считать Бискайских валежников, рощ и аллей Аранхуэсских долин, или лучше сказать, теснин Андалусии, засаженных довольно тенистыми деревья-

ми, — то все королевство, по этому направлению, представляет вид однообразный и плоский, который наводит на душу тоску и утомителен для глаз. Голые горы не принимают от воздуха довольно влажности, чтобы питать растения на долинах и равнинах. Реки, как мы уже сказали, почти все бесполезны для многих точек того долгого пути, по которому они быстро проносятся; а земли без тени, без убежища, без защиты от непостоянств времен года, высоко лежащие над морскою поверхностью, — подвержены быстрым переходам от несносных жаров к пронзительному холоду, противным плодородию почвы и здоровью жителей. Из этого не следует, однако же, чтобы такая нагота земли происходила от естественной бесплодности или чтобы климат был для деревьев убийствен. Валенсия доказывает своими многочисленными лесами и обильными жатвами, что Испания могла бы равняться плодородием со всеми прочими европейскими государствами и даже превзойти; но в народе почти повсеместно укоренился неизъяснимый предрассудок, по которому он вырубает или уничтожает все деревья, прежде нежели они разрослись до известной степени. Этот странный обычай так распространился во внутренних областях, что необходимы беспрестанные старания и самый строгий надзор, чтобы сохранить даже аллеи и рощи Аранхуэса от совершенного уничтожения [3*].

Произведения Испании богаты и разнообразны. Золотые и серебряные рудники, из которых древние доставали эти драгоценные металлы, либо действи-

---

[3*] *Laborde*: Une annee en Espagne; *Faure* [4]: L' Espagne sons ses pouvoirs religieux et monarchiques, 1 vol. in 8. 1831.

тельно истощились, либо оставлены все, кроме серебряного рудника Гвадалканальского; но железо лучшей доброты, свинец, олово, медь, ртуть и все полезные минералы добываются в изобилии в различных частях королевства. В Астуриях, королевстве Арагонском и Ла-Манче открыты копи каменных угольев и солончаки; но разработка была бы гораздо значительнее, если бы государственное устройство было лучше и законы сообразнее с здравым рассудком[4*]. Во многих местах королевства добываются драгоценные каменья: гранит, яшма, алебастр; превосходные и самые разнообразные мраморы лежат в горах; многие области производят превосходную пшеницу, и все, кому случалось есть испанский хлеб, знают его достоинство. В некоторых областях количество произведений не удовлетворяют нуждам; но в таком случае недостаток дополняется ввозом или изобилием соседних областей. Виноделием занимаются во всей Испании, и богатые береговые виноградники отправляют свои произведения во все страны света. «Самые лучшие вина (говорит автор „Года в Испании“) делаются в высокой и сухой стороне Испании, и, по трудности сообщений, эти вина, которых цена не вознаградила бы перевоза, все расходятся на употребление жителей».

[4*] Недавно открыт слой каменного угля недалеко от Севильи, почти на ружейный выстрел от Гвадалкивира, но его не разрабатывали по множеству серы, в нем заключенной. Этот минерал в большем количестве добывается в Каталунии, где открыты значительные копи. Самая богатая находится в Монтаноле, в герцогстве Бикском; но ни одна не была разработана с успехом. Множество таких же копий есть в Аррагоне, и особенно в Пиренейских долинах.

В справедливости этого мнения, однако же, можно сомневаться. За исключением одного только вина, производимого в Вальдепенасе, которого превосходство всеми признано, в Испании нет никаких вин, ценимых выше, нежели Херес, Рота, Малага, Аликантское и Мальвазия.

Испанская почва производит также овес, ячмень, сахар, пеньку, лен, эспарто (род дрока, особенно свойственный Испании), пробковое дерево, кожевное дерево и соду, не говоря уже о шерсти, которой превосходство бесспорно. Леса, покрывающие вершины высоких гор и спасенные от уничтожения своей высотою, снабжают государство строевым лесом для кораблей и употребляются также в случае недостатка каменного угля, который во всей Испании служит вместо дров. Цветы и целебные растения родятся на скатах гор невозделанные, и вечерний ветер бывает напитан их благовониями.

Испания не уступает ни одному государству в изобилии, разнообразии и сочности плодов. Кроме плодов обыкновенных и в умеренных климатах, она производит много таких, которые принадлежат особенно странам тропическим. Там растут винные ягоды, гранаты, лимоны, померанцы, финики, платаны и бананы. Один французский писатель [5*], пораженный этим разнообразием, старался показать аналогию, существующую в отношении к климату и произведениям, между различными частями Испании и противоположными им точками земного шара. Он сравнивал Бискаию, Астурию и Галисию с соседственными им европейскими странами; Португалию с соответственною частью Америки; Андалусию с берегами Африки,

[5*] Bory de Saint-Vincent [5].

лежащими против нее; Валенсию со странами восточными, так же роскошными, как и она.

Богатства Испании не ограничиваются произведениями ее почвы. Моря Атлантическое и Средиземное, омывающие берега почти равной длины, снабжают ее рыбою и для каждой из ее областей открывают самые отдаленные страны света. Словом, природа истощила всю свою щедрость на эту избранную землю, и если бы испорченность человека не остановила действия всех ее благодеяний, то Испания, которая так бедна и унижена, была бы теперь самой плодородною, богатой и счастливой страною Европы.

Между богатствами Испании ее лошади заслуживают особенного внимания. Когда арабы владели этой землею, они развели самые лучшие породы, и хотя эти породы исказились, как и все прочее, но они все еще сохранили отличительные признаки своего происхождения. «Испанские лошади, особенно лошади Андалусские, — говорит американский автор, на книгу которого мы ссылались, — очевидно, арабского происхождения и несравненно выше английской породы по красоте, стройности и понятливости». Впрочем, что касается до лошадей, то на свидетельство гражданина Нового Света нельзя положиться безусловно.

«В Андалусии (говорит доктор Фор) породистые лошади, как вельможи испанские, проводят жизнь в бездействии, доводящем до расслабления, и когда всадники не красуются на них во время любовных похождений, все их достоинство состоит в том, что они блестят обманчивою красотою на площадях и публичных гуляниях; потому что им тяжелая работа не по силам; и горе тому, кто на них попадется в опасности!»

Прочие домашние животные состоят из мулов, ослов, рогатого скота; из множества свиней и овец, которые пасутся там тысячами. Есть также и дикие звери: медведи, лисицы и кабаны, теперь единственные жители некоторых отдаленных и диких округов, оставленных в их владение испанской беспечностью.

Из болезней, известных в Испании, иные свойственны ей особенно, другие всеобщие. К первому разряду принадлежит желтая лихорадка, которая производит ужасные опустошения на берегах, и глазные болезни, часто оканчивающиеся слепотою и очень обыкновенные в средней Испании. Так как о первой из этих болезней подробно говорено в других книгах и она происходит от физических причин, у нас недействительных, то мы не будем входить в дальнейшие о ней разыскания. Но слепота — самый жестокий бич внутренней Испании, особенно столицы; она избирает своих жертв не из одних низших сословий; средние сословия и вельможи равно ей подвержены. «Число слепых в Мадриде так велико, — говорит автор „Года в Испании", — что, по моему мнению, это должно приписать сильному действию солнца и нагот земли». Если верить Пейрону [6], то эта болезнь происходит от злоупотребления кровопусканий, которые и теперь еще испанцы употребляют так же часто, как во времена одного из их предков доктора Санградо [7]. По крайней мере, это можно заключить из числа людей занимающихся единственно кровопусканием; при самой маленькой улице самого маленького испанского городка есть свой цирюльник, и каждый цирюльник лекарь. Доктор Фор решает задачу основательнее:

«Мадрид стоит на плоскости, возвышенной на триста сажень над поверхностью моря; и его атмосфера самая раздражительная во всей Испании. Ветер, дую-

щий там почти целый год с Гвадаррамских гор и своими вредными действиями подавший повод к такому множеству пословиц, — так пронзителен, что расстроил бы самую крепкую грудь, если бы от него не защищались полою плаща, накинутого на плечо; соединяясь с другими качествами климата, он очень часто производит у иностранцев самое жестокое колотье. Этот ветер дует там часто и от февраля месяца до мая отменно сильно: он беспрестанно поднимает целые облака селитристой пыли, раздражает глаза народа, по большей части зараженного золотушными и венерическими болезнями, и производит глазные болезни, которые впоследствии от отражения лучей солнечных и от холодных ночей кончаются слепотою. Эта болезнь замечена в одном Мадриде; если судить по виденному от Мадрида до Кадиса, то ею страдает вся Испания».

Словом, причина слепоты в Испании та же, какая и в Европе: тонкая селитристая пыль [6*], которая садится на глаза и производит в них воспаление. Она еще усиливается беспрестанными переходами от палящего зноя дневного к пронзительному холоду ночей. Мадридские колики, происходящие также и от климата, всегда опасны и часто убийственны иностранцам. Оспа всегда опаснее летом, чем зимою, особенно в средней Испании; но коровья оспа, прививание которой успешно распространяется во всем королевстве, уменьшает ее силу. Скарлатина бывает редко и почти никогда не опасна; но есть там дру-

[6*] «Кроме зараз, завозимых с Востока, из Африки и Америки и произведенных опустошительными войнами, бывшими внутри государства в самой Испании часто рождались заразы от засухи, голода и непостоянства погоды».

гая болезнь, которую народ называет *гарротильо*, а медики воспалительною жабой (angine gangrenense); она делается иногда прилипчива и превращается в заразу [7*].

Эта болезнь очень обыкновенна в Испании; судя по истории, говорящей о заразах, в различные времена ее опустошавших, видно, что она там известна уже несколько веков; что чистота и сухость воздуха не только ее не останавливали, но, может быть, даже производили.

Другая воспалительная болезнь, довольно обыкновенная в Мадриде и многих областях, как, например в Андалусии и Каталунии, называется *больничное гниение*. Если она и не исключительно свойственна испанскому народу, то почти неизбежна в больницах под конец лета. В это время и самые незначительные раны превращаются в опасные нарывы. Острое и хроническое воспаление в легких также бывает довольно часто, особенно в столице, где решительный перелом почти всегда проходит скоро. Зародыши чахотки также постоянно существуют во многих частях Испании; замечательно, когда возьмем в соображение сухость воздуха, что перемежающиеся лихорадки там являются около начала июня месяца, во время сильной жары. Золотуха в Испании, может быть, еще известнее, чем в России. Нищие, у которых одна нога, а иногда и обе покрыты проказою, встречаются очень часто. Падучая болезнь бывает

[7*] Можно сказать, говорит Минано [8], что трети испанской пыли на дорогах восточных и полуденных областей королевства довольно, чтобы снабдить весь мир селитрою, если бы провидению угодно, было уничтожить ее на всей поверхности земного шара.

нередко, также и корчи истерические, которые особенно часто встречаются в полуденных областях, где жара доходит до крайности.

«Умственные болезни (сумасшествие) должны там быть обыкновеннее, нежели в других землях, от солнечного действия на голову и от того, что государственное устройство лишает возможности найти приятное занятие и, на всяком шагу противореча здравому рассудку, постоянно держит народ в раздраженном состоянии».

По несчастию, это заключение слишком истинно; но замечено также, что религиозный фанатизм дает сумасшествию испанцев характер мрачный и неистовый. В Испании считается три главных заведения для сумасшедших: одно в Толедо, другое в Валенсии, третье в Сарагоссе; четвертое было в Кордове, но с некоторого времени уничтожено.

Ни в одной из европейских земель народонаселение не было подвержено таким переменам, как в Испании, и нигде оно не уменьшалось в такой ужасной пропорции. Это уменьшение произошло от соединения бесчисленных причин, из которых довольно было бы и немногих. Нашествие мавров справедливо считают первым его началом. Заразительные горячка и чума, в различные времена опустошавшие полуденные области королевства, кровопролитные войны христиан и мавров, продолжавшиеся от девятого века до взятия Гранады в конце пятнадцатого; изгнание трех миллионов жидов и мавров и упадок земледелия; худое направление торговых предприятий со времени открытия Америки; убийственное влияние безрассудного внутреннего устройства и унизительной власти духовенства, заодно с правительством действовавшего самым страшным орудием, какое употребляет дух

угнетения для подавления человеческого ума; грабительства варварийских разбойников, опустошающих полуденные берега; учреждение *месты, майоратств и гарнизонов,* которые, как мы покажем впоследствии, поддерживают и упрочивают злоупотребления, подрывают основание народной промышленности и заслоняют дорогу ко всякому улучшению, — вот некоторые из причин, уменьшивших народонаселение в Испании. Хотя большая часть из этих разрушительных начал теперь устранена, но самое вредное еще существует; и ничто, кроме решительного преобразования в правлении, политике и во всей системе законов, не может освободить Испанию из самой глубокой бездны несчастий и унижения, в какую народ упасть может.

Некоторые подробности о народонаселении в различные царствования дадут понятие об удивительном колебании, которому оно было подвержено; если читатель сравнит эти подробности с причинами упадка, нами исчисленными, то ему будет можно сделать несомненные заключения.

По общепринятому мнению, в Испании, во времена римлян, считалось 40 000 000 жителей. Допуская, что это число увеличено, примем половину и положим, что было 20 000 000. Под конец четырнадцатого века народонаселение, по словам туземных писателей, разделялось следующим образом: в областях Кастильских было 11 000 000; во владениях Аррагонских 7 700 000; в королевстве Гранадском 3 000 800; всего 21 700 800; но это вычисление, вероятно, увеличено, как и прежнее, и мы будем держаться мнения Г. Лаборда, который сумму всего народа полагает до 16 000 000. Во времена Фердинанда и Изабеллы, в конце пятнадцатого века, число жителей, по тем свиде-

тельствам, состояло из 20 000 000, мы ограничим его в той же пропорции, 15 000 000. В 1688 году было только 10 000 000; в 1700, когда умер Карл II, 8 000 000; в 1715, в царствование Филиппа V, 6 000 000; в 1788, во время Карла III, 9 307 804; в 1787 и 1788, последние годы царствования этого короля, 10 143 975; наконец, по исчислению, сделанному в 1797 и 1798, народонаселение тогда превосходило 12 000 000. Из всего сказанного выходит, что с самого освобождения от римского владычества по 1715 год, число жителей в Испании постоянно уменьшалось в следующей прогрессии: в продолжении почти тысячи лет, от времен римлян до конца 14-го века, 4-мя миллионами; от конца 14-го до конца 15-го века, за сто лет, 1 500 000; с 15-го века по 1688, меньше нежели в двести лет, 5 000 000; от 1688 до 1700, в двенадцать лет, 2 000 000; от 1700 до 1715, в пятнадцать лет, также двумя миллионами. С тех пор оно увеличивалось: от 1715 до 1768, в тридцать три года, 3 307 804; от 1768 до 1788, в двадцать лет, 836 171; от 1788 до 1806, больше, нежели двумя миллионами. В сложности с 1715 по 1806 год прибавилось 6 000 000 жителей. В Географическом Словаре г-на Минано народонаселение Испании в 1826 году считается до 13 752 172; следовательно, с 1715 года, почти в 111 лет, прибавилось 7 752 172 человека.

Приняв за основание перепись 1826 года, на каждую квадратную милю испанской земли (состоящей из 145 100 квадратных миль) придется около 90½ человека, то есть половина того числа, которое находится на равном пространстве во Франции и Англии, которые далеко отстают от Испании в плодородии почвы, выгодах климата и всех благодеяниях природы.

Что касается до разделения жителей, главной причины упадка народной промышленности в Испании, то нам показывают документы, обнародованные в 1802 году и подтверждаемые Г. Лабордом, что на 10 409 879 человек обоих полов (тогдашнее число жителей) считалось 3 257 022 вдовцов, людей холостых и духовных; 3 262 196 вдов и монахинь; следовательно, живущих в браке только 3 890 661. Из этого видно, что тогда было в Испании 6 519 218 человек, от которых народонаселение не множилось или, по крайней мере, не должно было множиться. О числе духовенства мы будем иметь случай говорить после. Покуда довольствуемся замечанием, кроме сословия владельцев, без занятий живших в поместьях и составлявших четверть народонаселения, в Испании было 100 000 контрабандистов, воров, морских разбойников и убийц, бежавших из острогов; 40 000 чиновников, назначенных для того, чтобы их ловить и действовавших с ними заодно; 300 000 слуг, из которых 100 000 были без мест и оставлены на собственный произвол; 60 000 студентов, которые под предлогом закупки книг, просили милостыню, или лучше сказать, насильно брали ее по ночам. Если прибавить к этому печальному исчислению 100 000 нищих, которых 60 000 монахов кормили у ворот своих монастырей, то окажется, что тогда Испания была обременена почти 600 000 человек, не приносящих никакой пользы ни земледелию, ни механическим искусствам и только опасных для общества. Словом, оставалось 964 571 ремесленников, 917 197 земледельцев, 310 759 мануфактуристов и 34 339 купцов, чтобы поддерживать своими усилиями и трудами одиннадцать миллионов жителей.

Эти выводы, относящиеся с некоторыми переме-

нами и к теперешней Испании, показывают общество, так глубоко испорченное, что почти невозможно верить в его возрождение. Праздность — национальный порок испанцев. Итак, народ, от природы ленивый, готовый на все, кроме честного ремесла, чтобы обеспечить свою жизнь; правительство, всемогущее во зле и бессильное в добре, ведущее народ к скотскому закоснению.

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, ОТЧИНЫ, ЗАКОНЫ О НАСЛЕДСТВЕ И ПРОЧ.

В самом плодородном крае Европы земледелие в совершенном упадке. На это много причин; но главная происходит от порядка наследования. Три четверти испанской земли, в том числе и земли церковные, нераздельны и состоят из неотчуждаемых *майоратств*. Слово *майоратство,* mayorazgo (происходящее от Mayor; первородный), указывает на право старшего сына наследовать известную родовую собственность с условием передать ее в целости тому, кто на тех же правах будет ею владеть после его смерти. Но назначение этого слова получило в употреблении удивительную обширность. Кроме права первородных на наследие, то же слово означает и причину, производящую это право или этот случай рождения, собственность таким образом переходящую, владельца этой собственности и того, кто к нему всех ближе в порядке наследования.

Есть пять родов майоратства:

1)*Наследство в строгом смысле* (agnacion rigorosa), идет к потомкам мужеского пола, по прямой линии, с исключением женщин; 2) *Наследство искусственное* (agnacion artificiosa) достается наследникам мужеского пола из боковой мужеской линии, а когда их

нет, наследникам из первого колена женской линии; 3) *Наследство* мужеского пола (agnacion de masculinidad) упрочивается потомкам мужеского и женского пола мужеской линии; 4) *Обыкновенное* (regular) переходит потомкам мужеского и женского пола соответствующего колена так, что сначала оно идет к сыновьям по порядку их рождения, потом к дочерям; потом в боковую линию к мужчинам ближайшего колена, к женщинам того же колена и так далее; 5) *Переходящее* (saltuario) достается всякому, кто соединяет в себе качества, назначенные учредителем майоратства, несмотря на линию. Не станем заниматься подробностями о пределах майоратства и их перехождений и напомним только, что владетель такого рода собственности не может ни разделить ее, ни продать, ни заложить, ни отдать ее своей жене или детям, когда они не входят в порядок наследства.

Майоратства начались между знатными фамилиями от желания увековечить свое имя и поддержать достоинство своего племени соразмерным богатством. Этот пример, которому остальное дворянство последовало, заразил и средние сословия (хотя им при недостатке наследственного достоинства нечего было поддерживать) и распространил бессмысленное и смешное тщеславие, в противность справедливости, природе и здравому смыслу.

Мало пользы останавливать распространение зла, произведенного майоратствами, если не удастся его уничтожить совершенно. Роды, в пользу которых были даны первоначально эти права, теперь чувствуют их пагубные действия: вместо того, чтобы увековечить знатные фамилии, как они желали, эта несчастная система сильно содействовала к их истреблению.

И в самом деле, когда в одном колене или поколении нет наследников мужеского пола, родовая собственность переходит через женщин в чужие руки; между тем как боковые линии остаются в нищете или исчезают в забвении.

«Когда в этих дворянских фамилиях родятся одни дочери, они могут все остаться без наследства; а владения их отца и матери перейдут к племяннику или двоюродному брату, или иногда и к очень далекому родственнику».

В самых обыкновенных случаях, т. е. когда собственность переходит от отца к старшему сыну, остальные сыновья и дочери не получают ничего кроме бедной пенсии, впадают обыкновенно в зависимость и нищету. С другой стороны, бездетные владетели майоратств не дорожат своими отчинами и разоряют их, потому что не заботятся о своих наследниках и стараются только о том, чтобы получить возможно больший доход во время своей жизни. От того почти во всех майоратских отчинах найдете вы земли в небрежении, здания разрушенные или выстроенные кое-как и вообще самый жалкий беспорядок и расстройство.

«От Бидассоа до Кадиса не встретите вы ни одного красивого поместья. Если в Андалусии строят себе защиты от непогоды посреди полей (cortijo), то эти строения не заслуживают названия домов: их стены, выбеленные для того, чтобы отражать лучи палящего солнца, не окружены ни тенью деревьев, ни свежестью земли. Как же будут заботиться об отдаленных полях те, которые так заботятся об земле, окружающей их жилища?»

Один закон, почерпнутый из законов римских и укрепленный юристами испанскими, также мало со-

действует. В силу этого закона каждый новый владетель майоратства имеет право возвратить себе землю, отданную в наймы его предшественником. От того земли в Испании нанимаются на короткое время и обыкновенно не более, как на четыре года; так как смерть хозяина может уничтожить наем, то нанимателю безрассудно было бы рисковать, заключая условие, которое каждую минуту может быть нарушено новым владельцем майоратства. Ко всему этому прибавьте бессилие законов, угнетения от их исполнителей, происходящую от того всеобщую неуверенность и, наконец, обременительные налоги, и вы согласитесь, что при таком положении вещей удивительно не то, что земледелие остается в детстве, но то, что есть еще некоторые поля обработанные. Общее благо, говорит Ховельянос [9] (Jovellanos), требует, чтобы наемщики земли были обеспечены законами и чтобы новый наследник не имел права нарушить договора о найме, заключенного с его предшественником. Вот одно, что может пособить земледелию, возвысить промышленность и открыть дорогу к улучшениям. Правда, возможность отчуждения противоречит целостному наследованию майоратских отчин; но я не вижу, почему не допустить отчуждения ограниченного и временного.

Наконец, майоратства столько же вредны нравственности народа, сколько его благосостоянию: они порождают праздность, коренной порок испанцев, первую причину того разврата и тупости, которыми отличается их высшее сословие. Сын, который должен наследовать отцу; брат, племянник, которые ожидают неотъемлемого наследства от брата, от дяди, не заботятся о приобретении собственного достоинства, не стараются собственными усилиями добыть

себе независимость. Дни их проходят в бездействии и лени; они делают долги, не думая платить их, в унизительном рассеянии ищут спасения от скуки и под старость обыкновенно попадают в руки хитрого духовника, который употребляет их слабоумие для своих корыстных видов.

Итак, система майоратств клонится к тому, чтобы в каждом семействе произвести, по крайней мере, одного глупца. Но когда мы вспомним, что этому глупцу законы отдают все имение; что его братья и сестры брошены в мир без достаточных средств к пропитанию, тогда нельзя не согласиться, что эта система равно противна частному и общему благосостоянию. Младшие братья видят в старшем несправедливого похитителя, существо, достойное ненависти или, по крайней мере, зависти. Если же братская любовь пересилит несправедливость законов, то не пересилит ужасной необходимости беспомощного положения. Так во всех отношениях действия майоратств были вредны; они разорили семейства, уронили земледелие в земле плодоносной до изобилия; покровительствовали праздности, врожденному недостатку народа, и заглушали все чувства приязни, которые составляют основу семейного счастья, на котором, в свою очередь, основывается благосостояние целого общества.

Другой источник бедствий Испании заключается в обществе, называемом *Места*. Это общество, обладающее многочисленными стадами овец, пользуется преимуществами исключительными и гибельными для земледелия. *Места* обязаны происхождением своему союзу, заключенному в 1556 году между нагорными жителями и обитателями долин с тою целью, чтобы доставить стадам покровительство законов. Но впо-

следствии она так распространила свои преимущества, что не только завладела всеми лугами государства, но даже превратила все пажити в пастбища. Таким образом, Места равно вредна стадам, земледелию и народонаселению. Чудовищное общество это состоит из благородных, из чиновников и из особ духовных, владеющих богатыми монастырскими имениями. Стада их почти без платы имеют право пастись на всех пастбищах государства; общество их имеет свои законы и свое судилище, наказывающее по произволу всех нарушителей прав его. Оно пользуется монополией не только в отношении к продаже шерсти. В 16-м веке стада его доходили до 7-ми миллионов штук; в начале 17-го до $2^1/_2$ миллионов, потом умножились до 4-х миллионов, а теперь простираются до 5-ти миллионов и составляют почти *половинное количество всех стад Испании.* Нет примера монополии более вредной, даже в самой Испании. Правда, что общее мнение сильно выражается против этого общества и народ вообще негодует на его неслыханные утеснения.

Неотчуждаемые имущества всякого рода составляют также одну из причин упадка промышленности в Испании, и, несмотря на противодействие людей просвещенных, эти неотчуждаемые имущества беспрестанно прибавляются в числе и обширности. Они производят ужасное неравенство, неподвижность и застой в капиталах; собирая богатство в руках немногих и повергая большинство в совершенную нищету, они порождают преступления, портят нравы и уничтожают самую возможность нравственного здоровья государства. В материальном отношении они не так вредны. Убивая промышленность, они возвышают цену земель и вместе уменьшают их внутрен-

нее достоинство. Так в Испании земли ежедневно становятся и незначительнее и дороже. Естественно, что вредные следствия такой системы должны беспрестанно увеличиваться, покуда все государство сделается наконец одною неотчуждаемою собственностью нескольких лиц, между тем как весь остальной народ останется в нищете и крайности.

Заметим, однако, что неотчуждаемые собственности духовенства, говоря вообще, возделываются лучше, нежели собственности частных людей.

ФАБРИКИ И ТОРГОВЛЯ

Там, где земледелие так несовершенно, фабрики необходимо должны быть в самом жалком состоянии. Испания, которая в 15 веке снабжала остальную Европу превосходными сукнами, богатыми шелковыми тканями, перчатками, железными и стальными изделиями и великим множеством других различных предметов, теперь из других государств получает почти все предметы, которых производство требует капитала, ловкости, сметливости и вкуса. Выключая некоторых весьма дорогих заведений, принадлежащих казне, которых монополия и чрезмерные привилегии разоряют частную промышленность, в Испании не найдется решительно ни одной фабрики утонченных изделий: грубые прядильни шерсти, бумаги, шелку, пеньки и льна; несколько дурных бумажных фабрик; кожевенные заводы и простые кузницы — вот единственные ее мануфактурные средства. Другие торговые отрасли в таком же цветущем виде. Внешняя торговля, обнимавшая прежде оба полушария, ограничивается теперь несколькими кораблями, случайно пристающими из Кубы, Порто-Рико и Филиппинских островов и подвергающимися всем бедствиям, могу-

щим произойти от недостатка застрахованья, и менюю произведений естественных, как то шелку, шерсти, вина, масла, винных ягод, миндалю, соли на мануфактурные изделья внешние. Что же касается до внутренней торговли, быстрое обращение которой столько способствует благосостоянию и богатству народа, то она также не в лучшем положении и не представляет никакого признака улучшения в деятельности. Причины такого совершенного бездействия, конечно, многоразличны; главная суть: недостаток сообщения, дороговизна всех способов доставления и неверность, испорченные дороги между разными провинциями, совершенное отсутствие водяных каналов (я не называю сообщением бесполезную и жалкую канаву, соединяющую Сарагоссу с Туделой); разнообразие веса и мер; странность торговых постановлений, которые, кажется, писаны ненавистью ко всякой продаже; взыскания земского начальства, угнетательного, неверного, беспокойного, подозрительного; разорительные налоги, взымаемые по оценке и не один раз, а при каждом переходе из рук в руки, прежде, нежели дойдут до потребителя; позволенные систематические притеснения от полицейских и таможенных чиновников, которые, как муравьи, рассыпаны повсюду и живут не жалованьем, но притеснениями, всегда безнаказанными, и, наконец, невероятное распространение контрабанды под системою законов неправедных, угнетающих и как бы нарочно для того установленных, чтобы ускорить разорение купечества и целой земли. Вот частью причины, уничтожающие внутреннюю торговлю; а между тем морские разбойники западной Америки, руководимые корыстью и национальною ненавистью, разъезжают около мысов и заливов и вынуждают малое число матросов, пере-

возящих из порта в порт товары, искать убежища под чужим флагом. Торговля, этот неисчерпаемый источник богатства, сделалась в Испании предметом общего презрения; гордость и бедность, предрассудок и невежество, лень и нищета царствуют там везде и везде чванятся; общественное устройство, противное всем необходимым правилам благосостояния и усовершенствования, развратили чувства и сковали в несчастной этой земле понятия умственные и совести.

СОСТОЯНИЕ НАУК И ПОЗНАНИЙ

В земле, где не уважают земледелия, где падают первые и все полезные ремесла, и литература и науки необходимо должны соображаться с общим упадком. Испания не противоречит себе: в системах общественных и умственных царствует совершенное согласие, или лучше сказать, однообразие. Это общий застой, мертвое море, где все живущее живет только потому, что слило существо свое с вялой стихией, в которой гниют эти искаженные творения. Умственные способности народа (деятельная пружина хорошего правления) не могут развиться там, где всякое сведение считают своим смертельным врагом. Нет земли в Европе, где бы сила этой истины была бы ощутительнее. Здесь приняты самые действительные меры против успехов рассудка и мыслей, невыгодных для дурного устройства. Взгляните на книгопечатание и на усилия инквизиции.

Между тем устройство общества требует некоторых сведений для судопроизводства и для лечения болезней, но едва существует поверхностное в них учение. Уступая необходимости, осторожное начальство надеется и старается избегнуть, по возможности, всех неудобностей, связанных с науками, сжимая в

самые тесные пределы беспокойное любопытство, заставляющее человека разыскивать скрываемые истины. Признаться надобно, что оно удачно достигло цели. В Испании сведения и дарования ни к чему не ведут. Иногда талант, видимо полезный, находит покровительство; но оно строго ограничивается одним лицом. Сословие, к которому он принадлежит, остается в забвении.

В Испании воспитание ограничивается грамматикой и словесностью, и столько же поверхностно, сколько несовершенно. Недавно доминиканцы получили повеление учиться по-гречески, но не нашлось человека, способного учить их. Доктор Фор уверяет, что исключая общественных библиотек, нельзя найти 12 экземпляров Гомера во всем Мадриде.

Говорят, будто в Сан-Исидоре иезуиты учат греческому и еврейскому языку, но эти профессора далеко не в состоянии преподавать такие уроки. Богатые испанцы редко знают иностранный язык, и соседи Франции гораздо хуже знают по-французски, нежели русские, поляки и шведы.

География известна одним мореплавателям; прочие знают, что Франция за Пиренейскими горами, и так как северный ветер, проходя по снежным горам, бывает очень холоден в Испании, то они думают, что Франция и все страны, за нею лежащие, климата ледяного. Пиренеи служат для них завесою великого театра, на котором совершаются неизвестные им события, но события, нимало не возбуждающие внимательного любопытства.

В Мадриде есть публичная медицинская школа. Сан-исидорские иезуиты также преподают некоторые частные науки, но их учение ограничивается одною формой. Во время конституционного правления был

курс физики, снабженный весьма нужными инструментами, которые должно было выписать из Франции. При вступлении французского войска лекции кончились, и кабинет был закрыт. Профессор был швейцарец; доктор Фор встретил его после в ужасном состоянии, покрытого рубищем и без куска хлеба.

Геология, обвиняемая в явной ереси, по необходимости изгнана из классической земли католицизма; однако же там занимаются минералогиею и преподают ее тем, которые назначены для управления горными работами. В Мадриде хороший кабинет, где хранятся самые лучшие образцы самородного золота, какие есть в Европе. Несмотря на то, что Испания не произвела классических сочинений о минералогии, там нет ни одной учебной книги, и, что всего страшнее, не переведена ни одна из иностранных. В доме Академии изящных искусств, который, говоря мимоходом, недавно отдавался в наймы, есть порядочный кабинет естественной истории, расположенный (если верить надписи над дверями) по разделению славного Кювье. Там есть также полный скелет мамонта.

Химия преподается в одной Фармацевтической школе для составления лекарств. Испанцы видят в химии только аптекаря; таким же им кажется и теперешний профессор Дон Антонио Морено[10], хотя он учился своей науке в Париже и преподает ее основательно и красноречиво.

Такое пренебрежение, однако, не значит, чтобы особенно презирали эту науку; но химия требует постоянного внимания; чтобы ей научиться, и особенно, чтобы делать в ней открытия, необходимо множество опытов, сделанных со тщанием и точностью; а все, что требует труда и точности, по какой бы то ни было части, противно природному характеру испанцев.

Физический и нравственный беспорядок — их стихия, и только он им по сердцу. Метода кажется им произведением противоестественным, которого их ум не может одобрить, потому что она ему недоступна. В Мадриде есть купцы, торгующие лекарственными снадобьями, но нет химиков, и самые необходимые лекарства, как, например, амонияк, нефть, рвотное, хинина и проч., все выписываются из Франции. Казалось бы, что математика сообразнее с правилами католического государства как «наука уже готовая, которую остается только понять», но и математике не учится никто, кроме молодых людей, назначенных в артиллерию или инженеры. В военном искусстве, где математику поощряют, испанцы далеко отстали от других европейских народов. Немногие из точных наук, преподаваемые в школах, преподаются очень худо по книгам, переведенным с французского. Ботаника, которая не требует столько трудов, сколько химия и другие естественные науки, сделала некоторые успехи, и многие писатели, Каванольес [11], Рунс [12], Павон [13] и Лагаска [14], отличились по этой части.

Медицина не могла бы процветать в Испании, не вредя силе духовенства: она беспрестанно встречается с ним в недрах семейств и у постели умирающего; кроме того, ее подозревают в направлении к материализму, — и потому она подавлена выгодами духовенства.

Медики и хирурги вообще люди бедные, без состояния; получают в высшей мере двадцать су за приезд и презрены за свое невежество и свою подлость даже теми, которые думают, что не могут обойтись без их помощи. Почти везде, где вывеска брильной тазик, подписаны слова: *хирург* и *акушер*. Для получения этого титла должно сначала быть над-

зирателем в больнице, потом слушать некоторые курсы, подвергнуться наружным формам экзамена и, что всего важнее, заплатить за лекарскую степень.

Доктору Фору во время его пребывания в Мадриде служили двое из готовящихся быть лекарями, которые, как он уверяет, были ему во многих отношениях примерными помощниками. Есть также доктора медицины и хирургии; они лечат внутренние болезни, при случае делают операции, хотя всегда неискусно, и занимают важные места, всего чаще профессорские кафедры.

Испания не может похвалиться ни одним известным анатомиком. Вскрытие трупов там невозможно. Одно покушение достать труп произвело бы восстание, которое неизбежно бы кончилось смертью дерзкого. В Мадриде нет ни одного хорошего анатомического препарата. Испанское невежество в науке гордится собранием восковых моделей в Сан-Карлосском училище, но если бы оно было и полно, то все никак бы не могло заменить вскрывания трупов.

Физиология не могла не разделить судьбу анатомии, и, между тем как эта наука обогащалась трудами всех европейских ученых, испанцы ничем не содействовали ее успехам. Они хвалятся усовершенствованием судебной медицины, и действительно вышло много сочинений об этом предмете; но чтобы судить о достоинстве этих сочинений, стоит только вспомнить состояние медицинских наук в Испании и почти совершенный недостаток сведений химических, анатомических и физиологических. Повивальное искусство, благодаря влиянию Франции, идет довольно успешно на практике; но нет ни одного хорошего сочинения об этом искусстве, и кроме сочинений, которые писали Арехула о желтой лихорадке [15] и Лис-

суриага[16] о мадридской колике, мы не знаем ни одной испанской медицинской книги, имеющей некоторый вес в чужих краях; даже и книга Лиссуриага считается произведением очень посредственным. Система Броуна[17] — самая общепринятая между испанскими врачами. Если верить доктору Фору, то они так часто употребляют горячительные средства, что кажется, как будто они хотят поддержать в своем знойном климате древний союз смерти с медиками. Прибавим еще, что общественную мадридскую больницу справедливо можно назвать моделью испанских больниц, такой там беспорядок и такая нечистота. Отделение, назначенное для военных, — источник заразы и смерти.

Медицинское училище и училище правоведения переведены из Мадрида. Правда, что больницы и присутственные места, самые драгоценные источники науки, остались в столице; но что за дело до этого в Испании, где науки не поощряются и скорее навлекают презрения, нежели ведут к почестям?.. Оба училища переведены в маленький городок Алкала́-Эна́рес, где нет ни больниц, ни судилищ. Студенты там — скопище бродяг, в рубищах, с босыми ногами, образец бесстыдства, гордости и нищеты. Этот сброд питается только похлебкой, выставленною у ворот монастырей, и уличным подаянием. Только и слышишь, как они с бесстыдством повторяют: «Подайте милостыню бедному студенту!»

Просить милостыню в Испании так обыкновенно, что не считается и бесчестьем; это было занятием владычествующей партии: духовенства. Какое растление нравов! Соединение гордости с низостью!.. Самые бедные студенты считаются самыми лучшими; а испанцы в этом деле законные судьи. Но все сви-

детельства единогласно говорят, что испанские студенты — большею частью бродяги, не имеющие понятия ни о чести, ни о добре.

Мадридские Академии далеко не заключают в себе всех отраслей человеческого знания. Есть Академия испанского языка, по образцу французской Академии, есть Академия истории и Академия изящных искусств, живописи и архитектуры; но во всей Испании нет Академии ни для физических, ни для математических наук, ни для естественной истории: все эти науки как будто враждебны существующему порядку. Живопись некогда процветала в Испании: она украшала храмы и дворцы, хотя и не вела за собою успехов общественного духа. Но теперь искусство так исказилось, что правительство должно было, несколько лет тому назад, обратиться к французским художникам, чтобы списать несколько ландшафтов и нарисовать несколько литографических листов. На картинной выставке, на которой был Г. Фор, он видел только дрянные работы маляров, годные на одни лавочные вывески. Так вот отечество Мурильо и Веласкеса! В 1827 году умер в Мадриде в ужасной нищете первый королевский скульптор Дон Хозе Альварес [18], и с ним, кажется, умерла скульптура в Испании.

ПРАВЛЕНИЕ

Правление в Испании монархическое неограниченное.

Оно очень непостоянно: часто меняет своих министров и никогда им не платит. Запутанные обстоятельства финансов и государственных дел могли бы быть исправлены только министерством просвещенным, благонамеренным, патриотическим и таким, которого твердая власть, действуя с систематическим

постоянством, воскресила бы производительную и промышленную силу Испании. Но где эти люди? Если б даже и удалось найти их, то каким образом поддержать их власть? Монахи не станут поддерживать министра, одушевленного истинным желанием улучшить государство, в этом нет сомнения потому, что самые величайшие препятствия благоденствию государственному состоят в их самовольной власти и безрассудных льготах. Кроме несметных сокровищ духовенство владеет больше, нежели четвертой частью испанской земли; к тому чернь, которую оно кормит своими подаяниями, покорна ему безусловно; словом, духовенство в Испании разлито повсюду, и везде оно сильно.

СУДОПРОИЗВОДСТВО

Законы Испании заключаются в собраниях, известных под именами: *Судебный Устав* (Fuero Juzgo), *Закон семи отделов* (Ley de las siete Partidas), *Королевское Уложение* (Ordenamiento real), *Королевский Устав* (Fuero real) и *Новейшее собрание законов* (Novisima recopilacion).

Судебный Устав [19] состоит почти весь из сокращенного и дополненного новыми законами Феодосиева Устава, изданного первоначально Алариком, преемником Готфа Еврика [20], одного из завоевателей Испании. *Королевское Уложение* содержит в себе собрание законов, изданное Фердинандом Каталическим и Изабеллою Кастильскою [21]. *Закон семи отделов* составлен из законов готоских, римских и канонических. *Королевский Устав*, соединяющий законы готоские с римскими, содержит в себе собрание законов, составленное в Гуэске, в 1248, для королевства Аррагонского. *Новейшее собрание законов,* которому следуют больше всех других, соединяет в себе различные ука-

зы королей испанских. Римское право в Испании не действительно; правоведцы могут изучать его как основанное на истинных началах науки, но никогда на него не ссылаются как на закон. Оно особенно устранено было старинными кастильскими законами, общее направление которых было противно общественной свободе. Трудно сказать мнение о такой огромной массе законов, почерпнутой из таких различных источников: однако же это огромное собрание может снабдить полезными материалами для составления новых законов, сообразных с современным состоянием государства.

Зло в Испании произошло не столько от самих законов, сколько от их исполнения. Судопроизводство всегда было медленно, разорительно, часто подкупно и утеснительно в высшей степени. Формы, несмотря на свою многосложность, неопределенны; записки о делах ужасно пространны; способы доказывать, ничем не обеспеченные, подвержены самым важным злоупотреблениям. Многочисленность судилищ и право многократных судебных возражений, которым богатые пользуются в делах с бедными, чтобы бесконечными замедлениями избегнуть приговора, — лишают бедных возможности найти справедливость и рождают во храме Фемиды пристрастие. Все дело ведет один *письмоводитель* (escribano), который исправляет должности секретаря, стряпчего и протоколиста; и кроме него нет посредника между подсудимым и судьею. Обыкновенно этот *письмоводитель* бывает негодяй в полном смысле слова, готовый на всякую несправедливость. Он должен отказаться от своего места, если не хочет вдаться в унизительные пороки, с этим местом связанные, потому что многосложность и несообразность его должностей беспрестанно напоминают

возможность безнаказанного обмана; а примеры начальников и товарищей, оправдывая в его глазах преступление, вводят в неодолимый соблазн.

Когда судопроизводство по гражданским делам так худо устроено, то что же сказать о судилищах уголовных!

Нет государства в Европе, где бы большее число преступлений укрывалось от судилищ. Однако же мы видим из документа, очень недавно обнародованного, что в 1826 было в Испании 1223 человека, убежденных в убийстве, 1773 покушений на убийство, 1620 грабежей, из которых большая часть на больших дорогах. Если предположим, что половина уголовных преступлений, совершившихся в этот год в Испании, осталось неизвестна (а это предположение, конечно, не преувеличено), то выйдет, что в этот год было 9252 уголовных преступления, из которых 2500 убийств.

(The Foreign Quarterly Review)

X

ИНОСТРАНКА

Вокруг нее очарованье;
Вся роскошь Юга дышит в ней,
От роз ей прелесть и названье;
От звезд полудня блеск очей.
Прикован к ней волшебной силой,
Поэт восторженный глядит;
Но никогда он деве милой
Своей любви не посвятит.
Пусть ей понятны сердца звуки,
Высокой думы красота,
Поэтов радости и муки,
Поэтов чистая мечта;
Пусть в ней душа, как пламень ясный,
Как дым молитвенных кадил;
Пусть ангел светлый и прекрасный
Ее с рожденья осенил, —
Но ей чужда моя Россия,
Отчизны дикая краса;
И ей милей страны другие,
Другие лучше небеса.
Пою ей песнь родного края;
Она не внемлет, не глядит.
При ней скажу я : «Русь святая» —
И сердце в ней не задрожит.
И тщетно луч живого света
Из черных падает очей, —
Ей гордая душа поэта
Не посвятит любви своей.

А. Хомяков

XI
ЕЙ ЖЕ

О дева-роза[1], для чего
Мне грудь волнуешь ты
Порывной бурею страстей,
Желанья и мечты.

Спусти на свой блестящий взор
Ресницы длинной тень!
Твои глаза огнем горят,
Томят, как летний день.

Нет: взор открой. отрадней мне
От зноя изнывать,
Чем знать, что в небе солнце есть
И солнца не видать.

А. Хомяков

XII
КРИТИКА

а) ОБОЗРЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЗА 1831 ГОД
(Продолжение)

НАЛОЖНИЦА

Поэма Баратынского имела в литературе нашей ту же участь, какую и трагедия Пушкина: ее также не оценили, также не поняли, также несправедливо обвиняли автора за недостатки небывалые, также хвалили его из снисхождения к прежним заслугам, и с таким тоном покровительства, который Гете из деликатности не мог бы принять, говоря о писателях едва известных. И под этими протекторскими обозрениями, под этими учительскими порицаньями и советами большая часть критиков не удостоила даже подписать своего имени [1].

Такого рода литературное самоуправство нельзя не назвать, по крайней мере, странным. Но оно покажется еще страннее, когда мы вспомним, что те же самые критики, которые поступали таким образом с Баратынским, большую половину статей своих о его поэме наполнили рассуждениями о нравственных и литературных приличиях.

Мы припомним это обстоятельство, говоря о характере литературы нашей вообще; теперь обратимся к самой поэме *.

---

* Большая часть критиков «Наложницы» опровергали сами себя и друг друга; но самый полный разбор поэмы, самые благовидные обвинения; самое отчетливое опровержение присовокупленного к ней

По моему мнению, «Наложница» отличается от других поэм Баратынского большею зрелостью в художественном исполнении. Объяснимся.

Читая «Эду», мы проникнуты одним чувством, глубоким, грустным, поэтически-молодым, но зато и молодо-неопределенным. Воображение играет согласно с сердцем; в душе остаются яркие звуки; но в целом создании чего-то недостает, и есть что-то недосказанное, что-то неконченное, как в первом порыве чувства, еще не объясненного воспоминаниями. Наружная отделка «Эды» имеет недостатки такого же рода: поэт часто увлекается одним чувством, одним описанием, прекрасным *отдельно*, но не всегда необходимым в отношении к целому созданию. Одним словом, в поэме не все средства клонятся к одной общей цели, хотя главное чувство развито в ней сильно и увлекательно.

В «Бальном вечере» [3], напротив того, стройность и гармония частей не оставляют ничего желать в художественном отношении. Все соразмерно, все на месте; каждая картина имеет надлежащий объем; каждому описанию показаны свои границы. Но, несмотря на эту мерность частей, господствующее чувство проистекает из них не довольно ясно и звучно, и если в «Эде» недостает пластической определенности и симметрии, то в «Бальном вечере» мы хотели бы видеть более лирического единства и увлекательности.

То и другое соединено в «Наложнице», где главной мысли соответствует одно чувство, выраженное

предисловия находится в разборе «Наложницы», напечатанном в X нумере «Телескопа» [2]. В конце этой книжки «Европейца» читатели найдут ответ на этот разбор, и он же может служить ответом и на остальные критики Баратынского поэмы.

ясно и сильно, развитое в событиях, соответственных ему и стройно соразмеренных.

Но эта художественная зрелость, которою отличается последняя поэма Баратынского от прежних, не составляет еще главного достоинства изящных произведений. Художественное совершенство, как образованность, есть качество второстепенное и относительное; иногда оно, как маска на скелете, только прикрывает внутреннюю безжизненность; иногда, как лицо благорожденной души, оно служит ее зеркалом и выражением; но во всяком случае его достоинство не самобытно и зависит от внутренней, его одушевляющей поэзии. Потому, чтобы оценить как должно поэму Баратынского, постараемся определить общий характер его поэзии и посмотрим, как она выразилась в его последнем произведении.

Музу Баратынского можно сравнить с красавицею, одаренною душою глубокою и поэтическою, красавицею скромною, воспитанной и столь приличной в своих поступках, речах, нарядах и движениях, что с первого взгляда она покажется обыкновенною; толпа может пройти подле нее, не заметив ее достоинства; ибо в ней все просто, все соразмерено и ничто не бросается в глаза ярким отличием; но человек с душевною проницательностью будет поражен в ней именно теми качествами, которых не замечает толпа [4].

Вот отчего нередко случается нам встречать людей образованных, которые не понимают всей красоты поэзии Баратынского и которые, вероятно, нашли бы его более по сердцу, если бы в его стихах было менее простоты и обдуманности, больше шуму, больше оперных возгласов и балетных движений, точно так же как в половине прошедшего века английская пуб-

лика не могла сочувствовать с Заирою, видя, что при упреках Орозмана она только плачет, и актриса, игравшая ее роль, желая произвести больше эффекта, должна была кричать и кататься по полу *.

Но эта обдуманность и мерность, эта благородная простота и художественная доконченность, которыми отличаются произведения Баратынского, не составляют случайного украшения стихов его; они происходят из самой сущности его поэзии, которая, так же как поэзия Батюшкова, дышит единственно любовью к соразмерностям и к гармонии. Вся правда жизни представляется нам в картинах Баратынского в перспективе поэтической и стройной; самые разногласия являются в ней не расстройством, но музыкальным диссонансом, который разрешается в гармонию. Оттого, чтобы дать простор сердцу, ему не нужно выдумывать себе небывалый мир волшебниц, привидений и животного магнетизма; в самой действительности открыл он возможность поэзии, ибо глубоким воззрением на жизнь понял он необходимость и порядок там, где другие видят разногласие и

---

* Le sultan, — говорит Вольтер, — n'est point ému de la voir dans cette posture ridicule et de désespoir, et le moment après il est tout étonné que Zaïre pleure. Il lui dit cet hémistiche:

— Zaïre, vous pleurez!

Il auroit du lui dire auparavant:

— Zaïre, vous vous roulez par terre!

(Султан, — говорит Вольтер, — ничуть не растроган ее отчаянием, делающим ее почти смешной, а минуту спустя он удивляется, что Заира плачет. Он говорит ей:

— Заира, вы плачете!

Он должен был бы сказать ей прежде:

— Заира, вы катаетесь по земле! — *фр.*) [5]

прозу. Оттуда утверждение его, что все истинное, вполне представленное, не может быть ненравственное[6]; оттого самые обыкновенные события, самые мелкие подробности жизни являются поэтическими, когда мы смотрим на них сквозь гармонические струны его лиры. Бал, маскерад, непринятое письмо, пированье друзей, неодинокая прогулка, чтение альбомных стихов, поэтическое имя — одним словом, все случайности и все обыкновенности жизни принимают под его пером характер значительности поэтической, ибо тесно связываются с самыми решительными опытами души, с самыми возвышенными минутами бытия и с самыми глубокими, самыми свежими мечтами, мыслями и воспоминаньями о любви и дружбе, о жизни и смерти, о добре и зле, о боге и вечности, о счастьи и страданиях, о их цели, следах и поэзии.

Эти возвышенные, сердечные созерцания, слитые в одну картину с ежедневными случайностями жизни, принимают от них ясную форму, живую определенность и грациозную ощутительность, между тем как самые обыкновенные события жизни получают от такого слияния глубокость и музыкальность поэтического создания. Так, часто не унося воображения за тридевять земель, но оставляя его посреди обыкновенного быта, поэт умеет согреть его такою сердечною поэзиею, такою идеальною грустию, что, не отрываясь от гладкого, вощеного паркета, мы переносимся в атмосферу музыкальную и мечтательно просторную.

Это направление поэзии Баратынского яснее, чем в других поэмах, выразилось в его «Наложнице». Я не стану повторять здесь ее содержания, давно уже известного каждому из моих читателей. Замечу только, что в этой поэме нет ни одной сцены, которая бы

не привела к чувству поэтическому, и нет ни одного чувства, которое бы не сливалось неразрывно с картиною из жизни действительной, — и эти картины говорят гораздо яснее всех возможных толкований. Вместо того, чтобы описывать словами то тяжелое чувство смутной грусти, которое угнетало душу Елецкого посреди беспорядочной, развратной его жизни; вместо того, чтобы рассказывать, как эта грязная жизнь не могла наполнить его благородного сердца и должна была возбудить в нем необходимость любви чистой и возвышенной; как эта новая любовь, освежая его душу, должна была противоречить его обыкновенному быту; вместо всех этих психологических объяснений поэт рисует нам сцены живые, которые говорят воображению и взяты из верного описания действительности: картину ночного пированья; его безобразные следы в комнате Елецкого; окно, открытое на златоглавый Кремль, поутру, при восхождении солнца; гулянье под Новинским и встречу с Верою, маскерад, разговор с Сарою и проч., и проч. Иногда один стих вмещает целую историю внутренней жизни. Так, чтобы выразить любовь Елецкого, поэт описывает наружность Веры и прибавляет только:

> Своими чистыми очами,
> Своей спокойной красотой,
> Столь благородным выраженьем
> Сей драгоценной тишины,
> *Она сходна была с виденьем*
> *Его разборчивой весны* [7].
>
> . . . .

Он встречается с Верою в театре:

> Елецкой, сцену забывая,
> С той ложи не сводил очей,

В которой Вера Волховская
Сидела, изредка встречая
Взор, остановленный на ней.
Вкусив неполное свиданье,
Елецкой приходил домой
Исполнен мукою двойной;
Но, полюбив свое страданье,
Такой же встречи с новым днем
Искал в безумии своем.

Как несколько слов представляют весь характер Веры, и начало ее любви, и ее будущую участь:

Природа Веру сотворила
С живою, нежною душой;
Она ей чувствовать судила
С опасной в жизни полнотой.
Недавно дева молодая,
Красою свежею блистая,
Вступила в вихорь городской.
Она еще не рассудила,
Не поняла души своей;
Но темною мечтою в ней
Она уже проговорила.
Странна ей суетность была;
Она плениться не могла
Ее несвязною судьбиной;
Хотело б сердце у нее
Себе избрать кумир единой,
И тем осмыслить бытие.
Тут романтические встречи
С героем повести моей
. . . .

Но судьба обманула сердце бедной Веры: жених ее погиб, все ее мечты счастья разрушены навсегда, — и весь ужасный переворот в душе ее поэт рисует одною картиною, ощутительно ясною, глубоко обдуманною и вместе поразительно простою и обыкновенною:

В ту ж зиму, с дядей-стариком,
Покинув город, возвратилась
Она лишь два года потом.
Лицом своим не изменилась;
Блистает тою же красой;
Но строже смотрит за собой:
В знакомство тесное не входит
Она ни с кем. Всегда отводит
Чуть-чуть короткий разговор.
Подчинены ее движенья
Холодной мере. Верин взор,
Не изменяя выраженья,
Не выражает ничего.
Блестящий юноша его
Не оживит, и нетерпенья
В нем не заметит старый шут;
Ее смешливые подруги
В нескромный смех не вовлекут;
Разделены ее досуги
Между роялем и канвой;
В раздумье праздном не видали
И никогда не заставали
С романом Веры Волховской;
Девицей самой совершенной
В устах у всех она слывет.
Что ж эту скромность ей дает?
Увы! тоскою потаенной
Еще ль душа ее полна?

Еще ли носит в ней она
О прошлом верное мечтанье
И равнодушна ко всему,
Что не относится к нему,
Что не его воспоминанье?
Или, созрев умом своим,
Уже теперь постигла им
Она безумство увлеченья?
Уразумела, как смешно
И легкомысленно оно,
Как правы принятые мненья
О романтических мечтах?
Или теперь в ее глазах,
За общий очерк, в миг забвенья
Полусвершенный ею шаг
Стал детской шалостью одною,
И с утонченностью такою,
Осмотру светскому верна,
Его сама перед собою
Желает искупить она?

Одно ль, другое ль в ней виною
Страстей безвременной тиши —
Утрачен Верой молодою
Иль жизни цвет, иль цвет души.

Это описание Веры служит одним из лучших примеров того, как самые обыкновенные явления в жизни действительной получают характер глубоко поэтический под пером Баратынского. Я не говорю уже об изображении Сары, лучшего, может быть, создания в целой поэме.

Однако, несмотря на все достоинства «Наложницы», нельзя не признать, что в этом роде поэм, как в картинах Миериса [8], есть что-то бесполезно стесняющее,

что-то условно-ненужное, что-то мелкое, не позволяющее художнику развить вполне поэтическую мысль свою. Уже самый объем поэмы противоречит возможности свободного излияния души, и для наружной стройности, для гармонии переходов, для соразмерности частей поэт часто должен жертвовать другими, более существенными качествами. Так самая любовь к прекрасной стройности и соразмерности вредит поэзии, когда поэт действует в кругу, слишком ограниченном. Паганини, играя концерты на одной струне, имеет, по крайней мере, то самолюбивое утешение, что публика удивляется искусству, с которым он побеждает заданные себе трудности. Но многие ли способны оценить те трудности, с которыми должен бороться Баратынский?

Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что публика наша до тех пор не поймет всей глубокости и всей поэзии оригинального взгляда на жизнь, которым отличается муза Баратынского, покуда он не представит его в произведении, более соответствующем господствующему направлению его воображения. Баратынский, больше чем кто-либо из наших поэтов, мог бы создать нам поэтическую комедию, состоящую не из холодных карикатур, не из печальных острот и каламбуров, но из верного и вместе поэтического представления жизни действительной, как она отражается в ясном зеркале поэтической души, как она представляется наблюдательности тонкой и проницательной, перед судом вкуса разборчивого, нежного и счастливо образованного.

‹И. В. Киреевский›

b) О БАЛЬЗАКЕ

(соч. Эмиля Дешана [1], Emile Deschamps)

Когда некоторые люди с отличным дарованием первый раз пытались выйти из колеи, проложенной древней литературой, то критике не много было работы: она через вылитую форму, приноровленную к каждому роду, пропускала все мощные произведения современников и вынимала их оттуда ощипанными, искаженными, мертвыми. Юные писатели, негодуя, доказывали, что такие меры несправедливы, неблагонамеренны... Напрасно! Критика оглохла и на старости лет не могла изменить своих привычек. Тактика с нею переменилась: ее уверяли, будто переводят с немецкого, с испанского, с китайского. Поэты окрестили чудными именами свои произведения, оды назвали *балладами*, трагедии *драмами*, драмы *сайнетами*... Бедная не опомнилась среди неизвестной ей номенклатуры, и после некоторых насмешек, некоторых схоластических доводов, она смешалась, помешалась и, наконец, утонула в потоке непонятных ей произведений.

Явилась новая критика, *великая, плодотворная критика красот* [2], как называет ее Шатобриан. Все, шедшие с верою в обетованную землю свободного искусства, нашли к ней краткий путь, и никто не погиб на дороге. Публика с восторгом встречает новые творения и не беспокоится о том, новый ли этот род или измененный старый. Читатели разделяют презрение Альфреда де Виньи к церемонному слогу, *к приглаженной учтивости* и *к общей торной дороге* [3]; Прозаизм наскучил всем. Парадокс, что нет *романтизма*, а есть литература 19-го века, сделался теперь пошлой истиной, и слова классицизм и ро-

мантизм слышны только вдали, как редкие ружейные выстрелы после оконченной битвы. Всякое литературное произведение, удостоенное внимания критики, носит на себе печать новой эпохи, а печать ее: поэзия. Поэзия полной чашей разливается в драмах, романах, листках, в обозрениях. Каждый день на нее неисчислимый расход! Не знаешь, какое имя дать тысячам новых литературных творений, которых я охотно бы назвал именем их автора: Мериме, Жанень [4], Стендаль, Бальзак, Брюкер [5], Сю [6], Поль-Лакруа [7] и пр. Кроме отличительного знамения эпохи, каждый из этих писателей имеет собственную физиономию, свой характер, известный уже публике. 19-й век нашел уже столько же способов писать, и писать хорошо, сколько оба века, его предшественники.

Как бы ни было оригинально название книги, но для книгопродавцов и для публики оно никогда не бывает так привлекательно, как имя пера. Надеюсь, что скоро его только будут ставить на заглавном листке. Горе тогда подражателям, без корня растущим у подножия питательных дерев! Поневоле закаетесь быть чем-нибудь самоценным! Многие писатели почувствовали, что название тройное, четверное не выразит внутреннего содержания их произведения и, соображаясь с обычаем, дали ему первое попавшееся имя: Черной и Красной, Плик и Плоп, и пр. Аноним может изобрести какой-нибудь характеристический знак, по которому его узнать можно (характеристика должна находиться в самой книге), напр.: гильотину, воздушный шар, якорь или иной какой иероглиф [8], подобный тому, который г. Бальзак взял эпиграфом к своей «Peau de chagrin» *.

* «Шагреневой коже» (*фр.*).

Г. Бальзак издал в свет Вальтерскотовский роман (по собственному его выражению), где есть заманчивость, страсть и многие невероятности; потом издал несколько «Картин частной жизни», являющих быстрые успехи и труд усовершенствованный. Оба творения приобрели ему славу; третье, на котором не поставил он имени, еще больше. В предисловии к Peau de chagrin неужели автор не шутя жалуется на недоброжелательные нападки за его «Физиологию супружества»? Мы с удовольствием узнали в любезной, остроумной его защите, что г. Бальзак не стар, не ветрен, не пьяница; с удовольствием прочли любопытный разбор разногласия и согласия, встречающиеся между характерами авторов и характерами их творений, психологическое рассуждение о чудесной способности гениальных людей изобретать ужаспые преступления, не переставая быть образцами кротости и добродетели. В том же предисловии г. Б. говорит, что «Физиология супружества» была с его стороны попытка, как возвратиться к насмешливой, тонкой литературе 18-го века. Не знаю, что понимает автор под тем литературным противодействием, которое нам обещает; но знаю, что если подозрительная насмешливость, с которой он смотрит на человечество, вспоминает Вольтера и Рабеле [9], так же как и некоторые его фразы, то искусственная часть его дарования, неотъемлемо принадлежит нынешнему веку.

«Картины частной жизни» чрезвычайно привлекательны и ближе к природе, нежели все прочие произведения автора. Подробности рассказаны с утонченным и разборчивым вкусом; если они и замедляют иногда действие, то живее и яснее его обозначают.

Еще есть много таких людей, которые требуют у автора отчета во времени, за чтением проведенным,

ищут в литературе удовольствия прочного, волнения полезного, практической истины. Этот класс читателей предпочитает «Картины частной жизни» г. Бальзака философской его чертовщине.

Философские сказки и романы читаются с жадностью. Здесь не видим мы ни Вольтера, ни Рабеле, ни Гофмана; мы видим г. Бальзака. Гофман, основатель фантастической школы, имеет внутреннее сильное убеждение — страсть к искусству. Его создания не были для него шуткой; он плачет невыдуманными слезами. В его превосходных, страстных мечтаниях об *искусстве* не проглядывает беспрестанная насмешка над человеческим сердцем, сатирическая ирония, разрушающая очарование. «Неизвестный образец» и «Сарацинка», сказки Бальзака, отменно увлекательны. Но в первой Пуссен унижает себя, принуждая свою божественную, стыдливую красавицу явиться обнаженной глазам чужим, служить образцом; и я разделяю презрение, которое она к нему ощущает. Во второй автор странным образом бродит с своею любовью. Нужен его необыкновенный талант, чтобы рассказать такую неудачу, и герой должен был умереть, чтобы не казаться глупо смешным.

Сказки г. Бальзака можно назвать *мизантропическими*. Везде жестокий обман в чувствах сердечных, везде человек является в самом низком, самом ужасном виде; везде желание богатства заражает душу; везде «люди тонут в долгах, полагаясь на удушливый кашель родного; каждое утро облокачиваются на мертвое тело, каждый вечер из него делают себе подушку». Между тем не воображайте, чтобы сказки эти были скучны, печальны, растянуты: нет! это маленькие драмы, умные, затейливые, веселые, быстрые:

литература века, спешащего узнать все чувства, созидающего новые, ускоряющего все, и жизнь, и действие, и пружины, века, породившего пароходы, телеграфы, литографию, музыку Россини, освещение газом... Наше время отсвечивается в этих фантастических повестях со всеми своими несообразностями и противоположностями, своим поэтическим прозаизмом и суеверным неверием, с порывами добродетели и глубоким эгоизмом, единственным основанием нынешнего устройства.

Может статься, г. Бальзак не верит сам, чтобы разврат был так велик, самоубийство так самохвально и шутливо; безверие так необузданно, а мнение так отчетливо; может статься, г. Бальзак мистифицирует свою публику? Как бы то ни было, каждый охотно поддается, и если он смеется над читателем, то читатель никогда над ним не смеется.

Кто не знает этой чудесной Peau de chagrin, с которой стоит пожелать, чтобы получить желаемое; но которая при каждом желании убывает и уносит несколько лет жизни своего обладателя. Сколько раз этот роман анализирован, расхвален, окритикован. Мне совестно выйти так поздно с моими придирками: вероятно, автор *за давностью времени* считал уже себя нетревожимым обладателем своей собственности.

Знаю, что человек, обуреваемый сильною душевною страстью, может поступком своим обмануть все предположения и все расчеты, и, однако, чувствую, что участие во мне слабеет, когда поэт нарушает правдоподобие, изображая игру страстей. Тщеславная, холодная кокетка горестью отравила жизнь Рафаэля:

каких мучений не перенес он из любви к Феодоре? чего ему стоили одни эти приличные сапоги, этот белый жилет, в которых надобно было перед нею явиться? Для Феодоры хотел он убить душу свою и погрязнуть в распутстве... О! сколько раз он должен был умолять какое-нибудь волшебное могущество вселить к нему любовь в эту бездушную, эту гордую Феодору, заставить ее плакать слезами скорби и раскаяния, заставить одним его словом переселяться в ад или понимать радости небесные — и в ту минуту, когда он умирает, умирает от этой женщины, — чего же он просит от своего талисмана?.. Хорошего ужина!..

Г. Б. одарен в высшей степени наблюдательностью ума и сильным воображением слога. Слово *чарование* (fascination) часто у него повторяется, и я нахожу его приличным для того действия, которое он сам производит. Несколько страниц в Peau de chagrin ослепительны, волшебны. Автор высказывает все, и всегда выражение его чисто. Он умеет набросить прихотливое покрывало на все, что требует догадки, и резкою, живописною кистью выставляет людей, вещи, системы, идеи. Описания исполнены жизни, отступления божественны...

«Я помню, — говорит Рафаэль [10], описывая бедный чердак свой, — помню, как весело, как сладко едал я хлеб свой, свое молоко, сидя у окошка, вдыхая в себя воздух неба и рассеянными взорами медленно перебирая картину кровлей красных, диких, зеленых, темных, черепичных, железных, покрытых желтым и зеленым мхом. Сначала вид этот казался мне однообразен; скоро нашел я в нем красоты чудные. Ввечеру яркие полосы света, выходя из неплот-

но прикрытых ставень, оттеняли и животворили мрачную глубину дивной картины. Бледный свет фонарей посылал снизу палевый отблеск и сквозь туман слабо обозначал улицы в переливах тесных кровель, океане недвижимых волн. Иногда являлись лица посреди безмолвной сей пустыни: в висячем воздушном саде, между цветов, угловатый профиль какой-нибудь старушки с лейкою в руках, или в гнилой раме слухового окна, молодая девушка, которая, считая себя никем не видимою, небрежно убиралась, и я мог различить прекрасную ее головку и длинные волосы, поднятые вверх белоснежною рукою».

Волшебство тысяча и одной ночи, связанное с судьбою парижанина, которого мы встречали, с которым, может быть, играли в экартѐ, сначала поражает неприятно: но опомнившись от первого удивления, несообразное и правдоподобное сливаются для читателя, как теплотвор и углетвор на пылающем костре. (Простите мне сравнение.) Возможное и невозможное так тесно сливаются в сей странной повести, что нельзя провести между ними демаркационной линии, как между телом и душею, между мышленьем и материей. Все может быть естественно и неестественно: суживание и сжиманье кожи, вулканическая страсть Рафаэля, докучливость безумца; г. Бальзак всем этим издевается над нашей легковерностью. Потом, когда Рафаэль счастлив, т. е. когда он любим, он желает истребить пагубный талисман свой и не может. Напрасно пробует он над своей тюленей кожей все химические и механические средства, и автор такое ясное и подробное делает изложение его опытов, что читатель не знает, что ему думать. Рафаэль бросает кожу в колодец, садовник достает ее оттуда и приносит ему рассмотреть дивное чудо.

Если бы он бросил ее в море, повар отыскал бы ее в первой пойманной рыбе, в жерло Везувия — оно нарочно извергло бы пламя, чтобы выбросить ему кожу в лицо. Эта Peau de chagrin точно так же невероятна, как завязка большей части наших превозносимых драм и романов. Вся разница в том, что здесь материальная невозможность дерзко выставлена наружу; здесь ее видишь и забываешь; а там ее прячут и находишь беспрестанно... Однажды я говорил о прекрасной картине г. Делакруа [11] с людьми, ее не видавшими: все восстали против аллегорического изображения этой свободы, сходящей на мостовую баррикад наших и гуляющую посреди июльского нашего народа. Но вы посмотрите на картину Делакруа, прочтите Peau de chagrin, тогда поверите чародейству искусства.

XIII
СМЕСЬ

а) ПИСЬМО ИЗ ПАРИЖА

2 января, 1832

Холера сюда не приближается: она все еще на севере Англии: в Сундерланде совершенно прекратилась, но в Нюкастле свирепствует с большею силою, нежели в Сундерланде. По последним известиям в один день было 43 новых больных. Холера оказалась еще в двух (всего 4-х) местах, около Нюкастля. Здесь о ней не думают, и это весьма благоразумно, ибо беззаботливость о холере есть лучшее средство предосторожности. Если б то же действие беззаботность или равнодушие имели на политические болезни Франции, то результат долженствовал бы быть выгодный; ибо, как мне кажется и казалось с самого приезда сюда, французы весьма мало заботятся о политических делах. Журналы делают свое ремесло, наполняя свои колонны всякою всячиною, правдою и ложью, и журналисты должны часто сами знать, что возвещают ложь, — но где же взять правды? А журнал между тем должен выйти, и журналист должен обедать: английские журналисты живут не артиклями, а объявлениями, advertisements, кои одни только приносят им барыш, — и потому, во время засухи новостей, они могут воздержаться печатать всякий вздор. Здесь политические писачки только выезжают на собственных своих *leading articles*[1*] и на новостях, — и чем более уродливости, невероятности, extravagance[2*], тем более это привлекает читателя.

[1*] ведущих статей (*англ.*).
[2*] экстравагантности (*фр.*).

Таков человек! Доверенность его всегда растет с невероятностью. Если министр Лудвига XIV говорил королю: Toutes les fois qu'il plait à Votre Majesté de créer un office, Dieu crée un sot ponr l'acheter [3*] — то теперь можно сказать, что каждая ложь порождает сотни легковерных, глотающих все с охотою.

Я слышал, что на публичных лекциях Cuvier [1] всегда присутствует жена и дочь, — вероятно, M-lle Duvancelle [2]. Но Кювье, говорят, простудился и не мог читать в последний раз лекции. На днях было до 6 град. морозу. Сего дня теплее, и я ездил в кабриолете в Bois de Boulogne [4*]. Наступление нового года заметно для меня только тем, что надобно давать на водку, где живу, завтракаю и обедаю.

1 Генваря. Вчера слышал за обедом похвалы оперы, которую вчера же давали на итальянском театре, а пошел смотреть ее и нашел то, чего желал, т. е. глупую итальянскую оперу с буфонством. Я всегда был охотник до всякого рода тутов и буфонов, и Lablache вчера меня позабавил в роли капельмейстера в La prove d'une opera seria [5*]. Но это привело меня поздно в постель — отчего я поздно встал и едва, до прогулки в кабриолете, имел время прочесть длинный артикль Кормененя [3] о Liste civile [6*], в котором он доказывает, что le Roi citoyen [7*] требует une liste civile, вдвое превосходящую короля английского, Наполеонову в 1815, и ровную почти

[3*] Всякий раз, когда Ваше Величество изволит придумать должность, бог рождает дурака, чтобы ее купить (*фр.*).

[4*] Булонский лес (*фр.*).

[5*] Репетиция оперы (*ит.*).

[6*] цивильном листе (*фр.*).

[7*] Король гражданин (*фр.*).

à celle de Charles X. В денежных делах с французами шутить опасно; и liste civile может сделать более недоброжелателей Филиппу, нежели различные политические системы. Сего дня за обедом мой сосед растолковал мне много о государственном долге французском и о caisse d'amortissement[8*], чего я прежде не знал. По сему я вижу, что с этой стороны французские финансы не в таком дурном положении, как я полагал по отчетам. Народ, конечно, платит более 250 м. как проценты государственного долга; но казна платит действительно процентов гораздо менее, именно, как говорил мой сосед, только 150 м; остальной капитал, представляемый 40 м. для amortissement, был уже выкуплен системою печатания; так что, в случае нужды, правительство может, без новых налогов, выпустить опять в обращение капитал, представляемый 40 м. выкупленных процентов. Замечательно, что это был первый сериозный разговор, который я имел с французом, и не знаю, как это случилось; ибо доселе он толковал только об опере. Не знаю, кто этот француз; но, кажется, он не только практически понимает финансы. Он соглашается, что французы вообще не понимают в финансах ничего.

‹А. И. Тургенев›

в) ПИСЬМО ИЗ БЕРЛИНА

В начале осени мы боялись, что нам некогда будет заниматься литературою и ученостью, однако опасения наши не сбылись. Правда, что средоточение здешней ученой деятельности, университет, посещается теперь меньше, нежели летом; однако аудитории

[8*] кассе погашения (*фр.*).

профессоров знаменитых и теперь наполнены. Юношество наше особенно питает живое, нелегкомысленное участие ко всему, что относится к близкому настоящему и к великим событиям нашего времени. Ганс [1*] [1] читает теперь новейшую историю. Его умное красноречие и важность предмета заставляли ожидать многочисленных слушателей; отчего избрал он самую большую залу в университете, могущую вместить более 500 человек; но слушатели в ней не уместились, и Ганс должен был перенести свою аудиторию в *Аулу*, где могут найти место более 1500 слушателей. С глубокомыслием соединяет он необыкновенное красноречие, и хотя мысли его иногда, видимо, образуются на языке, но, несмотря на то, речь его всегда стройна, исполнена изящества, огня и даже патетического увлечения, которое, однако же, не мешает ему сохранять достоинство предмета. Оттого даже многие противники его политического образа мыслей навещают его лекции, и вообще, публика его, кроме студентов, состоит из многих важных военных и гражданских чиновников, по большей части людей образованных. Раумер [2*] [2] своим сочинением о паде-

---

[1*] Ганс, ученик Гегеля, но во многом отклонившийся от его учения, известен в ученом мире своею книгою Ueber das Erbrecht, которая во многих отношениях может назваться классическою, и особенно знаменит увлекательным красноречием своих лекций. Главная часть его: история и юриспруденция; но обыкновенно он занимает несколько кафедр вдруг, что дает его занятиям большое разнообразие, и потому сведения его более многосторонни, чем основательны.

[2*] Известный профессор истории, автор многих весьма ученых исторических разысканий, издатель «Исторических альманахов», сочинитель писем из Франции и пр.

нии Польши приобрел себе много новых друзей и врагов. Говорят, это сочинение было причиною того, что он вышел из высшей цензурной коллегии. Лахман [3] занимается давно обещанным изданием «Парциваля». Для древне-немецкого словаря Граффа [4] до сих пор не находится издателя: при теперешних обстоятельствах никто не решается отважить значительную сумму на издание этой важной книги, несмотря на то, что ожидают многого от нее и от ученого ее автора, что она необходима для полнейшего узнания языка и что ею пополнятся многие чувствительные недостатки наших сведений. Профессор Нейман [5] возвратился недавно из своего непродолжительного путешествия в Кантон и привез с собою много китайских книг и редкостей. Чем-то кончится его война с Абель-Ремюза̀ и с Клапротом [6]! Уверяют, будто он собирается представить убедительные документы, которыми докажет, что вся ученость его противников почерпнута единственно из иезуитских источников. Бопп [3*] [7], говорят, издает скоро свою «Сравнительную грамматику индо-немецкого языка». Шлегель, нападая на этого ученого (так же, как на Шиллера, на Нибура [8], на Арндта [4*] [9], на Менцеля), возбу-

---

[3*] Известный филолог, занимавшийся разысканиями о санскритском языке и отыскивавший общий корень между ним и языком немецким. Он, между прочим, издал «Наласа» (один эпизод из Магабараты), с латинским переводом и с своими примечаниями.

[4*] Эрнст Мориц Арндт был прежде профессором философии в Грейфсвальде и известен своими путешествиями по многим государствам Европы, и еще более своими политическими брошюрами. Во время могущества Наполеона в Германии Арндт принужден был жить в Швеции. Но в 1810 году прусское

дил только сожаление к самому себе. Люди знающие уверяют, что Шлегель не понимает в грамматических изысканиях новейшего времени, хотя охотно об них толкует, так же точно, как в индийских древностях, которые он избрал главным занятием своей старости. Кто займет гегелеву [5*] кафедру?

Заместить его легко; заменить невозможно. Литературная его деятельность известна. Но сколько он был полезен университету своим преподаванием, это покажут его лекции, которые издаются его друзьями и учениками. Намерение призвать сюда Шеллинга или Герберта [10], кажется, уже оставлено. Но важное приобретение для университета состоит в том, что Эйхгорн [6*] [11] займет кафедру юриспруденции, упраздненную смертью Шмальца [7*] [12]. Но Эйхгорн перехо-

---

правительство доставило ему место профессора истории в Бонне.

[5*] В одном из следующих номеров «Европейца» мы надеемся предоставить краткое обозрение жизни и философии Гегеля, которого учение имело сильное влияние на северную Германию.

[6*] Известный профессор истории в Геттингене, сочинитель истории трех последних столетий и пр.

[7*] Шмальц известен в научном мире не столько своими юридическими сочинениями, сколько своими спорами с Шлейермахером [13], с Гегелем и с весьма многими другими учеными. Все критики Шмальца имели вид доноса; за что он пользовался весьма незавидною репутациею в Германии. Некоторые уверяют, будто он никогда не писал иначе, как по заказу, и равно продавал свое перо и свой образ мыслей. В своем последнем сочинении «Об естественном праве» (изданном уже после его смерти) Шмальц старается доказать, что самый справедливый образ правления есть — султанский.

Однако Шмальц был не один своего мнения. Нашелся другой немец, который пошел еще далее.

дит к нам с таким условием, чтобы кроме чтения лекций не заниматься никакими делами университета. Савиньи [8*] [15] и Шлейермахер [9*] также уже несколько лет, как отстранили от себя всякие заботы об университете. Многие порицают их за это, говоря, что они общему благу предпочитают свое личное спокойствие и, кажется, этот упрек не без основания.

Пастор Зейльфарт издал книгу под названием «Царство божие на земле» и посвятил ее, не в шутку, не в насмешку, великому султану, наследнику пророка Османов, Махмуду II-му [14], в знак глубочайшего уважения. Автор старается доказать, что исламизм есть совершеннейший вид христианства и что он отличается от других христианских исповеданий только тем, что в нем яснее и чище выразился дух христианства в отношении к политике. Автор желает, чтобы все христианские властители возвысились до магометанских; почитает султана Махмуда идеалом христианнейших правителей и, вместе с Шмальцем, признает самым справедливым образом правления — султанатство.

[8*] Профессор римского права и основатель нового учения об римском праве, которое сделало совершенный переворот в науке. Важнейшее из его сочинений есть История римского права, в котором он первый доказал беспрерывное существование римских законов в Европе

[9*] Профессор теологии, глубокомысленнейший из протестантских рационалистов и красноречивейший из немецких проповедников. Его перевод Платона, соединяющий близость с изяществом, почитается лучшим изо всех переводов сего философа, не исключая даже знаменитого перевода Кузеня [16].

с) РУССКИЕ АЛЬМАНАХИ НА 1832 ГОД

До сих пор вышло более десяти альманахов на 1832 год. Между ними «Альциона», изданная бароном Розеном, замечательна превосходными стихами Жуковского, стихами Пушкина, кн. Вяземского и прозою Марлинского и Сомова. Но без сравнения отличаются от всех других альманахов «Северные цветы», блестящие именами Дмитриева (И. И.), Жуковского, Пушкина, кн. Вяземского, Баратынского, Языкова и даже Батюшкова и покойного Дельвига. Вот уже год прошел с тех пор, как Дельвига не стало, с тех пор, как преждевременная смерть ненавистною рукою вырвала его из круга друзей и тихой, поэтической деятельности.

Он был поэт: беспечными глазами [10*]
Смотрел на мир, — и миру был чужой [1];
Он сладостно беседовал с друзьями;
Он красоту боготворил душой;
Он воспевал счастливыми стихами
Харит, вино, и дружбу, и покой.

. . . .

Любовь он пел: его напевы [11*]
Блистали стройностью живой,
Как резвый стан и перси девы,
Олимпа чашницы младой.
Он пел вино: простой и ясной
Стихи восторг одушевлял;
Они звенели сладкогласно,
Как в шуме вольницы прекрасной

10* Стихи сии взяты из «Песни» Н. М. Языкова, напечатанной в «Северных цветах», 1832.

11* Из посланья Языкова к Дельвигу, напечатанного там же.

Фиял, целующий фиял.
И девы русские пристрастно
Их повторяют . . . .
. . . .
Таков он был, хранимый Фебом,
Душой и лирой древний грек.
. . . .
Его уж нет. Главой беспечной
От шума жизни скоротечной,
Из мира, где все прах и дым,
В мир лучший, в лоно жизни вечной
Он перелег. Но лиры звон
Нам навсегда оставил он [2].

Дельвиг писал немного и печатал еще менее; но каждое произведение его дышит зрелостью поэтической мечты и доконченностью классической отделки. Его подражания древним более, чем все русские переводы и подражания, проникнуты духом древней простоты, греческою чувствительностью к пластической красоте и древнею, детскою любовью к чистым идеалам чувственного совершенства. Но та поэзия, которою исполнены русские песни Дельвига, ближе к русскому сердцу; в этих песнях отзывается гармонически отголоском задумчивая грусть и поэтическая простота наших русских мелодий. Выписываем в доказательство одну из песен Дельвига, напечатанных в последних «Северных цветах», которая принадлежит к числу лучших его песен:

Как за реченькой слободушка стоит;
По слободке той дороженька бежит;
Путь-дорожка широка, да не длинна;
Разбегается в две стороны она:
Как налево — на кладбище к мертвецам;

А направо — к закавказским молодцам.
Грустно было провожать мне, молодой,
Двух родимых и по той и по другой!
Обручальника по левой проводя,
С плачем матерью-землей покрыла я;
А налетный друг уехал по другой,
На прощанье мне кивнувши головой.

Оценить беспристрастно и подробно стихотворения Дельвига была бы немаловажная услуга русской литературе, и это одна из лучших задач, предстоящих нашим критикам.

Повесть Батюшкова [3], напечатанная в «Северных цветах», отличается его обыкновенною звучностью и чистотою языка. Стихи Дмитриева [4] также напомнили нам живо его прежнюю поэзию; прочтя их, кто не повторит вместе с Жуковским:

Нет, не прошла, певец наш вечно юный,
Твоя пора: твой гений бодр и свеж;
Ты пробудил давно молчавши струны, —
И звуки нас пленили те ж.

Этот «Ответ» [5] Жуковского исполнен самых свежих красот, самого поэтического чувства и самого трогательного воспоминания.

К названному нами присовокупим еще: «Сражение с Змеем», перевод Жуковского из Шиллера; «А. А. Дельвигу» Языкова; «Моцарт и Сальери» Пушкина; «До свидания» кн. Вяземского — и вот лучшие украшения «Северных цветов» нынешнего года, богатых еще многими прекрасными стихами и прозою. Вообще появление их можно поставить в число самых замечательных событий текущей литературы.

‹И. В. Киреевский›

d) АНТИКРИТИКА

В 10-м № «Телескопа» 1831 года помещен разбор «Наложницы», на который, хотя поздно, мы позволим себе несколько замечаний.

Критик, порицая, во-первых, самое имя поэмы, старается доказать, что, хотя не в названии дело, название много значит. «Имя не безделица, — говорит он, — по имени встречают, а по уму провожают; но для того, чтобы проводить, без сомнения, надобно прежде встретить».

Автор назвал поэму свою «Наложницей», потому что не нашел названия точнее. Он не полагал его неблагопристойным, ибо его употребляют даже в учебных книгах. В любой из них прочтете: турецкий султан имеет столько-то жен и столько-то *наложниц*. Он не почитал его низким, ибо оно употребляется поэтами. В «Борисе Годунове» Марина говорит Самозванцу: вверяюся тебе

> Не как раба желаний легких мужа,
> *Наложница* безмолвная твоя [1]. —

Ежели не слово, то самый полный его смысл в ежедневном разговорном обращении. Все говорят, не краснея, о любовницах Людвига XIV. Должно заметить, что заменяют словом «любовница» другое, порицаемое критиком более в избежание педантизма, нежели неблагопристойности. Конечно, из двух однозначных слов одно почитается пристойным, другое непристойным. Но кто немного подумает, тот увидит, что либо общество, которому они принадлежат преимущественно, либо нравы людей, у которых они чаще на языке, приобщают их к словам, не оскорбляющим стыдливости, или кладут на них печать отвержения; но слово «наложница», не принадлежащее

языку разговорному, не употребительное нигде, слово книжное, может быть пристойным или непристойным только по существенному своему значению. Мы уже доказали, что светская утонченность не оскорбляется смыслом слова «наложница»; следовательно, автор поэмы под сим именем мог употребить его, не заслуживая порицания.

По имени встречают, говорит критик: это справедливо; но кому вредит автор, назвав поэму свою «Наложницей», ежели в самом деле это название так ужасно? Одному себе. Многие, испугавшись имени, не прочтут сочинения и, что еще хуже, не купят его; но в таком случае автор не подвергается осуждению моралиста, а только литературный делец может сердечно пожалеть о неловкости писателя, не умеющего сбывать с рук свои сочинения.

«Сам сочинитель, — говорит далее критик (стр. 223), — кажется, чувствовал, что впечатление, им производимое, не совсем может быть выгодным, ибо поспешил вооружиться предисловием, в котором, рассуждая о нравственности литературных произведений, старается укрепить ее за новым своим произведением и тем обнаруживает желание предупредить соблазн, которого, очевидно, страшится». На странице же 238, изрекая окончательный суд поэме, критик объявляет ее *совершенно невинной*.

Следственно, критик в отношении к нравственности порицает в «Наложнице» одно название; но автор не защищает его в своем предисловии, он даже о нем не упоминает; следственно, это предисловие писано не с тою целью, которую предполагает критик. Настоящая цель его очевидна: желание решить вопрос, — в чем состоит нравственность литературных произведений?

Критик, разбирая предисловие, укоряет автора в том, что он почитает литературу наукою, а не искусством, что он предлагает искать в ней истины, а не изящного (стр. 229—230). «В изящном зрелище действительности, — говорит критик, — эстетическая нравственность литературных произведений. Они должны быть изящны, и довольно» (стр. 232).

Автору принадлежит вопрос, в чем состоит нравственность литературных произведений? Он говорит о литературе только в отношении ее к нравственности: он моралист, а не эстетик, и должен рассматривать литературу не как искусство, но как стихию, в одном случае вредоносную, в другом — благодетельную. Он не называет ее наукою и уподобляет науке. Таковые подобия весьма позволены, и мы увидим ниже, что сам критик на них не скупится. Сравнение это довольно точно, ибо литература весьма немногих занимает как искусство, как способ творить изящное; всех же остальных занимает она как представление жизни, как самая жизнь, ибо философия сознала тождество бытия и мысли. Жизнь есть наука в обширном ее смысле, в смысле, в котором принимает ее автор предисловия.

Сочинитель, говоря о нравственности литературных произведений, не ищет ее в их изяществе, потому что он ищет условий нравственности для всех произведений словесности, а не для одних изящных. Изящное произведение всегда нравственно, положим; но оно может быть нравственным и не будучи изящным; что же в таком случае составляет его нравственность? Нельзя ли найти закона, обнимающего как изящные, так и неизящные творения? Автор видит его в истине показаний. С сим положением кри-

тик согласен, ежели оно относится к литературе вообще (стр. 232). Приходится ли оно к изящной? Посмотрим.

Что истинно, то нравственно, говорит автор предисловия. Нет, отвечает критик: что изящно, то нравственно; а в чем дело? В том, что в отношении к нравственности обе формулы однозначительны, с тою разницей, что одна объемлет всю литературу, а другая весьма немногие из ее произведений, с той разницей, что первая идет прямо к делу, а другая требует объяснений. Критик и приводит оные, и, чтобы растолковать читателю, каким образом изящное всегда нравственно, он открывает ему — что бы вы думали? — что изящное всегда истинно. Вот слова его (стр. 232):

«Объяснимся подробнее. Какое существенное назначение всякого изящного творения? Воспроизведение действительной жизни по образцу изящества или, что то же, представление ее в совершенном равенстве с собою. Мысль и действие разлагают элементы, из коих она слагается, порабощая их взаимно друг другу, но изящное произведение должно сдружить их в совершенную гармонию, точно так, как сдружены они рукою всехудожною в великом здании вселенной, которая есть образец высочайшего изящества».

Что говорит критик? Что он признает мир действительный образцом высочайшего изящества; но, сказав выше, что нравственность литературных произведений в их изяществе, он признает его в то же время образцом высочайшей нравственности; из чего следует, что творение не может быть ни изящным, ни нравственным иначе, как будучи истинным.

«Неоспоримо, — продолжает критик, — что гармония, составляющая изящество великой вселенной, для

нашего человеческого уха, постигающего ее только в отдельных частях и дробных отрывках, звучит нередко яркими диссонансами: но сии диссонансы спасаются в всеобщей симфонии бесчисленных аккордов бытия, открывающейся иногда и нам в минуты превыше-земного одушевления».

Что это значит, ежели не то, что, творя изящное, мы угадываем истинное и что чем изящнее творение, тем оно истиннее? Ибо сам критик говорит, что в минуты превыше-земного одушевления, т. е. художественного творчества, нам открывается симфония бесчисленных аккордов бытия, т. е. что в эти минуты мы видим яснее настоящее устройство вселенной, следственно, глядим на нее с точки зрения самой истинной?

Зачем же критик требует от сочинителя предисловия, чтобы он сказал: что изящно, то нравственно, а не что истинно, то нравственно, когда он сам первое положение доказывает последним? когда из собственных слов его явствует, что одно положение заключено в другом; когда одна формула частная, а другая всеобъемлющая, что именно было нужно для его рассуждения?

Из собственных доводов критика следует, что творение не может быть изящным иначе, как будучи истинным; но он объявил уже, что ежели оно изящно, оно нравственно; следовательно, ежели оно истинно, то тоже нравственно. Это рассуждение имеет всю ясность и всю силу математического доказательства и забавно напоминает аксиому: два количества, равные одному третьему, равны между собою. Это не вредит автору предисловия и доказывает ясно, что формула, им употребляемая, приходится литературе вообще и литературе изящной в особенности; следо-

вательно, он употребил ту самую формулу, которую надлежало, ибо определено ею, в чем состоит нравственность литературных произведений как изящных, так и неизящных.

«Автор, — говорит далее критик (стр. 234), — горько жалуется на журналистов, которые требуют от поэтов, чтобы они воспевали добродетели, а не пороки, изображали лица, достойные подражания. Не можем не подивиться добродушию автора предисловия, который считает достойными опровержения такие нелепые требования. Не более следовало уделить внимания людям, называющим нравственными произведения только те, в которых наказывается порок и награждается добродетель, ежели еще таковые люди существуют в наше время».

Предоставляем судить публике, существуют или нет предрассудки, которые опровергает автор предисловия; а ежели существуют, — чем предрассудок нелепее, тем он достойнее опровержения. Но когда бы сии предрассудки принадлежали даже и немногим, можно ли оставлять их без внимания в сочинении умозрительном? Что бы сказал критик о сочинителе курса математики, который пропустил бы в нем начальные теоремы, оправдываясь тем, что решение их довольно известно?

«Напрасно автор предисловия уверяет, что не все пороки имеют вид решительно гнусный. Шуточные стихи Панара[2], которыми он старается подкрепить мысль свою, ничего не доказывают. Ежели некоторые пороки и кажутся нам иногда привлекательными, то это не почему иному, как потому, как представляются нам не в истинном виде. Сократ говаривал, что если бы добродетель могла явиться в человеческом образе, то нельзя было бы не полюбить ее всем серд-

цем; противное должно сказать о пороке: это положительное безобразие!»

Автор доказывает свое положение не одними стихами Панара, которые он выписывает не в довод, а в объяснение своей мысли. Наши добрые и злые качества так смежны, говорит он, что нельзя провести разделяющей линии между ними. В этом случае отменно истинны стихи Панара:

Trop de froideur est indolence,
Trop d'activité turbulence,
Trop de rigueur est dureté etc *.

Вот естественная причина той привлекательности, которую имеют иные пороки: мы обмануты сходством их со смежными им добродетелями; но должно заметить, что в самом увлечении нашем мы поклоняемся доброму началу, а не злому.

Автор показывает ясно, о каких пороках он говорит: о пороках, смежных с добродетелями, о пороках, могущих нас обмануть сходством своим с ними. Сколько есть людей, готовых принять в себе и в других расточительность за щедрость, упрямство за твердость, гордость за самочувствие и т. д. Кто сомневается в том, что пороки всегда остаются пороками и чем-нибудь да отличаются от добродетелей? Но ежели в действительном их присутствии мы можем обмануться, нас по необходимости может подвергнуть тому же заблуждению и их искусственное изображение. Отчего? Оттого, что они не имеют вида решительно гнусного; оттого (поневоле повторяем фразу автора),

---

* Избыток холодности есть бесстрастие, избыток деятельности — шумливость, избыток суровости — жестокость и т. д. (*фр.*)

что они сходствуют с добродетелями, к которым примыкают.

Желание Сократа не опровергает, а подтверждает замечания автора. Он говорит: добродетель прекрасна; но, желая, чтобы она приняла видимый образ и тем покорила сердца людские, он ясней показывает, что в действительности она, по его мнению, никогда не предстает нам в полной своей красоте, из чего (следуя примеру критика) мы можем заключить, что, по мнению Сократа, и порок никогда не предстает нам в полном своем безобразии. Одно из двух: либо Сократ сетует, что ни добродетель, ни порок не являются нам без примеси, либо он находит, что любовь к добродетели, отвращение от порока, т. е. законы нравственности, не довольно ясно истекают из воззрения на действительность; сии оба смысла в пользу автора предисловия и доказывают только, что во многих случаях не от сочинителя такого-то и такого-то произведения должно требовать больше осмотрительности, а от судей его больше справедливости или внимания.

«Хладнокровный отчет, передающий официальные извлечения из архивов соблазна и преступлений, сколько бы ни был справедлив и полон, есть произведение безобразное и безнравственное, или лучше: тем безобразнее и безнравственнее, чем справедливее и полнее».

В государствах, где судопроизводство публично, печатают уголовные процессы со всеми их подробностями; кажется, это в точном смысле извлечения из архивов соблазна и преступления. Никто, однако ж, не подозревал до сих пор, что собрание уголовных процессов может иметь безнравственное влияние. Одни любострастные повести могут вредить нрав-

ственности; но автор сказал в своем предисловии, почему показания их неполны. Мы отвечали на все замечания критика касательно предисловия; доказали, что критик или не понял, или не хотел понять его, ибо он беспрестанно отклоняется от настоящего вопроса и говорит о законах изящного, когда дело идет о законах нравственности. Он не опровергает ни в чем автора предисловия и повторяет другими словами его мысли. Чтобы опровергнуть предисловие, следовало опровергнуть основную мысль его: *что истинно, то нравственно.* Не только он не опровергает оную, но и сам на нее опирается как на неоспоримую аксиому. Он упрекает автора в смешении понятий, в том, что он не умеет отличить литературы изящной от литературы вообще. Этот упрек принадлежит ему с большой справедливостью, и мы произносим его несамопроизвольно, но основываясь на неоспоримых доказательствах. Читатель чувствует, что критика, заключающая в себе столько противоречий, такое отсутствие всякой последовательности в мыслях и доводах, с одной стороны подвергаясь нещадным уликам анализа, с другой может повеселить охотника до шуток; но орудие шутки сделалось в наше время слишком обыкновенным. Кто не смеется? Взгляните на наших полемиков! У всех на устах ядовитая улыбка Вольтера, у всех под пером его ирония. Мы приводили одни доказательства: нам это показалось убедительнее и новее.

Далее, в нескольких словах, критик отдает отчет в самой поэме и, пользуясь тем, что автор в своем предисловии полагает, что нравственность литературных произведений состоит в истине и полноте показания, он не находит в поэме ни полноты, ни истины, из чего заключает, что поэма безнравственна,

однако безвредна, потому что ничтожна. Зачем было автору видеть нравственность в истине? Критик поражает его собственным его орудием. Не легче ли было бы ему, если б он находил ее в изяществе, как то требует его критика? Поэма, сказал бы он, весьма неизящна, следственно, по собственному сознанию автора, весьма безнравственна; но утешим его; она безвредна, потому что ничтожна.

Выписываем то, что может почесться положительным обвинением, и просим читателя заглянуть в № 10 «Телескопа», дабы увериться, что мы нисколько не ослабляем замечаний критика и, когда можно, пользуемся собственными его словами.

Вся поэма кажется ему самопроизвольным сцеплением случаев, следственно, неестественной, потому что:

1-е. Елецкой, оледеневший в распутстве до хвастовства развратом, не мог воспламениться к Вере идеальною любовию.

2-е. Елецкой не мог обратить на себя внимания Веры только тем, что подал ей на бульваре уроненную перчатку.

3-е. Дядя Веры не мог сесть ошибкою в карету [3], подосланную Елецким, ибо знал в лицо своего лакея.

4-е. Вера не могла согласиться так скоро на побег с Елецким, оглашенным развратником, которого смуглая однодомка была его знакомкой.

5-е. Приворотное питье обратилось в яд неведомо каким образом.

Поэма ничтожна, потому что, кроме Сары, все лица без физиогномии; а Елецкой не что иное, как темный силуэт Онегина.

1-е. Хвастовство развратом нисколько не показывает оледенелости в распутстве. Хвастливость эта

в особенности свойственна самой пылкой, самой неопытной молодости. Желание первенствовать между повесами не есть еще любовь к разврату, это не что иное, как дурно направленное славолюбие. Сей последний недостаток и выставлен в Елецком. Из него не следует сердечного охлаждения; напротив, он свидетельствует особенную способность к увлечению. Следственно, Елецкой весьма мог возгореться к Вере любовью, свойственною пылкому молодому человеку.

2-е. На это не нужно отвечать. Кто пересмотрит поэму, тот увидит, что не одна поданная перчатка обращает внимание Веры на Елецкого и что половины случаев, действующих на ее воображение, достаточно, чтобы вскружить голову даже и неромантической девушке.

3-е. Сесть в чужую карету, в чужие сани, заехать к незнакомым вместо знакомых, обманувшись легким сходством домов, — случаи весьма обыкновенные. В обществе ежедневно рассказывают анекдоты этого рода, и это случается без приготовления, среди белого дня, на всевозможном просторе; удивительно ли, что дядя Веры вдался в обман в тесноте театрального разъезда, в торопливости, с которою обыкновенно садятся в поданную карету, боясь, чтобы ее не отогнали? До того ли тут, чтобы подозрительно разглядывать физиономию своего лакея? И зачем ее разглядывать? Из боязни романтического происшествия? Но в это время повесть Елецкого еще не была обнародована. Ныне, когда она напечатана, можно в подобном случае винить почтенных родственников в преступной неосмотрительности; но дядя Веры очень простителен.

4-е. Вера совсем не скоро соглашается на побег с Елецким; это согласие приготовлено всею повестью.

Всякий беспристрастный читатель видит, что Вере не мудрено было влюбиться в Елецкого, а ежели она могла влюбиться, она могла и действовать как влюбленная. Елецкой не развратник в глазах Веры; он в одном из разговоров с нею внушает ей понятие довольно выгодное о своем характере: он ей истолковывает, что его отступления происходили более от незрелости ума, нежели от испорченного сердца. Вера, уже к нему привязанная (ибо знакомство с Сарой не могло хладить любви ее к Елецкому, напротив, подстрекнуть ее, возбудив в ней ревность), — Вера охотно слушает его извинения, охотно верит в совершенную его перемену, ибо приписывает ее любви, любви к ней, что довольно приятно женскому самолюбию. Елецкой оправдан ее сердцем, но для света, но для дяди он остается оглашенным развратником, и это самое заставляет Веру бежать с Елецким, ибо она чувствует, что никогда не вымолит у своего дяди согласия на их соединение. Как ей не довершить начатое? Как не дать ему счастия, которое она уже безмолвно обещала, слушая влюбленные его признания? И когда Елецкой при первом ее отказе, вынужденном стыдливостью, укоряет ее в кокетстве, она должна показать любовь свою на деле. Не одно красноречие Елецкого в разговоре 7-й главы убеждает ее к побегу, но все же прежние, собственные ее неосторожности; это общая история всех увлечений, и нужно объяснить ее!

5-е. Правда, что автор поэмы не истолковывает, каким образом приворотное питье обратилось в яд. Ему показалось это ненужным. Сколько рассказов о несчастных следствиях невежества, прибегающего к этим колдовским настоям, часто составленным из самых вредных растений! Самому автору внушена раз-

вязка его поэмы подобным рассказом. Он не хотел обременять своей повести лишними подробностями, полагаясь на проницательность читателя. Ежели это недостаток, его легко исправить. При втором издании автор сделает выноску, в которой разрешит это недоумение.

На общие суждения поэмы отвечать нельзя: у всякого свой вкус, свое чувство, свое мнение; только сходство Елецкого с Онегиным кажется довольно странным. Онегин человек разочарованный, пресыщенный; Елецкой страстный, романтический. Онегин отжил, Елецкой только начинает жить. Онегин скучает от пустоты сердца; он думает, что ничто уже не может занять его; Елецкой скучает от недостатка сердечной пищи, а не от невозможности чувствовать: он еще исполнен надежд, он еще верит в счастье и его домогается. Онегин неподвижен, Елецкой действует. Какое же между ними сходство? И вот как у нас критикуют! Вся поэма кажется критику произвольным сцеплением случаев, а во всей поэме только одна случайность: смерть Елецкого; но она, во-первых, оправдана множеством истинных примеров, отнимающих у нее особенную необычайность; во-вторых, она есть, некоторым образом, следствие главной ошибки Елецкого, уповавшего найти счастие в неровном союзе. Унизившись до товарищества с невежеством, он, так или иначе, все был бы его жертвою. Но просим критика найти роман, указать драму, где не было бы ничего случайного! И дельно ли требовать от сочинителя такого насилия? Случай в природе, как и характер. Поэма, вся основанная на случайностях, и поэма вовсе без случайностей — произведения равно неестественные, равно подлежащие осуждению. Перчатка, уроненная Верой, обстоятель-

ство такое же обыкновенное, как обед, как ужин, и в нем мудрено видеть особенную игру судьбы. Все же остальное в поэме: разговор в маскераде, подосланная карета, свидание на балах — все следствие любви и характера Елецкого: он действует и создает обстоятельства. Просим читателя заметить, что каждое из сих обстоятельств довольно обыкновенно и что только в своей совокупности они составляют повесть, поражающую воображение. Спрашивается: в чем искусство романиста, ежели не в этом? И есть ли другой способ быть вместе естественным и занимательным?

Критик оканчивает свои замечания следующими словами: «Считаем ненужным заниматься наружною отделкою сочинения. Дозорчивая наблюдательность „Московского телеграфа" выклевала уже по зернышку все типографические опечатки и другие буквальные недосмотры, следственно, поживиться уже нечем... Желаем, чтобы муза поэта, уважаемого нами более многих других, после прошедших неудачных опытов, изменив ложные понятия об изящном, захотела быть не тем, что ныне, а ... невестою истинно прекрасного!»

Первые строки мы охотно принимаем за иронию, за небрежную, следовательно, тонкую шутку над неблагонамеренною привязчивостию «Московского телеграфа». Не будем оспаривать чувства собственного преимущества, которое их внушило; заметим только, что они не на своем месте и что их могут принять за неосторожное признание. Отдадим справедливость критику: в пристрастном разборе его видно желание быть учтивым, и ежели встречаются выражения неприличия, в этом должно винить не критика, а неопытность его в слоге этого рода. Забавно только,

что в единственном похвальном отзыве, которым он удостоил разбираемого им автора, виден тот же недостаток обдуманности, как и в его осуждениях: ежели все опыты сочинителя «Наложницы» были неудачны, за что же он его уважает?

‹Е. А. Баратынский›

с) О НЕБЕСНЫХ ЯВЛЕНИЯХ

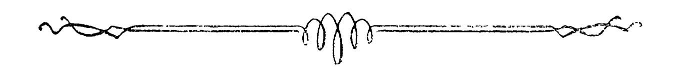
1832-й год будет весьма благоприятен для астрономов и для всех обладателей хороших телескопов: они могут порадоваться следующими явлениями, необнародованными в календарях: 7 планетных затмений Луною, а именно: 4 Сатурновых, 1 Венеры, 1 Меркурия и 1 Урана; 3 затмения звезд первой величины: 2 Альдебарана и одно Регула; прохождение Меркурия перед Солнцем; исчезание Сатурнова кольца и возвращение двух комет.

Первая комета нынешнего года будет комета Энке; она явится в осьмой раз после своего открытия; период ее содержит в себе почти 1212 дней. Самое ближнее стояние ее от Солнца будет 5 мая в 11,868,000 франц. милях; а самое ближнее расстояние от Земли 24 июня 9,349,500 миль.

Вторая комета, известная под именем кометы Бьела, будет в нынешнем периоде своем содержать 2445 дней. Она-то породила столько пустых страхов и опасений столкновения ее с Землею. Но так как эти светила могут доходить до нас под всеми возможными углами, то положив, что ежегодно входит в земную орбиту комета, величиною равная нашему шару, вероятность будет в две тысячи триста двадцать один миллион против единицы, что они столкнуться не могут; следов‹ательно› боязливые умы не имеют при-

чины беспокоиться. По верному расчету явствует, что комета будет в перигелии 27 ноября. Самое ближнее расстояние. ее от Солнца будет тогда в 30,291,000 миль; 7 октября будет она в самом ближнем расстоянии от Земли, в 18,526,500 миль. Из всех известных комет ближе всех к Земле нашей были кометы в 1680, 1684 и 1826 годах; первая из них находилась от нас в 160,800 милях и не причинила никакого расстройства на земном шаре.

Может статься, что обе кометы, Энке и Бьела, пройдут незамеченные особами, невооруженными хорошими телескопами. Пусть те утешатся и терпеливо подождут 1835 года. Тогда явится большая Галлеева комета, в нынешнем периоде своем имеющая 27,997 дней. Она великолепно сияла над землею в 1436-м, в 1531, 1607, 1682 и 1759-м годах и, вероятно, с тем же блистательным сиянием явится и в 1835 году: видима будет во всей Европе и подойдет на самое близкое расстояние к Солнцу около 7 ноября, немного прежде и весь следующий месяц блестеть она будет своим огромным хвостом. Эта комета, столько раз пугавшая невежество, будет гораздо красивее и замечательнее кометы 1811 года, о которой многие сохраняют еще ясное воспоминание.



ЕВРОПЕЕЦ. № 3

I
БОЖИЙ СУД

Был непорочен душой Фридолин; он в страхе господнем
Верно служил своей госпоже, графине Савернской,
Правда, весело было служить ей: она добронравна
Столь благосклонна графиня была, но и тяжкую должность
С кротким терпением он исполнял бы, покорствуя богу.
С самого раннего утра до самыя поздния ночи
Был он всечасно на службе ее, покоя не зная;
Если ж случалось, сказать ей ему: «Фридолин, успокойся!» —
Слезы в его появлялись глазах: за нее и мученье
10 Было бы сладостно сердцу его, и не службой считал он
Легкую службу. За то и его отличала графиня;
Вечно хвалила и прочим слугам в пример подражанья
Ставила; с ним же самим она обходилась как с сыном
Мать, не так как с слугой госпожа. И было приятно
Ей любоваться прекрасным, невинным лицом Фридолина,
То примечая, сокольничий Роберт досадовал; зависть

Грызла его свирепую душу. Однажды, с охоты
С графом вдвоем возвращаяся в замок, Роберт
лукавым
Бесом прельщенный, вот что сказал господину,
стараясь
[20] В сердце его заронить подозрение: «Счастьем
завидным
Бог наградил вас, граф-государь; он дал вам
в супруге
Вашей сокровище; нет ей подобной на свете; как
ангел
Божий прекрасна, добра, целомудренна; спите
спокойно:
Мыслью никто не посмеет приблизиться к ней».
Заблистали
Грозно у графа глаза. «Что смеешь ты бредить?» —
сказал он. —
Женская верность слово пустое; на ней опираться
То же, что строить на зыбкой воде. Берегися как
хочешь:
Все обольститель отыщет дорогу к женскому
сердцу.
Вера моя на другом, твердейшем стоит основанье:
[30] Кто помыслить дерзнет о жене Савернского
графа!» —
«Правда, — коварно ответствовал Роберт, —
подобная дерзость
Только безумному в голову может зайти. Лишь
презренья
Стоит жалкий глупец, который, воспитанный
в рабстве,
Смеет глаза подымать на свою госпожу и,
служа ей,

1832 **N. 3**

ЕВРОПЕЕЦЪ.

I.

БОЖІЙ СУДЪ

Былъ непороченъ душей Фридолинъ; онъ въ страхѣ Господнемъ
Вѣрно служилъ своей госпожѣ, Графинѣ Саверинской.

Правда, весело было служить ей, столь добро равна,

Столь благосклонна Графиня была; но и тяжкую должность
Съ кроткимъ терпѣніемъ онъ исполнялъ бы, покорствуя Богу.
Съ самаго ранняго утра, до самыя поздніи ночи,

Былъ онъ всечасно на службѣ ея, покоя не зная,

Естьлижъ случалось сказать ей ему: Фридолинъ, успокойся!
Слезы въ его появлялись глазахъ: за нее и мученье

Первая страница третьего (невышедшего) номера «Европейца»

В сердце развратном желанья таить.» — «Что
слышу! — воскликнул
Граф, побледневши от гнева, — о ком говоришь ты?
И жив он?» —
«Все об нем говорят, государь; а я из почтенья
К вам, полагая, что все вам известно, молчал.
Что самим вам
В тайне угодно держать, то должно и для нас
быть священной
40 Тайной». — «Злодей, говори! — в исступленьи
ужасном воскликнул
Граф! Ты пропал, когда не скажешь мне правды!
Кто этот
Дерзкий?» — «Паж Фридолин; он молод, лицом
миловиден
(Так шипел предательски Роберт, а графа бросало
В холод и жар от речей ядовитых). Возможно ль
чтоб сами
Вы не видали того, что каждому видно? За нею
Всюду глазами он следует; ей за столом, забывая
Вас, с усердием он служит; за стулом ее, как
волшебной
Силой какою окован, стоит он и рдеет.
Он и стихи написал и в них перед ней признается
50 В нежной любви». — «Признается!» — «И даже
молить о взаимном
Чувстве дерзает. Конечно, графиня, по кротости
сердца,
Скрыла от вас, государь, безумство такое, и сам я
Лучше бы сделал, когда б промолчал: чего вам
страшиться?»
Граф не ответствовал: ярость душила его.
Приближались
В это время они к огромной литейной палате:

Там непрестанно огонь, как будто в адской пучине,
В горнах пылал, и железо, как лава кипя, клокотало;
День и ночь работники там суетились вкруг горнов,
Пламя питая; как вихорь, взвивалися искры; свистали
60 Страшно мехи; колесо под водою, средь брызжущей пены
Тяжко вертелось; и молот огромный, гремя беспрестанно,
Сам, как живой, подымался и падал. Граф, подозвавши
Двух из работников, так им сказал: «Исполните в точности
Волю мою; того, кто первый придет к вам и спросит:
Сделано ль то, что граф приказал? — без всякой пощады
Бросьте в огонь, чтоб его и следов не осталось». С свирепым
Смехом рабы обещались покорствовать графскому слову.
Души их были суровей железа. С удвоенным рвением снова
Начали снова работать они и, убийством заране
70 Жадную мысль веселя, дожидались обещанной жертвы.
С злобною радостью к графу наушник позвал Фридолина.
Граф, увидя его, говорит: «Ты должен, не медля нимало,
В лес пойти и спросить от меня работников горна

Сделали ль то, что я приказал!» — «Исполнено будет», —
Скромно ответствует паж; и готов уже идти, но подумал
Вдруг: не даст ли ему и она приказанья какого?
Вот он к графине идет и ей говорит: «Господином
Послан я в лес; но вы моя госпожа; не угодно ль
Будет и вам чего повелеть?» Ему с благосклонным
80 Взором графиня ответствует: друг мой, к обедне хотелось
Ныне сходить мне, но болен мой сын; сходи, помолися
Ты за меня; а если и сам согрешил, то покайся.
Весело в путь свой пошел Фридолин; и еще из деревни
Он не вышел, как слышит благовест: колокол звонким
Голосом звал христиан на молитву. *«От встречи господней*
Ты уклоняться не должен», — сказал он и в церковь с смиренным
Набожным сердцем вступил; но в церкви пусто и тихо:
Жатва была, и все поселяне работали в поле.
Там стоял священник один: никто не явился
90 Быть на время обедни прислужником в храме. *«Господу богу*
Прежде свой долг отдай, потом господину». С такою
Мыслью усердно он начал служить: священнику ризы
Стóлу и *сингулум* [1] подал; потом приготовил святые
Чаши; потом, молитвенник взявши, стал умиленно

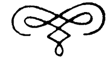
Долг исправлять министранта: и там и тут на колени,
Руки сжав, становился; звонил в колокольчик, как скоро
Провозглашаемо было великое «Sanktus»[2]; когда же
Тайну священник свершил, предстоя алтарю, и возвысил
Руку, чтоб верным явить спасителя-бога в бескровной
100 Жертве, он звоном торжественным то возвестил и смиренно
Пал на колени пред господом, в грудь себя поражая,
Тихо молитву творя и крестом себя знаменуя.
Так до конца литургии он все, что установлено чином,
В храме свершал. Напоследок, окончивши службу святую,
Громко священник воскликнул: Vobiscum Dominus *, верных
Благословил; и церковь совсем опустела; тогда он,
Все в порядок приведши, и чаши, и ризу, и книгу, и утварь,
«Pater noster»[3] двенадцать раз прочитал. Подошедши
К лесу, он видит огромный дымящийся горн; перед горном,
110 Черны от дыма, стоят два работника. К ним обратяся,
«*Сделано ль то, что граф приказал*», — он спросил. И, оскалив

* С вами бог (*лат.*).

Зубы смехом ужасным, они указали на пламень
Горна. Он там! (проревел сиповатый их голос) как должно,
Прибран, и граф нас похвалит. С таким их ответом обратно
В замок пошел Фридолин. Увидя его издалека,
Граф не поверил глазам. Несчастный! откуда идешь ты? —
«Из лесу прямо!» — «Возможно ль? ты, верно, промешкал в дороге». —
«В церковь зашел я. Простите мне, граф-государь; повеленье
Ваше приняв, у моей госпожи, по обычному долгу,
[120] Также спросил я, не будет ли мне и ее приказанья?
Выслушать в церкви обедню она приказала. Исполнив
Волю ее, помолился я там и за здравие ваше».
Граф трепетал и бледнел. «Но скажи мне, — спросил он, —
Что отвечали тебе?» — «Непонятен ответ был. Со смехом
Было на горн мне указано. Там он! (сказали) как должно,
Прибран, и граф нас похвалит!» — «А Роберт? — спросил, леденея
В ужасе, граф. — Ты с ним не встречался? Он послан был мною
В лес». — Государь, ни в лесу, ни в поле, нигде я не встретил
Роберта.» — «Ну!» — вскричал уничтоженный граф, опустивши
[130] В землю глаза. — Сам бог решил правосудный!» И, с кроткой

Ласкою за руку взяв Фридолина, с ним вместе пошел он
Прямо к супруге и ей (хотя сокровенного смысла
Речи его она не постигла) сказал, представляя
Милого юношу, робко пред ними склонившего очи:
«Он, как дитя, непорочен; нет ангела на небе чище;
Враг коварен, но с ним господь и всевышние силы».

В. Жуковский



II

ОПАЛ

(Волшебная сказка)

Царь Нурредин шестнадцати лет взошел на престол сирийский. Это было в то время, когда, по свидетельству Ариоста[1], дух рыцарства подчинил все народы одним законам чести, и все племена различных исповеданий соединил в одно поклонение красоте.

Царь Нурредин не без славы носил корону царскую; он окружил ее блеском войны и побед, и гром оружия сирийского разнес далеко за пределы отечественные. В битвах и поединках, на пышных турнирах и в одиноких странствиях, среди мусульман и неверных, — везде меч Нурредина оставлял глубокие следы его счастия и отважности. Имя его часто повторялось за круглым столом двенадцати храбрых и многие из знаменитых сподвижников Карла[2] носили на бесстрашной груди своей повесть о подвигах Нурредйновых, начертанную четкими рубцами сквозь их порубленные брони.

Так удачею и мужеством добыл себе сирийский царь и могущество и честь; но оглушенное громом брани сердце его понимало только одну красоту — опасность и знало только одно чувство — жажду славы, неутолимую, беспредельную. Ни звон стаканов, ни песни трубадуров, ни улыбка красавиц, не прерывали ни на минуту однообразного хода его мыслей; после битвы готовился он к новой битве; после победы искал он не отдыха, но задумывался о новых победах, замышлял новые труды и завоевания.

Несмотря на то, однако, случилось, что Сирия

была в мире со всеми соседями, когда Оригелл, царь китайский, представил мечу Нурредина новую работу. Незначительные распри между их подданными дошли случайно до слуха правителей; обида росла взаимностью, и скоро смерть одного из царей стала единственным честным условием мира.

Выступая в поход, Нурредин поклялся головою и честью перед народом и войском: до тех пор не видать стен дамасских, покуда весь Китай не покорится его скипетру и сам Оригелл не отплатит своею головою за обиды, им нанесенные. Никогда еще Нурредин не клялся понапрасну.

Через месяц все области китайские, одна за другою, поклонились мечу Нурредина. Побежденный Оригелл с остатком избранных войск заперся в своей столице. Началась осада.

Не находя средств к спасению, Оригелл стал просить мира, уступая победителю половину своего царства. Нурредин отвечал, что со врагами не делится, — и осада продолжается.

Войско Оригеллово ежедневно убывает числом и упадает духом; запасы приходят к концу; Нурредин не сдается на самые униженные просьбы.

Уныние овладело царем китайским; всякий день положение Оригелла становится хуже; всякий день Нурредин приобретает новую выгоду. В отчаяньи, китайский царь предложил Нурредину все свое царство китайское, все свои владения индийские, все права, все титлы, с тем только, чтобы ему позволено было вывести свои сокровища, своих жен, детей и любимцев. Нурредин оставался неумолим, — и осада продолжается.

Наконец, видя неизбежность своей погибели, Оригелл уступает все, и сокровища, и любимцев, и де-

тей, и жен, и просил только о жизни. Нурредин, припомнив свою клятву, отверг и это предложение.

Осада продолжается ежедневно сильнее, ежедневно неотразимее. Готовый на все, китайский царь решился испытать последнее, отчаянное средство к спасению: чародейство.

В его осажденной столице стоял огромный, старинный дворец, который уже более века оставался пустым, потому что некогда в нем совершено было ужасное злодеяние, столь ужасное, что даже и повесть о нем исчезла из памяти людей; ибо кто знал ее, тот не смел повторить другому, а кто не знал, тот боялся выслушать. От того преданье шло только о том, что какое-то злодеяние совершилось и что дворец с тех пор оставался нечистым. Туда пошел Оригелл, утешая себя мыслью, что хуже того, что будет, не будет.

Посреди дворца нашел он площадку; посреди площадки стояла палатка с золотою шишечкой; посреди палатки была лестница с живыми перильцами; лестница привела его к подземному ходу; подземный ход вывел его на гладкое поле, окруженное непроходимым лесом; посреди поля стояла хижина; посреди хижины сидел дервиш и читал Черную Книгу. Оригелл рассказал ему свое положение и просил о помощи.

Дервиш раскрыл Книгу Небес и нашел в ней, под какою звездою Нурредин родился и в каком созвездии та звезда, и как далеко отстоит она от подлунной земли.

Отыскав место звезды на небе, дервиш стал отыскивать ее место в судьбах небесных и для того раскрыл другую книгу, Книгу Волшебных Знаков, где на черной странице явился перед ним огненный круг:

много звезд блестело в кругу и на окружности, иные внутри, другие по краям; Нурредйнова звезда стояла в самом центре огненного круга.

Увидев это, колдун задумался и потом обратился к Оригеллу со следующими словами:

«Горе тебе, царь китайский, ибо непобедим твой враг и никакие чары не могут преодолеть его счастия; счастие его заключено внутри его сердца, и крепко создана душа его, и все намерения его должны исполниться; ибо он никогда не желал невозможного, никогда не искал несбыточного, никогда не любил небывалого, а потому и никакое колдовство не может на него действовать!»

«Однако, — продолжал дервиш, — я мог бы одолеть его счастье, я мог бы опутать его волшебствами и наговорами, если бы нашлась на свете такая красавица, которая могла бы возбудить в нем такую любовь, которая бы подняла бы его сердце выше звезды своей и заставила бы его думать мысли невыразимые, искать чувства невыносимого и говорить слова непостижимые; тогда мог бы я погубить его.

Еще мог бы я погубить его, когда бы нашелся в мире такой старик, который бы пропел ему такую песню, которая унесла бы его за тридевять земель, в тридесятое государство, куда звезды садятся.

Еще мог бы я погубить его тогда, когда бы в природе нашлось такое место, с горами, с пригорками, с лесами, с долинами, с реками, с ущельями, такое место, которое было бы так прекрасно, чтобы Нурредин, засмотревшись на него, позабыл хотя бы на минуту обыкновенные заботы текущего дня.

Тогда мои чары могли бы на него действовать.

Но на свете нет такой красавицы, нет в мире такого старика, нет такой песни, и нет такого места в природе.

Потому Нурредин погибнуть не может.

А тебе, китайский царь, спасения нет и в чародействах».

При этих словах чернокнижника отчаянье Оригелла достигло высшей степени, и он уже хотел идти вон из хижины дервиша, когда последний удержал его следующими словами:

«Погоди еще, царь китайский! еще есть одно средство погубить твоего врага. Смотри: видишь ли ты звезду Нуррединову? Высоко, кажется, стоит она на небе; но, если ты захочешь, мои заклинанья пойдут еще выше. Я сорву звезду с неба; я привлеку ее на землю; я сожму ее в скорлупку; я запру ее в темницу крепкую, — и спасу тебя; но для этого государь должен ты поклониться моему владыке и принести ему жертву подданическую».

Оригелл согласился на все. Трын-трава закурилась, знак начерчен на земле, слово произнесено, и обряд совершился.

В эту ночь, — войска отдыхали и в городе и в стане, — часовые молча ходили взад и вперед, и медленно перекликались; вдруг: какая-то звездочка сорвалась с неба и падает, падает — по темному своду, за темный лес; часовые остановились, звезда пропала — куда? неизвестно; только там, где она падала, струилась еще светлая дорожка, и то на минуту; опять на небе темно и тихо; часовые опять пошли своею указанною дорогою.

Наутро оруженосец вошел в палатку Нурредина: «Государь! какой-то монах с горы Араратской про-

сит видеть светлое лицо твое; он говорит, что имеет важные тайны сообщить тебе».

«Впусти его!»

«Чего хочешь ты от меня, святой отец?»

«Государь! шестьдесят лет не выходил я из кельи, в звездах и книгах испытуя премудрость и тайны создания. Я проник в сокровенное природы; я вижу внутренность земли и солнца; будущее ясно глазам моим; судьба людей и народов открыта передо мною!..»

«Монах! чего хочешь ты от меня?»

«Государь! я принес тебе перстень, в котором заключена звезда твоя. Возьми его, и судьба твоя будет в твоих руках. Если ты наденешь его на мизинец левой руки и вглядишься в блеск этого камня, то в нем предстанет тебе твое счастие; но там же увидишь ты и гибель свою, и от тебя одного будет зависеть тогда твоя участь, великий государь ...»

«Старик! — прервал его Нурредин, — если все сокровенное открыто перед тобой, то как же осталось для тебя тайною то, что давно известно всему миру? — Может быть, только ты один не знаешь, столетний отшельник, что судьба Нурредина и без твоего перстня у него в руках, что счастие его заключено в мече его. Не нужно мне другой звезды, кроме той, которая играет на этом лезвии, — смотри, как блещет это железо — и как умеет оно наказывать обманщиков!..»

При этом слове Нурредин схватил свой меч; но когда обнажил его, то старый монах был уже далеко за палаткою царскою, по дороге к неприятельскому стану. Через несколько минут оруженосец снова вошел в ставку Нурредина.

«Государь! монах, который сей час вышел от тебя, возвращался опять. Он велел мне вручить тебе этот перстень и просить тебя собственными глазами удостовериться в истине его слов».

«Где он? Приведи его сюда?»

«Оставя мне перстень, он тотчас же скрылся в лесу, который примыкает к нашему лагерю, и сказал только, что придет завтра».

«Хорошо. Оставь перстепь здесь, и когда придет монах, пусти его ко мне».

Перстень не блестел богатством украшений. Круглый опал, обделанный в золоте, тускло отливал радужные краски.

«Неужели судьба моя в этом камне? — думал Нурредин. — Завтра вернее узнаешь ты свою судьбу от меня, дерзкий обманщик! . .» И между тем царь надевал перстень на мизинец левой руки и, смотря на переливчатый камень, старался открыть в нем что-нибудь необыкновенное.

И в самом деле, в облачно-небесном цвете этого перстня был какой-то особенный блеск, которого Нурредин не замечал прежде в других опалах. Как будто внутри его была спрятана искорка огня, которая играла и бегала, то погасала, то снова вспыхивала и при каждом движении руки разгоралась все ярче и ярче.

Чем более Нурредин смотрел на перстень, тем яснее отличал он огонек и тем прозрачнее делался камень. Вот огонек остановился яркою звездочкой, глубоко внутри опала, которого туманный блеск разливался внутри него, как воздух вечернего неба, слегка подернутого легкими облаками.

В этом легком тумане, в этой светлой, далекой звездочке было что-то неодолимо привлекательное

для царя сирийского; не только не мог он отвести взоров от чудесного перстня, но, забыв на это время и войну и Оригелла, он всем вниманием и всеми мыслями утонул в созерцании чудесного огонька, который, то дробясь на радугу, то опять сливаясь в одно солнышко, выростал и приближался все больше и больше.

Чем внимательнее Нурредин смотрел внутрь опала, тем он казался ему глубже и бездоннее. Мало-помалу золотой обручик перстня превратился в круглое окошечко, сквозь которое сияло другое небо, светлее нашего, и другое солнце, такое же яркое, лучезарное, но как будто еще веселее и не так ослепительно.

Это новое небо становилось беспрестанно блестящее и разнообразнее; это солнце все больше и больше; вот оно выросло огромнее надземного, еще ярче, еще торжественнее, и хотя ослепительно, но все ненаглядно и привлекательно; быстро катилось оно ближе и ближе; или лучше сказать, Нурредин не знал, солнце ли приближается к нему, или он летит к солнцу.

Вот новое явление поражает его напряженные чувства: из-под катящегося солнца исходит глухой и неявственный гул, как бы рев далекого ветра или как стон умолкающих колоколов; и чем ближе солнце, тем звонче гул. Вот уж слух Нурредина может ясно распознать в нем различные звуки: будто тысячи арф разнострунными звонами сливаются в одну согласную песнь; будто тысячи разных голосов различно строются в одно созвучие, то умирая, то рождаясь и все повинуясь одной, разнообразно переливчатой, необъятной гармонии.

Эти звуки, эти песни проникли до глубины души Нурредина. В первый раз испытал он, что такое восторг. Как будто сердце его, дотоле немое, пораженное голосом звезды своей, вдруг обрело и слух и язык; так, как звонкий металл, первый раз вынесенный на свет рукою искусства, при встрече с другим металлом, потрясается до глубины своего состава и звенит ему звуком ответным. Жадно вслушиваясь в окружающую его музыку, Нурредин не мог различить, что изнутри его сердца, что извне ему слышится.

Вот прикатившееся солнце заслонило собою весь круглый свод своего неба: все горело сиянием; воздух стал жарок, и душен, и ослепителен; музыка превратилась в оглушительный гром; но вот — пламя исчезло, замолкли звуки, и немое солнце утратило лучи свои, хотя еще не перестало расти и приближаться, светя холодным сиянием восходящего месяца. Но, беспрестанно бледнея, скоро и это сияние затмилось; солнце приняло вид земли, и вот — долетело... ударило... перевернулось... и — где земля? где перстень?... Нурредин, сам не ведая как, очутился на новой планете.

Здесь все было странно и невидано: горы, насыпанные из граненых бриллиантов; огромные утесы из чистого серебра, украшенные самородными рельефами, изящными статуями, правильными колоннами, выросшими из золота и мрамора. Там ослепительные беседки из разноцветных кристаллов. Там роща, — и прохладная тень ее исполнена самого нежного, самого упоительного благоухания. Там бьет фонтан вином кипучим и ярким. Там светлая река тихо плещется о зеленые берега свои; но в этом плескании, в этом говоре волн есть что-то разумное, что-то по-

нятное без слов, какой-то мудреный рассказ о несбыточном, но бывалом, какая-то сказка волшебная и заманчивая. Вместо ветра здесь веяла музыка; вместо солнца здесь светил сам воздух. Вместо облаков летали прозрачные образы богов и людей: как будто снятые волшебным жезлом с картины какого-нибудь великого мастера, они, легкие, вздымались до неба и, плавая в стройных движениях, купались в воздухе.

Долго сирийский царь ходил в сладком раздумьи по новому миру, и ни взор его, ни слух ни на минуту не отдыхали от беспрестанного упоения. Но посреди окружавших его прелестей невольно в душу его теснилась мысль другая: он со вздохом вспоминал о той музыке, которую, приближаясь, издавала звезда его; он полюбил эту музыку так, как будто она была не голос, а живое создание, существо с душою и с образом; тоска по ней мешалась в каждое его чувство, и услышать снова те чарующие звуки стало теперь его единственным, болезненным желанием.

Между тем в глубине зеленого леса открылся перед ним блестящий дворец, чудесно слитый из остановленного дыма. Дворец, казалось, струился и волновался, и переливался, и несмотря на то, стоял неподвижно и твердо в одном положении. Прозрачные колонны жемчужного цвета были увиты светлыми гирляндами из розовых облаков. Дымчатый портик возвышался стройно и радужно, красуясь грацией самых строгих пропорций; огромный свод казался круглым каскадом, который падал во все стороны светлою дугою, без реки и без брызгов: все во дворце было живо, все играло, и весь он казался летучим облаком, а между тем это облако сохраняло постоян-

но свои строгие формы. Крепко забилось сердце Нурединово, когда он приблизился ко дворцу: предчувствие какого-то неиспытанного счастия занимало дух и томило грудь его. Вдруг растворились легкие двери, и в одежде из солнечных лучей, в венце из ярких звезд, опоясанная радугой, вышла девица.

«Это она!» — воскликнул сирийский царь. Нурредин узнал ее. Правда, под туманным покрывалом не видно было ее лица; но по гибкому ее стану, по ее грациозным движениям и стройной поступи, разве слепой один мог бы не узнать на его месте, что эта девица была та самая Музыка Солнца, которая так пленила его сердце.

Едва увидела девица сирийского царя, как в ту же минуту обратилась к нему спиною и, как бы испугавшись, пустилась бежать вдоль широкой аллеи, усыпанной мелким серебряным песком. Царь за нею.

Чем ближе он к ней, тем шибче бежит девица, и тем более царь ускоряет свой бег.

Грация во всех ее движениях; волосы развеялись по плечам; быстрые ножки едва оставляют на серебряном песку свои узкие, стройные следы; но вот уж царь не далеко от нее; вот он настиг ее, хочет обхватить ее стройный стан, — она мимо быстро, быстро... как будто Грация обратилась в Молнию; легко, красиво... как будто Молния обернулась в Грацию.

Девица исчезла; царь остался один, усталый, недовольный. Напрасно искал он ее во дворце и по садам; нигде не было и следов девицы. Вдруг из-за куста ему повеяло музыкой, как будто вопрос: за чем пришел ты сюда?

«Клянусь красотою здешнего мира, — отвечал Нурредин, — что я не с тем пришел сюда, чтобы вредить тебе, и не сделаю ничего противного твоей воле,

прекрасная девица, если только выйдешь ко мне и хотя на минуту откроешь лицо свое».

«Как пришел ты сюда?» — повеяла ему та же музыка. Нурредин рассказал, каким образом достался ему перстень, и едва он кончил, как вдруг из тенистой беседки показалась ему та же девица; и в то же самое мгновение царь очнулся в своей палатке.

Перстень был на его руке, и перед ним стоял хан Арбаз, храбрейший из его полководцев и умнейший из его советников. «Государь! — сказал он Нурредину — покуда ты спал, неприятель ворвался в наш стан. Никто из придворных не смел разбудить тебя; но я дерзнул прервать твой сон, боясь, чтобы без твоего присутствия победа не была сомнительна».

Суровый, разгневанный взор был ответом министру; нехотя опоясал Нурредин свой меч и тихими шагами вышел из ставки.

Битва кончилась. Китайские войска снова заперлись в стенах своих; Нурредин, возвратясь в свою палатку, снова загляделся на перстень. Опять звезда, опять солнце и музыка, и новый мир, и облачный дворец, и девица. Теперь она была с ним смелее, хотя и не хотела еще поднять своего покрывала.

Китайцы сделали новую вылазку. Сирийцы опять отразили их; но Нурредин потерял лучшую часть своего войска, которому в битве уже немного помогала его рука, бывало неодолимая. Часто в пылу сражения сирийский царь задумывался о своем перстне и посреди боя оставался равнодушным его зрителем, и бывши зрителем, казалось, видел что-то другое.

Так прошло несколько дней. Наконец царю сирийскому наскучила тревога боевого стана. Каждая минута, проведенная не внутри опала, была ему невыносима. Он забыл и славу, и клятву: первый по-

слал Оригеллу предложение о мире и, заключив его на постыдных условиях, возвратился в Дамаск; поручил визирям правление царства, заперся в своем чертоге и под смертною казнию запретил своим царедворцам входить в царские покои без особенного повеления.

Почти все время проводил Нурредин на звезде, близ девицы; но до сих пор еще не видал он ее лица. Однажды, тронутая его просьбами, она согласилась поднять покрывало; и той красоты, которая явилась тогда перед его взорами, невозможно выговорить словами, даже магическими, — и того чувства, которое овладело им при ее взгляде, невозможно вообразить даже во сне. Если в эту минуту сирийский царь не лишился жизни, то, конечно, не от того, чтобы люди не умирали от восторга, а, вероятно, потому только, что на той звезде не было смерти.

Между тем министры Нурредиповы думали более о своей выгоде, чем о пользе государства. Сирия изнемогала от неустройств и беззаконий. Слуги слуг министровых утесняли граждан; почеты сыпались на богатых; бедные страдали; народом овладело уныние, а соседи смеялись.

Жизнь Нурредина на звезде была серединою между сновидением и действительностью. Ясность мыслей, святость и свежесть впечатлений могли принадлежать только жизни на яву; но волшебство предметов, но непрерывное упоение чувств, но музыкальность сердечных движений и мечтательность всего окружающего уподобляли жизнь его более сновидению, чем действительности. Девица Музыка казалась также слиянием двух миров. Душевное выражение ее лица, беспрестанно изменяясь, было всегда согласно с мыслями Нурредина, так что красота ее представ-

лялась ему столько же зеркалом его сердца, сколько отражением ее души. Голос ее был между звуком и чувством, слушая его, Нурредин не знал, точно ли слышит он музыку или все тихо, и он только воображает ее? В каждом слове ее находил он что-то новое для души, а все вместе было ему каким-то счастливым воспоминанием чего-то дожизненного. Разговор ее всегда шел туда, куда шли его мысли, так как выражение лица ее следовало всегда за его чувствами; а между тем все, что она говорила, беспрестанно возвышало его прежние понятия, так как красота ее беспрестанно удивляла его воображение. Часто, взявшись рука с рукою, они молча ходили по волшебному миру; или, сидя у волшебной реки, слушали ее волшебные сказки; или смотрели на синее сияние неба; или, отдыхая на волнистых диванах облачного дворца, старались собрать в определенные слова все рассеянное в их жизни; или, разостлав свое покрывало, девица обращала его в ковер-самолет, и они вместе улетали на воздух, и купались, и плавали среди красивых облаков; или, поднявшись высоко, они отдавались на волю случайного ветра и неслись быстро по беспредельному пространству и уносились, куда взор не дойдет, куда мысль не достигнет, и летели, и летели так — что дух замирал...

Но положение Сирии беспрестанно становилось хуже, и тем опаснее, что в целой Азии совершились тогда страшные перевороты. Древние грады рушились; огромные царства колебались и падали; новые возникали насильственно; народы двигались с мест своих; неизвестные племена набегали неизвестно откуда; пределов не стало между государствами; никто не верил завтрашнему дню; каждый дрожал за текущую минуту; один Нурредин не заботился ни о

чем. Внутренние неустройства со всех сторон открыли Сирию внешним врагам; одна область отпадала за другою, и уже самые близорукие умы начинали предсказывать ей близкую погибель.

«Девица! — сказал однажды Нурредин девице Музыке, — поцелуй меня!»

«Я не могу, — отвечала девица, — если я поцелую тебя, то лишусь своего отличия моей прелести и красотой своей сравнюсь с обыкновенными красавицами подлунной земли. Есть, однако, средство исполнить твое желание, не теряя красоты моей... оно зависит от тебя... послушай, если ты любишь меня, отдай мне перстень свой; блестя на моей руке, он уничтожит вредное действие твоего поцелуя».

«Но как же без перстня прийду я к тебе?»

«Как ты теперь видишь мою землю в этом перстне, так я тогда увижу в нем твою землю; как ты теперь приходишь ко мне, так и я приду к тебе» — сказала девица Музыка, и, одной рукой снимая перстень с руки Нурредина, она обнимала его другою. И в то мгновение, как уста ее коснулись уст Нуррединовых, а перстень с его руки перешел на руку девицы, в то мгновение, продолжавшееся, может быть, не более одной минуты, новый мир вдруг исчез вместе с девицей, и Нурредин, еще усталый от восторга, очутился один на мягком диване своего дворца.

Долго ждал он обещанного прихода девицы Музыки; но в этот день она не пришла; ни через два, ни через месяц, ни через год. Напрасно рассылал он гонцов во все концы света искать араратского отшельника; уже и последний из них возвратился без успеха. Напрасно истощал он свои сокровища, скупая повсюду круглые опалы; ни в одном из них не нашел он звезды своей.

«Для каждого человека есть одна звезда, — говорили ему волхвы, — ты, государь, потерял свою, другой уже не найти тебе!»

Тоска овладела царем сирийским, и он, конечно, не задумался бы утопить ее в студеных волнах своего златопесчаного Бардинеза, если бы только вместе с жизнию не боялся лишиться и последней тени прежних наслаждений — грустного, темного наслаждения: *вспоминать* про свое солнышко!

Между тем тот же Оригелл, который недавно трепетал меча Нурредипова, теперь сам осаждал его столицу. Скоро стены дамасские были разрушены, китайское войско вломилось в царский дворец, и вся Сирия вместе с царем своим подпала под власть китайского императора.

«Вот пример коловратности счастия, — говорил Оригелл, указывая полководцам своим на окованного Нурредина, — теперь он раб и вместе с свободою утратил весь блеск прежнего имени. Ты заслужил свою гибель, — продолжал он, обращаясь к царю сирийскому, — однако я не могу отказать тебе в сожалении, видя в несчастии твоем могущество судьбы еще более, чем собственную вину твою. Я хочу, сколько можно, вознаградить тебя за потерю твоего трона. Скажи мне: чего хочешь ты от меня? О чем из утраченного жалеешь ты более? Который из дворцов желаешь ты сохранить? Кого из рабов оставить? Избери лучшие из сокровищ моих, и, если хочешь, я позволю тебе быть моим наместником на прежнем твоем престоле!»

«Благодарю тебя, государь! — отвечал Нурредин — но из всего, что ты отнял у меня, я не жалею ни о чем. Когда дорожил я властию, богатством и славою, умел я быть и сильным, и богатым. Я ли-

шился сих благ только тогда, когда перестал желать их, и недостойным попечения моего почитаю я то, чему завидуют люди. Суета, все блага земли! суета все, что обольщает желания человека, и чем пленительнее, тем менее истинно, тем более суета! Обман все прекрасное, и чем прекраснее, тем обманчивее; ибо лучшее, что есть в мире, это — мечта».

15 декабря 1830
Москва

‹И. В. Киреевский›

III

ПОЭТ

Радушно рабствует поэту
Животворящая мечта;
Его любовному привету
Не веруй, дева-красота!
Раздумье лени или скуки,
Пустую смесь обычных снов
Он рядит в сладостные звуки, —
В музы́ку мыслей и стихов;
А ты, мой чистый ангел рая,
Ты примешь, очи потупляя,
Их гармоническую ложь;
Поверишь слепо чувствам ясным,
И сердца трепетом прекрасным
Сердечный голос ты поймешь.
Как мило взор его смиренный
Дичится взора твоего;
Кипят, тобою вдохновенны,
Восторги нежные его!

Уже давно под небесами
Ночная тень и тишина.
Не спишь, красавица? — Мечтами
Ты беспокойными полна;
Чуть видны блестки огневые
Твоих лазоревых очей,
Блуждают кудри золотые
По скатам девственных грудей,
Ланиты рдеют пурпуровы,
Упали жаркие покровы

С младого стана и колен...
Вот день — и бледная ты встала...
Ты не спала, ты все мечтала...
А он, таинственник Камен?
Им не играли грезы ночи;
И бодр и свеж проснулся он,
И про любовь и черны очи
Уже выдумывает сон.

Н. Языков

IV
О БРАЗИЛИИ
(из Revue des Deux mondes — Aug. de St. Aulaire) [1]

Бразилия лежит между 4°18′ и 34°55′ Южной широты и заключает в себе почти третью часть полуденной Америки. Не удивительно, когда на столь обширном пространстве земли представляется великое разнообразие богатств и произведений; но в Бразилии часто в одной области, в одном округе находится золото, свинец и топазы; в одной области, в одном округе произращают пшеницу и маис, кофе и виноград, лен и хлопчатую бумагу, прекраснейшие древесные плоды Индии, Америки и Европы. Наконец, почва Бразилии, еще девственная, содержит в себе такую плодотворную силу, что она дает сто пятьдесят и до пятисот за одно зерно, посеянное земледельцем.

В течение нескольких столетий сия прекрасная страна подчинена была колониальной системе. Может быть, в Бразилии система сия никогда не была столь жестокою, как в Испанской Америке. Тем не менее справедливо то, что строгая запретильная система постоянно препятствовала бразильцам пользоваться дарами благодетельной их природы. Бразилия была заперта для иностранцев и истощалась для обогащения лисабонских торговцев (негоциантов). Обитатели ее имели под ногами железные рудники и, под опасением вечной ссылки на губительные для здоровья берега Анголы, были обязаны выписывать для себя из Португалии земледельческие орудия; они обладали богатыми солончаками и вынуждены были покупать у европейских компаний необходимое для

них количество соли. Только на берегах Тага могли они судиться между собою; а дети их нигде не имели возможности приобретать познания медицинские и юридические, кроме коимбрского университета.

Колониальная система не только погружала в бедность Бразилию; этого мало: ненавистною целью оной было — разрушить единство сей страны. Рассевая семена раздора в бразильских провинциях, метрополия надеялась тем долговременнее сохранить превосходство своих сил, необходимых для тиранского над ними обладания. Каждое капитанство имело особенного своего сатрапа; в каждом была своя особенная армия и собственная казна. Сообщение между ними было затруднено; часто даже одно не знало о существовании другого.

Когда Иоанн VI [2], изгнанный из Португалии французами, нашел для себя убежище в Бразилии, колониальная система оной необходимо долженствовала в некоторых частях измениться. Правительство учредило тогда в Рио-де-Жанейро судебные места, решающие окончательно; отворило Бразилию иностранцам, а жителям ее позволено было пользоваться всеми богатствами, щедро дарованными отчизне их природою. Но здесь оно и положило преграду своим подвигам и после сих усилий погрузилось в сон. Португальское правительство не заботилось о том, чтобы дать некоторое единство новому Бразильскому королевству, существование коего им было провозглашено. Оно весьма неблагоразумно допустило продолжение прежнего разногласия в провинциях, и Иоанн VI, в Рио-де-Жанейро, был повелителем множества различных маленьких государств. Была земля, которую называли Бразилиею, но бразильцев не было.

Иоанн VI не имел самых простых понятий об ис-

кусстве управлять людьми. У него был старший брат, в пользу коего истощены были все заботы тщательного воспитания, в то время как он, младший сын, повидимому, не предназначенный царствовать, осужден был на глубочайшее невежество. Он был от природы добр, не умел никогда ни в чем отказывать, был почтительным и нежным сыном. Как человек частный он бы отличен был от других по некоторым, достойным хвалы, качествам; но король Иоанн VI стал в ряд людей совершенно ничтожных.

Министры, управлявшие его именем, были люди не без дарований, но ни один из них не знал Бразилии, сколько было нужно знать оную, чтобы заживить раны, нанесенные сей стране колониальною системою; чтобы соединить в целое разделенные части и дать им средоточение, полное деятельности и жизни. Дон Родриго, Граф Линьярский [3], имел возвышенные идеи, но хотел все предпринять, все совершить разом: в стране, в которой все было препятствием, он не находил нигде препятствия. Он не соразмерил высоты своих идей с недостатком в средствах. И обманываемый окружавшими его шарлатанами, еще более обольщаемый собственным своим пылким воображением, он почитал уже совершенными гигантские намерения, кои едва в несколько столетий могут быть приведены в исполнение. Последовавшие за ним министры были люди старые и немощные. Они всегда видели в Бразильской империи Европу и оставили Бразилию в таком же состоянии, в каком была она до них. Антонио де Вилланова э Португал [4], последний министр Иоанна VI как государя самодержавного, был человек добродетельный и имел даже некоторое сведение в земледелии, в политической экономии; но идеи его, запоздалые и мелочные, были

в разногласии с веком и с новыми нуждами Португальской монархии. Освобождение Бразилии, уже несколько лет совершившееся, казалось ему мечтою несбыточною. Он был правдив — и окружен плутами и корыстолюбцами; желал добра и делал только зло. Томас Антонио не умел ни предвидеть, ни остановить революции. Он попустил ей овладеть, с быстротою молнии, всеми провинциями Бразилии.

В сие время жители сей страны почитали себя обязанными писать к особе государя, дарованного им провидением, чувство уважения, смешанное с каким-то идолопоклонством. Иоанн VI в особенности заслужил любовь своих подданных природною своею добротою, своею приветливостью, столь противоположною оскорбительной гордости бывших до него областных правителей, и своим даже слишком кротким обхождением, не чуждым сплетничества. Он мог бы спасти прекраснейшую часть Португальской монархии, если бы предал метрополию на произвол судьбы и остался посреди приверженных к нему бразильцев; если бы уничтожил в Бразилии последние остатки колониальной системы и образовал бы наконец Бразильскую империю. Но, чтобы совершить все сие, непросвещенному, впрочем, доброму сыну короля Дон-Иосифа недоставало энергии и познания о людях и вещах. Он сделался жертвою преступного пронырства.

Португальская революция была делом нескольких злонамеренных людей; но масса народная не могла понимать ни цели, ни начал оной. Дабы представить начала сии менее отвратительными народу, признано было необходимым присоединить имя короля к изменениям в правлении, уже совершенным; ибо король

был обожаем португальцами. Решено было употребить все усилия, чтобы заставить двор возвратиться в Португалию. Иоанн VI любил Бразилию. Повиновение, обычное жителям сей земли, доставляло ему возможность наслаждаться верховною властию без скуки, неразлучной с нею. И должно сказать, что страх долговременного морского плавания еще более привязывал его к Американскому материку. Нужно было скрыть от Иоанна VI тот план, вследствие коего хотели сделать его участником в ненавистной ему революции. Ему внушили, что присутствие его возвратит к должному повиновению власти мятежных португальцев, и сиею хитростию восторжествовали над всеми его чувствами привязанности и отвращения.

Иоанн VI не сходил еще с корабля, на котором прибыл в Европу, как уже лишился всех обольстительных надежд своих. Кортесы предписали ему строжайшие законы и дошли до того, что назначили час, в который он должен выйти на берег. Государь самодержавный, он не был тираном. Под предлогом желания иметь в нем короля конституционного сделали его рабом, и он скончался злополучным.

Бразильцы исполнились величайшего негодования, когда увидели себя оставленные своим государем. Они не могли его возненавидеть, и любовь их обратилась в презрение. Последний центр единства, в коем сосредоточивалась Бразильская провинция, был у них похищаем в страну отдаленную. Справедливая гордость не позволяла бразильцам переплыть моря для возобновления власти, уже сокрушенной в Бразилии; но тогда повсюду обнаружились все гибельные и печальные следствия колониальной системы.

Вредное соперничество, бывшее между капитанствами, возникло с большею, нежели когда-либо, силою. Глубоко оскорбляемые гордым презрением столичных жителей, жители внутренних провинций принялись за исследование их привилегий. Каждая область желала быть первостепенною, небольшие города возмечтали сделаться столицею королевства, и жители степей, не имевшие понятия ни об искусствах, ни о просвещении, ни об удобствах жизни, с гордостью утверждали, что все без исключения можно найти в месте их рождения, и что округ, ими обитаемый, может обойтись без целого мира. Бразилия близка была к уничтожению от ужасного в ней безначалия, когда несправедливая, нелепая политика лисабонских Кортесов удержала ее в ее падении.

Португальский народ не мог видеть без горести совершившегося освобождения принадлежавшей ему колонии. По причине сего освобождения иссякал главнейший источник богатств Португалии. Она возвращалась на прежнюю чреду свою второстепенных держав. Освобождение Бразилии в одно и то же время оскорбляло национальную гордость португальцев и наносило вред их выгодам. По сим причинам собранием Кортесов постановлено было в необходимость снова подвергнуть Бразилию игу метрополии или потерять доверие португальской нации.

Ослепленные народною гордостию португальские законодатели, вероятно, почли не нужным взглянуть на карту Бразилии. Определение их, лицемерное и вместе неблагоразумное, восстановило прежнюю колониальную систему. Оно произнесло анафему и королевству Бразильскому и новому принцу, коему Иоанн VI вверил правление Бразилией по предписа-

нию Кортесов. Дон Педро[5], уже супруг и отец семейства, должен был возвратиться в Европу, чтобы путешествовать под надзором наставника и читать с ним книгу о «Должностях» Цицерона или «Приключения Телемаха».

Оскорбление, общее и принцу и бразильцам, сблизило их между собою. Дон Педро не захотел повиноваться лисабонским законодателям; бразильцы признали его своей главою, выгнали португальских солдат и провозгласили свою независимость.

Новый государь обширной Бразильской империя имел 22 года от рождения. В юности был у него наставником достойный человек, датчанин Родемахер[6]. Но испорченный двор Иоанна VI смотрел с равным предубеждением на ученость и добродетели.

Мудрый наставник был удален разными происками, и единственным учителем Принца, с того времени, был францисканец Антонио д'Аррабида[7], ныне Епископ in partibus*. Этот монах слыл человеком ученым в своем ордене, но познания ученейшего из францисканцев были еще очень ограничены, а отец Антонио д'Аррабида не хотел и их всех передать своему воспитаннику. Дон Педро от природы получил счастливые способности — ум, память и душу возвышенную. Если бы воспитание развило сии драгоценные семена, если бы оно вскоренило в юном инфанте некоторые наклонности, если бы пример дурной не представился первый его взорам, если бы изучением наук важных положена была преграда его быстрому воображению, и скажем наконец, если бы, приняв кормило правления, он нашел помощников с больши-

* по должности (*лат.*).

ми дарованиями и рвением, Дон Педро мог бы создать на прочных основаниях цветущую и законно свободную империю.

Дон Педро, едва вступивши в жизнь, не имея ни навыка к делам государственным, ни познания людей, не имея никакого образования, ни друга искреннего и просвещенного, и почти без руководителя, стал повелителем империи, уступающей в обширности только России, Китаю и Британским владениям, империи еще не образовавшейся, мало известной, в областях коей разнородное народопаселение представляет более различий, нежели сколько существует оных между Францией и Англией, между Германией и Италией. Он был в цвете лет, одарен необыкновенною физическою силою, правдив, благороден и искренно желал добра. Это, без сомнения, много, но этого недостаточно было в тех затруднительных обстоятельствах, в коих он находился. Необходимо было дать новую форму правлению Бразилии; но подвиг сей представил бы великие затруднения и человеку, более Дон Педра искусившемуся в делах государственных.

Приняв вначале титло Принца Регента и защитника Бразилии, Дон Педро провозглашен был потом Конституционным Императором. Тогда не было еще конституции. Депутаты различных провинций, собранные в Рио-де-Жанейро, занимались сим многотрудным делом. Вскоре, однако, обнаружилось довольно сильное направление к республиканизму. Дон Педро стал бояться за свою власть и вдруг распустил конституционное собрание, подвергнув изгнанию некоторых членов оного, замечательных своими дарованиями и красноречием. Столь смелое и решительное действие произвело всеобщее недоумение в народе

и на короткое время увеличило власть императора. Но чтобы воспользоваться всеми следствиями оного, нужно было показать постоянство и искусство в делах, а сие не было уделом государя еще столь юного. Разрушение конституционного собрания, по внимательном исследовании оного, послужило только к тому, что император сделался менее любим народом. Дон Педро объявил, что он внесет в новое собрание проект конституции, замечательной своею благонамеренностию, и проект сей действительно представлен был нации 11 декабря 1823. Но уже начали не доверять Дон Педру; боялись, чтобы он, созвав новое конституционное собрание, не разогнал его прежде окончания всех прений, и народ, через посредство своих муниципалитетов, требовал, чтобы представленный проект немедленно объявлен был законоположительною хартиею. 25 марта 1824 учинена была присяга новой конституции, и вскоре потом обе палаты собрались и начали свои занятия.

Нет, конечно, большого единства в характере бразильского народа; впрочем, можно сказать, что вообще все бразильцы добры, великодушны, гостеприимны и склонны к некоторому великолепию, а в иных провинциях жители отличаются особенною понятливостию и живостию ума. Колониальная система удерживала бразильцев в глубочайшем невежестве: существовавшее между ними рабство приучило их к самым отвратительным порокам. Со времени же прибытия португальского двора в Рио-де-Жанейро продажность водворилась во всех состояниях. Начальники многих аристократических партий, разделенных между собою интригами, суетностью и мелочными интересами, рассеяны были по всей Бразилии, но в сей земле общество не существовало, и едва можно

было заметить в ней некоторые элементы жизни общественной.

Само собою разумеется, что должно бы было применить новую форму правления к сему несчастному состоянию дел; что сия форма правления долженствовала бы быть направлена к соединению Бразильцев; что она должна была дать им нравственное и политическое воспитание. Но чтобы дать обитателям Бразилии хартию, составленную в сем духе, нужно было познать их основательно. Дон Педро, постоянно удаляемый родителем его от участия в делах, едва мог знать один Рио-де-Жанейро, город, народонаселение коего, весьма трудное к изучению, представляет странную смесь американцев и португальцев, белых, негров, креолов, людей свободных, отпущенных и рабов. Город, будучи в одно и то же время и колониею, и гаванью, и столицею, и местопребыванием двора, всегда находится под различными и вредными для него влияниями.

Дон Педро, одушевляемый благородными чувствами, искренно желал свободы своему народу. Сия великодушная идея была основанием законодательной грамоты. Хартия утвердила собою начала справедливости, и некоторые статьи оной достойны великой похвалы. Но в ней не было существенного различия со всеми прочими законоположениями сего рода; в ней ничего не было бразильского. Хартия сия столько же приличествовала Мексике, как и Бразилии, Франции, как и Германии.

С самого начала революции толпа людей невежественных, вскормленных в навыке рабства, была внезапно призвана к участию в делах. Страсти, порожденные в одно и то же время и колониальною системою и изнеможенною властию Иоанна VI, вырва-

лись из цепей, ринулись на Бразилию и, казалось, готовы были растерзать ее.

Книгопечатание, это ручательство народного благоустройства, сделалось только органом ненависти и зависти. Мелкие политические сочинения, печатаемые в Бразилии, гнусные и своею плоскостию и личностями, показались бы отвратительными и тем из европейских народов, кои сами переступают через границы благоразумной свободы тиснения. С 1821 года едва ли вышли в Бразилии два или три сочинения, истинно полезные, и страна сия обязана иностранцам тем, что ныне она становится более известною.

Напрасно Дон Педро между окружавшими его придворными искал министров, которые бы могли водворить благоденствие в Бразильской империи. От человека слабого переходил он к человеку порочному и всюду встречался с самою обезнадеживающею ничтожностию.

Некоторые из нас видели в Париже военного министра, высланного бразильским правительством. Вряд ли последний из наших полков согласился бы принять его капралом. Уже столько людей неспособных получали один за другим высшие правительственные места, что нечему удивляться, если большая часть бразильцев стараются теперь сделаться министрами, каждый в свою очередь. С другой стороны, Дон Педро в царствование свое встретился с таким множеством людей порочных, что после сего, может быть, для него извинительно — не верить более ни чести, ни правоте.

Правительству невозможно было постоянно следовать одной единообразной системе при беспрестанной перемене министров. За действием власти, сильным и решительным, следовало действие слабости.

Правительство шло неровными скачками и на каждом шагу теряло прежде приобретенное им уважение.

Несмотря на то, в Бразилии обнаруживались некоторые успехи в общественной жизни; но этим обязана она была не столько свободе в своих торговых сношениях, в особенности своему благодательному климату, быстро произращающему на необозримом пространстве все семена естественного богатства.

Лудвиг XIV и Петр Великий призвали ученых иностранцев для просвещения своих народов. Счастливые следствия сих мер весьма известны. Вначале и бразильское правительство имело мысль обратить себе в пользу просвещение образованнейших наций. Но вместо того, чтобы призвать в Бразилию ученых профессоров, которые, преподавая уроки многочисленным слушателям, распространили бы в народе полезные сведения, они отправили во Францию молодых бразильцев, издержали на них большие деньги и дали им приказание сделаться учеными. Может быть, цель правительства и могла бы отчасти быть достигнута, если бы, вызвав желающих на места пансионеров, подвергнули их приличному испытанию и, таким образом, отправили бы во Францию юношей, более других образованных и трудолюбивых. Но одни происки и непотизм управляли сим выбором, и сильные тогда люди посылали в Европу своих родных и людей им преданных, а в этом числе находились молодые люди, которым бы не лишнее было поучиться грамматике и арифметике. Пансионеры наслаждались на счет своих соотечественников всеми удовольствиями Парижа; напоследок бразильскому правительству наскучили большие на них издержки, и оно, с такою же грубостию, с какою прежде неразборчивою поспешностью отправило их в Европу, предпи-

сало этим молодым людям, не весьма, впрочем, жадным к познаниям, возвратиться из Парижа в Бразилию.

Не одно это обстоятельство доказывает, что бразильское правительство было не совсем равнодушно к успехам просвещения; оно вознамерилось наградить некоторых знаменитых иностранцев, и выбор его пал на людей, которым никто не может отказать в превосходстве дарования. Но как правительству невозможно было отличить наградами все роды заслуг, то, вероятно, подумают, что оно отдало преимущество, например, А. Гумбольту [8], которому американский материк столько обязан; или тем ученым, которые, подобно Спиксу [9], Полю [10] и Марциусу [11], предпочтительно старались дать верное понятие о Бразилии, о ее произведениях и богатствах; или, наконец, людям, исследования и наблюдения коих имели великое влияние на успехи полезнейших наук и способствовали благосостоянию всех народов, — людям, каков наприм.: Кювье [12], Ге-Люсак [13], Деви [14], Ампер [15], Пуасон [16], Араго [17] и Берцелиус [18]. Нет, не сим ученым мужам бразильское правительство оказало знаки своего благоволения: выбор его пал на Скриба [19] и Россини *[20].

Если бы целью нашею было представить все события бразильской империи в течение последних 12 лет, то мы могли бы иметь удовольствие наименовать многих людей, по справедливости достойных уважения. Война, равно неблагоразумная как и несчаст-

* *Примеч.* Аббат Мануэль Айрес де Казаль [21], отец бразильской географии, томился в бедности в Лиссабоне, не имея даже средств напечатать второе издание своего превосходного сочинения о Бразилии.

ная, с Рио-де-Плата, морские разбойничества Кокрена[22], мятежи, возникавшие в провинциях, представили бы нам много весьма любопытных подробностей о правах сей страны: но изображая историю правительства в Рио-де-Жанейро, историю тамошнего двора и всех его интриг, мы не раз бы могли подумать, что переписываем некоторые страницы из летописей Восточной Римской Империи.

Дон Педро, утомленный делами правления, коего он был главою, мучимый беспрестанно возрождающимися препятствиями и страшившийся дать полную доверенность своим министрам, искал утешений в откровенности и коротком обществе некоторых своих придворных, людей неизвестных и необразованных. Одиночество, в котором он находился, конечно, извиняло в нем сию ошибку; но она тем более казалась важнею в глазах бразильцев, что любимцами Дон Педро были португальцы. Любимцы сии, ослепленные пристрастием к своему отечеству, в очаровательных красках представляли воображению юного императора удовольствия Европы и поселили в нем отвращение к Бразилии, которая также мало-помалу изменялась в чувствах своих к Дон Педру.

Готовился переворот. Он был ускорен знаменитым уже с давнего времени между бразильцами. Филисбертом Калдейра Брантом[23], получившим от императора титло маркиза Барбасена. Верное изображение Филисберта было бы весьма занимательно для европейцев и, может быть, представило бы им особенный образец для нравоописательного романа. Но современная история, позволяя себе общие рассуждения о делах, должна ограничиться повествованием событий. Филисберто вел жизнь пришлеца и еще при прежнем правлении нажил себе большое состояние.

Император дал ему сверх того титло и почести: он был главнокомандующим южной армии и первым бразильским дипломатом во всех важных сношениях с иностранными державами, и ему поручено было делать все займы для правительства. Наконец, ему же поверил император вести переговоры о браке его с молодой принцессою, дочерью Евгения Богарне [24].

Возвратясь в Бразилию, Филисберто Кальдейра Брапт воспользовался упоением, в котором был император от сего счастливого союза. Во время блистательных праздников, данных по случаю бракосочетания Дон Педро, хитрый придворный более и более вкрадывался в доверенность своего государя и успел до того, что сделался, наконец, для него необходимым. Тогда предложили ему министерство финансов и председательство в совете; но он отказывался принять сии должности прежде, нежели окажут ему знак высокого императорского благоволения утверждением, без всякой поверки, представленных им отчетов.

Получив важнейшее место в правительстве, Филисберто чувствовал, что он не может совершенно овладеть умом государя, если не успеет отдалить других любимцев, имевших влияние на дела, и особливо Франциска Гомеса [25], тайного секретаря при императоре, и да Роша Пинто [26], помощника интенданта императорских имуществ. Он начал с ними вражду, и император принужден был отправить в Европу двух своих любимцев, к которым он имел доверенность. Гомес, по приезде своем в Лондон, не теряя времени, собрал сколько можно было доказательств тому, что Филисберто не всегда был беспорочным исполнителем воли императора, и послал документы сии самому

Дон Педро. Доверенность государя к министру обратилась тотчас в негодование; Дон Педро изъявил ему свой гнев и выгнал из службы.

В то время, когда Гомес старался погубить Филисберто, последний не оставался в бездействии; он воспользовался властию, которая еще была в его руках, и, приобретя навык управлять людьми, умел составить себе партию. Сверженный с высоты, он не упал духом и выдал памфлет, в котором, будучи уверен в покровительстве палат, сам стал обвинителем, искусно отстранив настоящие вопросы о деле. Спор сей, данный ему Филисбертом, гласностью возбудил всеобщее внимание. Опальный министр сделался главою недовольных, предпринял издание журналов, которые благоприятствовали его ненависти и всем его намерениям, распускал их во множестве и сильным своим влиянием возбуждал во всех дух революции, который довел императора до отречения.

Неопытности бразильского народа расставлены были в это время сети весьма опасные. Обольстительными красками изобразили пред ним постоянно возрастающее благополучие Северной Америки, и идеи федерализма распространились по всем бразильским провинциям. Но Американский союз образован был добродетельными сектаторами, исполненными энергии и твердости. Уроками и примерами европейских своих предков они были уже приуготовлены к благоустройству, были способны понимать его и достойны им наслаждаться. Бразильский народ составился из других элементов и при других обстоятельствах. Рабы, принадлежащие к низшему поколению человеческого рода, составляют две трети сего народа, и едва прошло десять лет с тех пор, как он стонал под игом

несправедливости, следствием коей были не только бедность, но и самое растление нравов. Бразильцы доблестно свергли с себя ярмо колониальной системы, но — скажем ли откровенно? — они, сами о том не догадываясь, находятся еще под пагубным влиянием сей системы, подобно тюремному невольнику, который, освободясь от цепей, долгое время сохраняет на изнеможенном теле своем следы оных. Американский союз, и особливо дух Северных американцев, с каждым днем более утверждает узы своего общества, или, по крайней мере, общества каждой его области. Бразильцы, напротив, не умели бы ввести у себя федеральной системы, не разрушив в самом начале слабые узы, их еще соединяющие. Гордые главы многочисленных аристократических партий, рассеянных по всей Бразилии, без сомнения, весьма желают федерализма, снося нетерпеливо всякое превосходство над собою; но бразильцы страшатся сего разделения, которое бы привело бы их к безначалию и угнетению множеством мелких тиранов. Среди волнения, произведенного в умах идеями федерализма и системами демагогов, Дон Педро, утомленный бременем короны, решился сделать последнее усилие, чтобы найти себе опору в недрах собственной своей империи.

Из всех бразильских провинций провинция Минас-Жераес, конечно, образованнейшая и богатейшая, по крайней мере, в ней менее различия в жителях и более видно национальности. Обитатели Бразилии отдают справедливость в превосходстве провинции Минас-Жераес над другими, и если бы сия часть Бразильской империи была хорошо управляема, то она, без сомнения, имела большое влияние на все прочие провинции. Дон Педро уже путешествовал по области Минас-Жераесу; он знал ее жителей и решился со-

ставить между ними себе сильную партию и снова приобресть любовь народа. План сей был счастливо изобретен, но исполнен весьма неудачно.

Несмотря на трудности в пути, происшедшие от наступления дождливой погоды, Дон Педро проник во внутренность Минасской провинции вместе с императрицею, своею супругою, которая умела приобресть любовь и уважение народа бразильского. Монарх и августейшая супруга его везде принимаемы были с изъявлениями живейшей радости, и каждый город и местечко наперерыв старались торжествовать их присутствие блистательными празднествами. Жители Оиро-Прето (иначе Вилла Рика), главного города провинции, особенно отличились тогда своим усердием и великолепием. На городских улицах воздвигнуты были торжественные ворота, дома украсились коврами и цветами, толпы музыкантов проходили по разным частям города и на каждом балконе голоса правильные и согласные пели стихи в честь монарха.

Дон Педро мог возвратить прежнюю любовь народа, если бы без различия принимал все знаки народной к нему преданности; но интрига всюду за ним следовала и везде расставляла ему множество сетей. Он сделал ошибку в том, что остался на несколько дней в одном из принадлежащих ему поместьев, в расстоянии на несколько миль от главного провинциального города. Там еще раз окружил он себя людьми, к которым всегда имел слишком много доверенности и которые отчуждили от него сердца подданных. Эти люди завладели всеми ходами и выходами жилища императора, отстранили людей, имевших дотоле наиболее влияния, возбудили подозрения в уме своего государя и удалили от него президента провинции. Прокламация, вскоре потом изданная Дон Пед-

ром в пользу конституционного правления, произвела между минеиросами благоприятные для Дон Педро впечатления, и уже новые праздники приготовлялись императору, как вдруг он отправился далее. Это путешествие, лучше соображенное и исполненное, могло быть весьма полезно интересам Дон Педро, вместо того оно нанесло им решительный удар.

В продолжении более трех месяцев император не занимался делами правления, находившегося в Рио-де-Жанейро. Во время сего промежутка министры его не умели даже учредить правильных сообщений с провинциею Минас-Жераес; и хотя император удалился не на весьма большое расстояние от берегов моря, но иногда в продолжение двенадцати дней и более не получал никаких донесений.

Поспешно явился Дон Педро у врат столицы, когда в Рио-де-Жанейро почитали его еще отдаленным на неделю пути. При въезде его в город он встречен был с некоторым энтузиазмом, но в изъявлениях сей радости не было ничего национального. В них приняли участие только одни служители монарха, придворные и португальцы, которые с давней поры были в войне, более или менее явной, с бразильцами. Последние, приняв за оскорбление изъявления радости, им чуждой, начали бить стекла в домах, которые были иллюминированы. В улицах начались драки, и много было раненых и даже убитых.

Дон Педро думал восстановить спокойствие в столице, угождая республиканской партии, и выбрал министерство из среды народных представителей, ревностно приверженных к оной; но это соображение не имело успеха; беспорядки увеличивались, и через десять дней император назначил других министров.

По несчастию, последние были не любимы наро-

дом. Вскоре потом начали возмущаться креолы. Вооруженные толпы бродили по улицам Рио-де-Жанейро; несколько человек было убито, и последняя катастрофа была, как сказывают, ускорена интригою, которой мы не можем обнаружить совершенно в тесных пределах сего исторического очерка. Португальцы и бразильцы остроумны, но мало образованны и праздны. Они употребляют ум свой на интриги, и в них заключается вся их деятельность.

Составив новое министерство, Император предоставил, однако, начальство над войсками в столице Франциску де Лима[27], который, как уверяют, принял сторону народа, но не потому, чтоб она была сообразна с его политическими мнениями.

Лима, всею своею властию, благоприятствовал возмущению и побуждал солдат оставить их государя. Он-то (мы предоставляем истории судить его), Франциск Лима, говорим мы, предстал от имени народа пред императора и требовал от него удаления тогдашних министров и восстановления прежнего министерства. Дон Педро дал ему ответ, достойный своего высокого сана, но Лима не был отрешен.

У Сан-Кристовальского дворца обыкновенно стояла довольно многочисленная стража; и она скоро перешла на сторону инсургентов. Таким образом, положение императора час от часу становилось затруднительнее. Тогда он принял намерение отказаться от короны и, без сомнения, давно уже имел эти мысли. Сам он сочинил акт отречения в пользу своего сына; он призвал к себе английского и французского поверенных в делах для сообщения им сего акта и требовал от них, чтобы они помогли ему отправиться в Европу. Главы революции приняли отречение Дон

Педро. Он сел на корабль вместе с императрицею, юною королевою португальскою, и малым числом придворных.

Как скоро император отказался от короны, приступили к назначению регентства. Оно составилось из людей мало способных, но довольно умеренных, казалось бы, по некоторому чувству приличия, следовало только удалить от него Франциска де Лима.

В то время, как делались приготовления к отплытию на кораблях, долженствовавших перевезти в Европу Дон Педро и его спутников, принц, сын его, был провозглашен императором под именем Дон Педро II-го[28]. Некоторые беспорядки, неизбежные во время революций, еще возобновились, но вскоре все успокоилось и обыкновенная тишина и порядок были восстановлены.

Экс-император писал к Жозе Бонифасию де Андрада[29] и поручил ему воспитание своего сына. Старец сей, имевший, по общему признанию, великие дарования, согласился взять на себя сию обязанность и поклялся свято ее исполнить. Выбор сей был совершенно справедлив и пал на человека достойного.

13 апреля 1831 Дон Педро удалился из Бразилии. Он оставил там людей, не умевших быть ему благодарными, и, может быть, там некогда будут жалеть о нем.

Главною его виною было рождение его в Европе; привязанность его к португальцам весьма естественна, но он обязан был пожертвовать ею для своих американских подданных. Он был окружен дурными людьми, не имел ни больших познаний, ни опытности. История отдает, впрочем, справедливость его

умеренности и великодушию, оказанным им в ночь 7 апреля, когда он отказался от короны; но история скажет также, что, сделав некоторые уступки, Дон Педро мог бы еще сохранить власть, и осудит его за отречение, которого от него не требовали: ибо сим отречением Дон Педро подверг всем случайным изменениям революции империю, коей он был славным основателем.

Дон Педро прибыл в Европу. Вчера император — сегодня простой гражданин. Он явился нам об руку с монархом, который вчера еще был отцом семейства и богатым гражданином.

Судьбы Бразилии лежат теперь на главе младенца. Он один, этот младенец, соединяет еще собою все провинции обширной империи. Одно его существование полагает преграду честолюбцам, являющимся отовсюду с равною посредственностью и равно гигантскими замыслами. Один он между бразильцами соединяет прошедшее с настоящим. Итак, да окружат особу младенца-монарха бразильцы, которые еще имеют понятие о чести своего отечества, которые любят законную свободу и не желают видеть ее разрушенною множеством корыстолюбивых и презренных тиранов.

Но спросят, может быть: что случится, если обитатели Бразилии, обольщенные пустыми возгласами честолюбивых лицемеров, удалят юного государя, посреди их рожденного? Мы жили среди бразильцев. Узы симпатии и благодарности соединяют нас с ними; мы любим Бразилию почти наравне с отечеством: да не требуют же от нас, чтобы мы старались проникнуть в ее будущность, которая в сем предположении должна представиться в ужасном мраке...

Мы жили не в одной Бразилии: путешествовали и на берегах Ла-Платы и Уругвая. Еще недавно страна сия была прекраснейшею частию Южной Америки. Обитатели оной хотели учредить федерацию и начали разъединяться между собою. Каждый городок и деревня хотели иметь свое особое отечество. Люди, достойные всякого презрения, сделались начальниками и взяли оружие; народонаселение рассеялось или истребилось; Эстансии [1*] разрушились; обширные пространства земли, из которых могли бы составиться целые области, заросли ныне бурьяном, и там, где прежде паслись многочисленные стада, видно теперь только множество одичавших собак, олепей, страусов и свирепых жагваров (Jaguar) [2*].

(Revue des deux mondes)

[1*] Эстансии, Estancieas, небольшие поместья земледельческие со всеми хозяйственными принадлежностями.

[2*] Жагвар — хищный американский зверь, похожий на барса.

V

С. С. Т-ой [1]

Я знаю вас: младые ваши лета
Счастливою звездой озарены;
Вы любите великий мир поэта
И гармонические сны;

Вам весело им вовсе предаваться,
Их обновлять роскошней и полней,
И медленно и долго забываться
В обманах памяти своей;

Вы знаете, как в хоры сладкогласны
Созвучные сливаются слова,
И чем они могучи и прекрасны,
И чем поэзия жива.

Умеете ли мыслию своею
Чужую мысль далеко увлекать
И, праведно господствуя над нею,
Ее смирять и возвышать.

Я знаю вас; но этими стихами
Приносится вам жертва не моя;
Я чувствую, смутился б я пред вами:
Душой и сердцем робок я;

Но пламенно я музу обожаю.
Доступен мне возвышенный Парнас.
И наизусть лишь то вам повторяю,
Что говорится там про вас.

Н. Языков

VI

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВЕК

(Окончание [1])

Жизнь европейского просвещения девятнадцатого века не имела на Россию того влияния, какое она имела на другие государства Европы. Изменения и развитие сей жизни отзывались у нас в образе мыслей некоторых людей образованных, отражались в некоторых оттенках нашей литературы, но далее не проникали. Какая-то китайская стена стоит между Россиею и Европою и только сквозь некоторые отверстия пропускает к нам воздух просвещенного Запада; стена, в которой великий Петр ударом сильной руки пробил широкие двери; стена, которую Екатерина долго старалась разрушить, которая ежедневно разрушается более и более, но, несмотря на то, все еще стоит высоко и мешает.

Скоро ли разрушится она? Скоро ли образованность наша возвыситься до той степени, до которой дошли просвещенные государства Европы? Что должны мы делать, чтобы достигнуть этой цели или содействовать к ее достижению? Изнутри ли собственной жизни должны мы заимствовать просвещение свое или получать его из Европы? И какое начало должны мы развивать внутри собственной жизни? И что должны мы заимствовать от просветившихся прежде нас?

Чтобы отвечать на эти вопросы, надобно определить характер и степень просвещения русского, характер и степень просвещения европейского и их взаимные отношения.

Как же относится русское просвещение к европейскому? На этот вопрос слышим мы ежедневно столько же ответов, сколько встречаем людей, почитающих себя образованными. Между тем от понятия, которое мы имеем об отношениях России к Европе, зависят наши суждения о том, что может ускорить или замедлить наше просвещение; о том, что дает ему ложное или истинное направление; о том, к чему мы должны стремиться и чего избегать; о том, что нам полезно и вредно, что мы должны заимствовать у соседей наших и чего удаляться, и, следовательно, вся совокупность наших мыслей о России, о будущей судьбе ее просвещения и настоящем положении; вся совокупность наших надежд и ожиданий; вся совокупность наших желаний и ненавистей, и — если мы хотим быть согласны сами с собою — самый характер нашей практической деятельности посредственно или непосредственно должен зависеть от *того понятия, которое мы имеем об отношении русского просвещения к просвещению остальной Европы.*

Итак, нет истины, которой признание было бы важнее; нет мнения, в котором общее согласие было бы благодатнее.

Но общее мнение составляется из частных. Там, где оно еще не составилось или не обнаружилось явно, ничей голос не может быть лишний; напротив, каждый *обязан* произносить свой приговор, ибо приговор каждого может содействовать к образованию общего. Вот почему я постараюсь высказать здесь свое мнение, хотя в общих чертах и сколько позволят мне необходимые условия журнальной статьи. Если читатель найдет мои мысли ошибочными, то, по крайней мере, увидит в них искреннее стремление к истине и потому, я надеюсь, не оставить их без

внимания; я надеюсь также, что благонамеренные литераторы не откажутся почтить их своими замечаниями, исправят ошибочное и подтвердят справедливое.

Я знаю, что общие мысли, не развитые в ощутительных подробностях, редко понимаются в том смысле, в каком их хотят представить, ибо редко даже человеку с талантом удается найти выражение простое и незапутанное, когда он говорит общими выводами о предметах сложных и подлежащих не одному разуму, но вместе и опыту, и памяти, и личным соображениям каждого. Потому я никогда не решился бы начать этой статьи, если бы не смотрел на нее единственно как на введение к подробнейшему изложению моих мыслей; если бы не надеялся каждую из них развить особенно и в применениях к *действительности* подтвердить и пояснить то, что в кратком очерке не может быть представлено иначе как умозрительно.

Не со вчерашнего дня родилась Россия: тысячелетие прошло с тех пор, как она начала себя помнить, и не каждое из образованных государств Европы может похвалиться столь длинною цепью столь ранних воспоминаний. Но, несмотря на эту долгую жизнь, просвещение наше едва начинается, и Россия в ряду государств образованных почитается еще государством молодым. И это недавно начавшееся просвещение, включающее нас в состав европейских обществ, не было плодом нашей прежней жизни, необходимым следствием нашего внутреннего развития; оно пришло к нам извне и частию даже насильственно, так что внешняя форма его до сих пор еще находится в противоречии с формою нашей национальности.

Очевидно, что причины, столь долгое время удалявшие Россию от образованности, не могут быть случайными, но должны заключаться в самой сущности ее внутренней жизни, и хотя в каждую эпоху нашей истории находим мы особенные и различные обстоятельства, мешавшие нашему развитию, но совокупность сих обстоятельств заставляет нас заключать, что враждебное их влияние зависело не столько от их случайного явления, сколько от коренного образования первоначальных элементов нашего быта, и, может быть, то же обстоятельство, которое вредило просвещению в России, могло бы способствовать его успехам в Италии или Англии.

Но если даже случайные, внешние причины останавливали успехи нашей образованности, то все же влияние сих причин должно было условливаться внутренним состоянием России, и внешнее обстоятельство, действуя таким образом, становилось уже одним из элементов внутренней жизни, одною из постоянных пружин последующего развития. Следовательно, прежде нежели мы приступим к вопросу, какое отношение между просвещением России и Европы существует *теперь*, мы должны еще рассмотреть, какие элементы личной и гражданственной образованности представляет нам прошедшая жизнь России и в каком отношении находились эти элементы к просвещению европейскому.

От самого падения Римской империи до наших времен просвещение Европы представляется нам в постепенном развитии и в беспрерывной последовательности. Каждая эпоха условливается предыдущею, и всегда прежняя заключает в себе семена будущей, так что в каждой из них являются те же стихии, но в полнейшем развитии.

Стихии сии можно подвести к трем началам: 1-е — влияние христианской религии; 2-е — характер, образованность и дух варварских народов, разрушивших Римскую империю; 3-е — остатки древнего мира. Из этих трех начал развивалась вся история новейшей Европы. Которого же из них недоставало нам, или что имели мы лишнего?

Еще прежде десятого века имели мы христианскую религию; были у нас и варвары, и вероятно, те же, которые разрушили Римскую империю, но *классического древнего мира* недоставало нашему развитию. Посмотрим, какое отличие произошло от того в нашей истории.

Известно и после ученых разысканий Савиньи, после глубокомысленных соображений Гизо[2] уже несомненно, что во все продолжение средних, так называемых варварских, веков римские законы, римское устройство, разнообразно измененные, иногда смешенно, иногда чисто, но всегда очевидно существовали во всех местах Европы, куда прежде простиралось римское владычество. Эти законы, эти устройства, примешиваясь к обычаям варваров, естественно должны были способствовать к их образованию и действовать на их гражданский быт, а часто и на личное их просвещение. Но очевиднее всего влияние их на устройство торговых городов, которые, сделавшись независимыми, стали одною из сильнейших пружин и одним из необходимых элементов европейского образования.

У нас также были Новгород и Псков; но внутреннее устройство их (занятое по большей части из сношений с иноземцами) тогда только могло бы содействовать к просвещению нашему, когда бы ему не противоречило все состояние остальной России. Но

при том порядке вещей, который существовал тогда в нашем отечестве, не только Новгород и Псков долженствовали быть задавлены сильнейшими соседями, но даже их просвещение, процветавшее столь долгое время, не оставило почти никаких следов в нашей истории, — так несогласно оно было с целою совокупностью нашего быта.

Но еще важнее, чем на образование вольных городов, действовало устройство древнего мира на внешнее образование римской церкви и на ее политическое влияние во времена средних веков. Известно, что гражданская власть духовенства в Европе была прямым наследием устройства римского и что светское правление епископов было устроено по образцам римским, еще уцелевшим в частях, когда целое уже и разрушилось [1*]. Самая противоположность, которая существует между духом древнего языческого мира и христианством, долженствовала служить к усилению последнего и к его многостороннейшему развитию, ибо, находясь в постоянной борьбе со всем его окружающим, христианство получало беспрестанно новые силы от беспрестанно новых успехов и, побеждая язычество, подчиняло себе его просвещение. Таким образом, являлось оно в двух различных видах двум противуположным и борющимся стихиям; на остатки древнего мира христианство действовало как противуположное ему, обновляющее, преобразовывающее начало, которое разрушает для того, чтобы создать новое; варварам оно являлось как начало со-

[1*] Еще римские императоры предоставили епископам почти неограниченную власть над городами, и «эта власть», — говорит Тьерри, — беспрестанно возрастая после падения Римской империи, почти везде переобразовалась в господство феодальное».

зидающее, образовывающее, как источник просвещения, порядка и единства посреди разногласного, нестройного и невежественного брожения; и это двойное отношение христианства к новому и древнему миру соделало его центром обоих и средоточением всех элементов европейского развития. Оттого церковь в обновленной Европе стала не только источником духовного образования, но и главою устройства политического. Она была первым звеном того феодального порядка, который связал в одну систему все различные государства Европы; на ней утверждена была Святая римская империя; она была первою стихиею того рыцарства, которое распространило один нравственный кодекс посреди разнородных политических отношений; она была единственным узлом между всеми нестройными элементами и всеми различными народами; она дала один дух всей Европе, подняла крестовые походы и, быв источником единодушия и порядка, остановила набеги варваров и положила преграду нашествиям мусульман.

В России христианская религия была еще чище и святее. Но недостаток классического мира был причиною тому, что влияние нашей церкви во времена необразованные не было ни так решительно, ни так всемогуще, как влияние церкви римской. Последняя как центр политического устройства возбудила одну душу в различных телах и создала таким образом ту крепкую связь христианского мира, которая спасла его от нашествий иноверцев, — у нас сила эта была не столь ощутительна, не столь всемогуща, и Россия, раздробленная на уделы, не связанные духовно, на несколько веков подпала владычеству татар, на долгое время остановивших ее на пути к просвещению.

Ненужным почитаю я доказывать здесь, что система раздробления была свойственна не одной России, что она была во всей Европе и особенно развилась во Франции, несмотря на то остановившей стремительный натиск арабов [2*]. Но мелкие королевства, связанные между собою сомнительною и слабою подчиненностью политическою, были соединены более ощутительно узами религии и церкви. Известно также, что дети владетелей таких королевств наследовали поровну владения своего отца, раздробляя его таким образом более и более, и что образ внутреннего управления их во многом походил на образ управления наших удельных князей. Из этого, однако, не следует, чтобы феодальная система и система уделов были одно и то же, как утверждали у нас некоторые писатели [4], ибо, не говоря уже о другом, одна зависимость феодального устройства от церкви, служащей первым основанием всех феодальных прав и отношений, уже полагает такое различие между двумя системами, что непонятно, каким образом многие из литераторов наших хотя на минуту могли почитать их одинакими. Но, с другой стороны, феодальное устройство представляет столько сходного с нашими уделами, что нельзя не предположить, что система уделов была одним из элементов феодализма [3*].

[2*] Seulement en Belgique et sur les bords du Rhin on a comté jusqu'à cent vingt-trois grandes terres, possédées par les rois de la seconde race. Augustin Thierry, Lettres sur l'Histoire de France, Lettre XII. (В одной только Бельгии вдоль Рейна сто двадцать три обширных владения, принадлежавших королям боковой ветви. — *фр.*) [3]

[3*] Сходство сие служит одним из убедительнейших доказательств общего происхождения варягов, нашедших на Россию, и германских народов, разру-

Этот элемент, отчужденный от всего остального образования Европы, произвел у нас то устройство, которого следствием были татары, коим мы не могли противупоставить ни зрелой образованности, ни силы единодушия. Не имея довольно просвещения для того, чтобы соединиться против них *духовно*, мы могли избавиться от них единственно *физическим*, материальным соединением, до которого достигнуть могли мы только в течение столетий. Таким образом, очевидно, что и нашествие татар и влияние их на последующее развитие наше имело основанием одно: *недостаток классического мира*. Ибо теперь даже разделите Россию на такие уделы, на какие она разделена была в XII веке, — и завтра же родятся для нее новые татары, если не в Азии, то в Европе. Но если бы мы наследовали остатки классического мира, то религия наша имела бы более политической силы, мы обладали бы большею образованностью, большим единодушием, и, следовательно, сама разделенность наша не имела бы ни того варварского характера, ни таких пагубных последствий.

Этот же недостаток образованности общего развивающегося духа, происходящий от недостатка классического мира, отзывается и в самой эпохе нашего освобождения от татар. Нам не предстояло другого средства избавиться от угнетения иноплеменного, как посредством соединения и сосредоточения сил; но

шивших Римскую империю. Но одинакие обычаи сих варваров должны были измениться различно, смотря по различию тех земель, куда они являлись, и, вероятно, то же начало, которое у нас произвело систему уделов, в Европе образовалось в систему феодального устройства.

так как силы наши были преимущественно физические и материальные, то и соединение наше было не столько выражением единодушия, сколько простым материальным совокуплением, и сосредоточение сил было единственно сосредоточением *физическим*, не смягченным, не просвещенным образованностью. Потому избавление наше от татар происходило медленно и, совершившись, долженствовало на долгое время остановить Россию в том тяжелом закоснении, в том оцепенении духовной деятельности, которые происходили от слишком большого перевеса силы материальной над силой нравственной образованности. Это объясняет нам многое и, между прочим, показывает причины географической огромности России.

Пятнадцатый век был для Европы веком изобретений, открытий, успехов умственных и гражданских. Но пятнадцатый век был приготовлен четырнадцатым, который сам был следствием предыдущих, развившихся под влиянием остатков древнего мира. Это влияние сначала обнаруживалось образованностью и силою римской церкви; но потом, когда просвещение уже распространилось в самом быте народа и вкоренилось в светской гражданственности, тогда и церковь перестала быть единственным проводником образованности, и Европа обратилась прямо к своим умственным праотцам — к Риму и Греции. И это новое, самопознавшееся стремление к миру классическому обнаруживается не только в высших умах, в людях, стоящих впереди своего народа; оно обнаруживается не только в науках и искусствах, дышавших единственно освеженными воспоминаниями о греках и римлянах, но даже и в самом народном быту просвещенных земель, в самом устройстве их гражданственности и национальности. И еще прежде

падения греческой империи уже итальянские республики образовывались по образцу древних, между тем как архитектура, живопись, ваяние, науки и самый патриотизм в Италии носили глубокую печать одного идеала: *классического мира.*

Таким образом, для новой Европы довершился круг полного наследования прежнего просвещения человечества. Таким образом, новейшее просвещение есть не отрывок, но продолжение умственной жизни человеческого рода. Таким образом, государства, причастные образованности европейской, внутри самих себя совместили все элементы просвещения всемирного, сопроникнутого с самою национальностью их.

И на Западе почти в то же время, как у нас, происходила подобная кристаллизация сил и элементов: мелкие королевства соединялись в большие массы, частные силы сосредоточивались в подчиненности одной силе общей. Но это сосредоточение и соединение имели совершенно другой характер оттого, что частные силы, частные элементы были образованы, развиты и самобытны. И тут и там идет борьба за национальность, независимость и целость; и тут и там стремление к сосредоточению и единству; но там просвещение уже развитое, следовательно, знаменем борьбы, целью стремления является всегда *мысль* религиозная или политическая; тут место мысли заступает *лицо*, частное событие, *самозванец.*

Только с того времени, как история наша позволила нам сближаться с Европою, то есть со времени Минина и Пожарского[5], начало у нас распространяться и *просвещение в истинном смысле сего слова*, то есть не отдельное развитие нашей особенности, но участие в общей жизни просвещенного мира, ибо отдельное, китайски особенное развитие заметно у

нас и прежде введения образованности европейской; но это развитие не могло иметь успеха *общечеловеческого*, ибо ему не доставало одного из необходимых элементов всемирной прогрессии ума.

Что это европейское просвещение начало вводиться у нас гораздо прежде Петра, и особенно при Алексее Михайловиче, — это доказывается тысячью оставшихся следов и преданий. Но, несмотря на то, начало сие было столь слабо и ничтожно в сравнении с тем, что совершил Петр, что, говоря о нашей образованности, мы обыкновенно называем его основателем нашей новой жизни и родоначальником нашего умственного развития. Ибо прежде него просвещение вводилось к нам мало-помалу и *отрывисто*, отчего по мере своего появления в России оно искажалось влиянием нашей пересиливающей национальности. Но переворот, совершенный Петром, был не столько развитием, сколько переломом нашей национальности; не столько внутренним успехом, сколько внешним нововведением.

Но могло ли просвещение прийти к нам иначе как посредством перелома в нашем развитии, иначе как в виде внешней силы, противуположной нашему прежнему быту, сражающейся с нашею национальностию на жизнь и смерть и долженствующей не помириться с нею, но победить ее, покорить своему владычеству, преобразовать, породить новое?

Ответ на этот вопрос выводится ясно из предыдущего, и если в нашей прежней жизни недоставало одного из необходимых элементов просвещения — мира классического, — то как могли бы мы достигнуть образованности, не заимствуя ее извне? И образованность заимствованная не должна ли быть в борьбе с чуждою ей национальностию?

Просвещение человечества, как мысль, как наука, развивается постепенно и последовательно. Каждая эпоха человеческого бытия имеет своих представителей в тех народах, где образованность процветает полнее других. Но эти народы до тех пор служат представителями своей эпохи, покуда ее господствующий характер совпадается с господствующим характером их просвещения. Когда же просвещение человечества, довершив известный период своего развития, идет далее и, следовательно, изменяет характер свой, тогда и народы, выражавшие сей характер своею образованностью, перестают быть представителями всемирной истории. Их место заступают другие, коих особенность всего более согласуется с наступающею эпохою. Эти новые представители человечества продолжают начатое их предшественниками, наследуют все плоды их образованности и извлекают из них семена нового развития. Таким образом, с тех самых пор, с которых начинаются самые первые воспоминания истории, видим мы неразрывную связь и постепенный, последовательный ход в жизни человеческого ума, и если по временам просвещение являлось как бы останавливающимся, засыпающим, то из этого сна человек пробуждался всегда с большею бодростью, большею свежестью ума и продолжал *вчерашнюю* жизнь с новыми силами. Вот отчего просвещение каждого народа измеряется не суммою его познаний, не сомкнутым развитием его национальности, не утонченностью и сложностью той машины, которую называют *гражданственностью*, но единственно участием его в просвещении всего человечества, тем местом, которое он занимает в общем ходе человеческого развития. Ибо просвещение одинокое, китайски отдаленное должно быть и китайски

ограниченное: в нем нет жизни, нет блага, ибо нет прогрессии, нет того успеха, который добывается только совокупными усилиями человечества.

На чем основываются те, которые обвиняют Петра, утверждая, будто он дал ложное направление образованности нашей, заимствуя ее из просвещенной Европы, а не развития изнутри нашего быта?

Эти обвинители великого создателя новой России с некоторого времени распространились у нас более, чем когда-либо, и мы знаем, откуда почерпнули они свой образ мыслей. Они говорят нам о просвещении национальном, самобытном; не велят заимствовать, бранят нововведение и хотят возвратить нас к коренному и старинно русскому. Но что же? Если рассмотреть внимательно, то это самое стремление к национальности есть не что иное, как непонятное повторение мыслей чужих, мыслей европейских, занятых у французов, у немцев, у англичан и необдуманно применяемых к России. Действительно, лет десять тому назад стремление к национальности было господствующим в самых просвещенных государствах Европы: все обратились к своему народному, к своему особенному; но там это стремление имело свой смысл: там просвещение и национальность одно, ибо первое развивалось из последней. Потому если немцы искали чисто немецкого, то это не противоречило их образованности; напротив, образованость их таким образом доходила только до своего сознания, получала более самобытности, более полноты и твердости. Но у нас искать национального — значит искать необразованного; развивать его на счет европейских нововведений — значит изгонять просвещение, ибо, не имея достаточных элементов для внутреннего развития образованности, откуда

возьмем мы ее, если не из Европы? Разве самая образованность европейская не была последствием просвещения древнего мира? Разве не представляет она теперь просвещения общечеловеческого? Разве не в таком же отношении находится она к России, в каком просвещение классическое находилось к Европе?

Правда, есть минуты в жизни Петра, где, действуя иначе, он был бы согласнее сам с собою, согласнее с тою мыслию, которая одушевляла его в продолжении всей жизни. Но эта мысль, но общий характер его деятельности, но образованность России, им начатая, — вот основание его величия и нашего будущего благоденствия. Ибо благоденствие наше зависит от нашего просвещения, а им обязаны мы Петру. Потому будем осмотрительны, когда речь идет о преобразовании, им совершенном. Не позабудем, что судить об нем легкомысленно есть дело неблагодарности и невежества; не позабудем, что те, которые осуждают его, не столь часто увлекаются ложною системою, сколько под нею скрывают свою корыстную ненависть к просвещению и его благодетельным последствиям, ибо невежество, как преступник, не спит ночью и боится дня.

Екатерина II действовала в том же духе, в каком работал Великий Петр. Она также поставила просвещение России целью своего царствования и также всеми средствами старалась передать нам образованность европейскую. Может быть, средства сии были не всегда самые приличные тогдашнему состоянию России; но, несмотря на то, образованность европейская начала распространяться у нас видимо и ощутительно только в царствование Екатерины. Причина тому заключается, по моему мнению, не столько в том, что Екатерина нашла в России уже

много приготовленным, сколько в том особенном направлении, которое просвещение Европы начало принимать в половине восемнадцатого века.

Мы видели, что с половины восемнадцатого века просвещение в Европе приняло направление, противуположное прежнему. Новые начала и старые явились в борьбе, различно измененной, но всегда одномысленной. Мы видели, что в науках, в искусствах, в жизни, в литературе — одним словом, в целой сфере умственного развития Европы — новые успехи [4*], хотя были последствием прежнего развития, но, несмотря на то, принимали характер противуположный ему и с ним несовместимый, как плод, который родился и созрел на дереве, но, созрев, отпадает от него и служит семенем нового древа, которое вытесняет старое.

Для большего пояснения возьмем еще несколько примеров. Нет сомнения, что изобретение паровых машин есть следствие европейского просвещения, что оно благодетельно для рода человеческого вообще и для будущих успехов промышленности. Но настоящее состояние промышленности европейской, которое также есть следствие предыдущего, противуречит успехам сего изобретения. Миллионы людей должны искать новых средств к пропитанию, между тем как средства сии и без того затруднены следствием прежнего устройства промышленности. Но паровые машины еще в начале своих применений; еще тысячи новых работ будут заменены ими: какой же сильный переворот должен произойти в промышленности ев-

---

[4*] Не должно смешивать успехи истинные с мнимыми и нововведения мечтательные, вредные с необходимым развитием просвещения.

ропейской! Какое противуречие между прежним порядком вещей и новыми успехами просвещения!

То же, что и о промышленности, можно сказать и о юриспруденции. Римские законы, мы видели, были основанием образованности и началом законного порядка. Но польза их уже кончилась, и теперь они являются в противуречии с потребностями гражданского устройства. Между тем во многих государствах они имеют силу живую и не могут быть заменены иначе как с совершенным преобразованием уложений.

Внешнее устройство римской церкви было первым источником европейской образованности; но именно потому формы сего устройства должны были совершенно соответствовать тому времени, в которое они произошли. Естественно, что с изменением времени и формы сии в некоторых государствах во многих отношениях не совмещались с новыми потребностями. Оттого явились реформации, нарушившие единство европейской церкви, а в некоторых землях водворилось совершенное безверие, которое с трудом побеждается теперь успехами светского просвещения.

Так образованность европейская является нам в двух видах: как просвещение Европы прежде и после половины восемнадцатого века. Старое просвещение связано неразрывно с целою системою своего постепенного развития, и, чтобы быть ему причастным, надобно пережить снова всю прежнюю жизнь Европы. Новое просвещение противуположно старому и существует самобытно. Потому народ, начинающийся образовываться, может заимствовать его прямо и водворить у себя без предыдущего, непосредственно применяя его к своему настоящему быту. Вот почему и в России и в Америке просвещение начало примет-

но распространяться не прежде восемпадцатого и особенно в девятнадцатом веке.

Сказанное нами достаточно для того, чтоб вывести все нужные результаты и данные для определения настоящего характера нашей образованности и ее отношений к просвещению общечеловеческому. Но мы предоставляем сделать сей вывод самим читателям, ибо, если нам удалось изложить наши мысли ясно и убедительно, то результаты их очевидны. Если же, читая статью сию, читатели не разделили нашего мнения, то и последствия сего мнения покажутся им произвольными и неосновательными.

VII

ЭПИГРАММА

Кто непременный мой ругатель?
Необходимый мой предатель?
Завистник непременный мой? —
Тут думать нечего: — родной!
Нам чаще друга враг полезен:
Подлунный мир устроен так; —
О как же дорог, как любезен
Самой природой данный враг!

Е. Баратынский

VIII
ТАЛЕЙРАН

Мы часто в людях необыкновенных замечаем желание разыгрывать роль; Александр и Юлий Кесарь в высшей степени подчинены были этой страсти. Плутарх рассказывает нам, что Кесарь на корабле разбойников сочинял стихи и декламировал речи [1]. Искусный политик Болингброк [2], одаренный всеми способностями литератора, *играл* мелодраматическую смесь ветреного повесы с философом. Это театральное расположение заметно в самом отличном ораторе Английской трибуны *; оно разительно в лорде Бéйроне, и если можем утверждать, что оно же составляет главную страсть описываемого нами великого человека, то сознаться должно, что немногим дано было поприще благоприятнее для развития своей склонности. Министр Людвига XVI-го [4] — Директории — Империи — восстановления — и, наконец, Короля-гражданина [5], — все свои различные роли разыгрывал Талейран с одинаким успехом.

Нельзя не удивляться той счастливой сметливости, с которою он переносил политическую свою приверженность от одного предмета к другому; той приятной легкости, с которою принимал сторону сильного при каждой перемене, оставляя побежденного в самое приличное время для поддержания победителя, всегда так кстати, что поступком своим не удивлял никого. Мы не станем слушать врагов его: они многочисленны; все те, коих счастие погибло в бурю пере-

* Брум.[3] Brougham.

воротов, отзываются нелестно о Талейране, всегда счастливо приводящем к пристани легкий челн свой. Но Талейран имеет друзей. Все, составляющие близкий круг его, очарованы остроумием, неистощенным преклонными летами; в легком, веселом его взгляде на все земные события, замечают прозорливость ума и часто основательность правил, существующих в одних только истинно глубоких мыслителях. «Тот еще не очень хитр, — говорит Ларошфуко, — о хитрости которого знают другие». Секретарь Департамента иностранных дел[6] короля Великобритании, готовясь к совещанию с Талейраном, ожидал разговора легкого и таинственного; ожидал человека осторожного, тонкого, хитрого, неприметно опутывающего своими сетями. Но увидевши, с каким чистосердечием Талейран говорил с ним, как заботливо повторял слова свои, чтобы растолковать мысли, как добросовестно выслушивал возражения, не мог скрыть своего удивления и объявил, что имел ложное понятие о великом дипломате; что он человек прямодушный, искренний, с которым легко и приятно вести дела... И однако Талейран мог показаться таковым своему товарищу, не переставая быть человеком хитрым, и *очень хитрым.*

Известно, что сказала г-жа Сталь[7] о Талейране. Г-жа Сталь, столько же неумеренная в дружбе, сколько и ненависти, не упускавшая никогда случая превозносить отца своего или любовника, — не могла простить неблагодарному другу. В первое время революции Талейран был в Америке[8]; он возвращался во Францию, когда окончилось уже царство Робеспиера, и Баррас[9], старинный дворянин, глава Директорий, старался возвратить обществу Парижа сколь-

ко-нибудь той изящной учтивости, которая украшала последнии дни монархии. Общество в это время было составлено из разнородных стихий: первые места занимали в нем люди деятельные и предприимчивые. Несчастия минувшие, опасность еще не прошедшая внушали жажду наслаждений, скоротечных и неверных, как текущая минута, и препятствовали водворению тонкого вкуса и нравственности. Баррас посреди двора своего, украшенного присутствием г-жи Тальень [10] и г-жи Богарне (Жозефины) [11], и г-жа Сталь, блестящим умом привлекавшая все заметные дарования того времени, — составляли два центра самовластного парижского общества. Доказательством важности их могут служить те усилия, которые употреблял Бонапарте, чтобы в них быть принятым и им нравиться. Талейран был старый знакомый г-жи Сталь: частые посещения его поддерживали приязнь. Одаренный тою утонченною ловкостью, которая начинала уже входить в моду; обладая в самой высшей степени всеми дарованиями, нужными для самых важных государственных мест, прежний епископ [12] имел блестящие успехи во всех обществах, но не находил должностного места в Республике. К тому же денежные его обстоятельства весьма были в худом положении; уже в Америке принужден он был заложить часы свои. Однажды приходит он к г-же Сталь гораздо ранее обыкновенного, вынимает кошелек, показывает 20 франков, в нем лежащих, и говорит ей: «вот все мое имение, а *жить надобно*; если вы ничего не можете для меня сделать, то мне остается броситься в Сену» [13].

Г-жа Сталь, обрадованная случаем показать в одно время и могущество свое и преданность Талейрану, принялась немедленно действовать. В то время

Директория желала упрочить власть свою, доверяя ее людям, незамешанным в ужасных кровопролитиях предыдущего правительства. Г-жа Сталь доказала пяти директорам, что человек с дарованием неотъемлемо великим, преданный с младенчества свободе, не участвовавший во всех во имя ее злоупотреблениях, уважаемый всеми и знатный по рождению, был единственный министр, способный остановить волнение и связать вместе все изначальные основания революции.

Красноречие г-жи Сталь имело полный успех, и знаменитый ее клиент за свои 20 фр. был сделан министром иностранных дел. Но время переходчиво; покровительница и покровительствуемый переменились местами, силою многих непредвиденных обстоятельств Талейран не мог остаться другом г-жи Сталь, а Коринна [14], ожесточенная несчастием и воспоминанием, обратила в ненависть прежнее чувство приязни к неблагодарному счастливцу.

Признавая в человеке дарования великие, мы часто не знаем, какое дать ему место между людьми, одаренными необыкновенными способностями. Оттенки, различающие их между собой, происходят вообще от разнообразия характеров, а не от разнообразия умов. Один покоряет счастие решительностью, другой гибкостью. Одаренный характером твердым, едва достигает времени, благоприятного для своего гения, возвышается тотчас над всеми обстоятельствами, расторгает все препятствия и заставляет толпу одушевиться страстью, над ним господствующею. Такие люди славны в истории, ибо выражают вполне характеристику своего времени, самым резким, самым благородным образом. Но если благоприятные обстоятельства переменятся, если возникнут другие

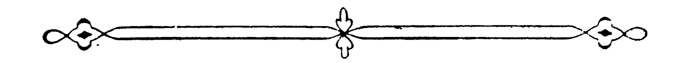
нимъ господствующею. Такіе люди славны въ Исторіи, ибо выражаютъ вполнѣ характеристику своего времени, самымъ рѣзкимъ, самымъ благороднымъ образомъ. Но если благопріятныя обстоятельства перемѣнятся, если возникнутъ другія враждебныя, геній ихъ, не умѣя принаравливаться къ силѣ противной — предается тому же бурному потоку, которому обязанъ своимъ возвышеніемъ, уносится имъ и тонетъ разбитый о скалу.

Передъ нами разительный тому примѣръ. Наполеонъ явился на политическое поприще въ ту самую минуту, когда его дарованія должны были на немъ отличиться. — Можно раздѣлить жизнь Наполеона на три періода: первый, когда народъ Французскій и войско, слившись во едино, чувствовали необходимость безопасности внутренней, вмѣстѣ съ страстнымъ влеченіемъ къ славѣ внѣшней. Эта эпоха принадлежитъ Наполеону, согласуется съ его врожденнымъ властолюбіемъ и воинскими дарованіями. Тогда онъ истинно былъ тѣмъ, чѣмъ позднѣе мечталъ быть: единственнымъ представителемъ націи. — Но скоро увлеченный честолюбивымъ своимъ геніемъ, онъ забылъ слушать голосъ общаго мнѣнія, которымъ долженъ былъ руководствоваться. Восторгъ къ военнымъ подвигамъ, возведшій его на первую степень въ Республикѣ, послужилъ ему основаніемъ произвольнаго могущества; желаніе безопасности, вручившее ему власть гражданскую, какъ главѣ свободнаго народа, употребилъ онъ средствомъ къ угнѣтенію. — Послѣдній періодъ царствованія Наполеона начался, когда самовластіе его создало противодѣйствіе въ томъ самомъ общемъ мнѣніи, которое возвело его къ власти, уступая необходимости покоя. Побѣда оста-

Последняя страница третьего номера «Европейца», на которой было прервано печатание журнала

враждебные, гений их, не умея приноравливаться к силе противной, — предается тому же бурному потоку, которому обязан своим возвышением, уносится им и тонет, разбитый о скалу.

Перед нами разительный тому пример. Наполеон явился на политическое поприще в ту самую минуту, когда его дарования должны были на нем отличиться. Можно разделить жизнь Наполеона на три периода: первый, когда народ французский и войско, слившись воедино, чувствовали необходимость безопасности внутренней, вместе с страстным влечением к славе внешней. Эта эпоха принадлежит Наполеону, согласуется с его врожденным властолюбием и воинскими дарованиями. Тогда он истинно был тем, чем позднее мечтал быть: единственным представителем нации. Но скоро, увлеченный честолюбивым своим гением, он забыл слушать голос общего мнения, которым должен был руководствоваться. Восторг к военным подвигам, возведший его на первую ступень в Республике, послужил ему основанием произвольного могущества; желание безопасности, вручившее ему власть гражданскую как главе свободного народа, употребил он средством к угнетению. Последний период царствования Наполеона начался, когда самовластие его создало противодействие в том самом общем мнении, которое возвело его к власти, уступая необходимости покоя. Победа оста-[15]



ДОПОЛНЕНИЯ

Е. А. БАРАТЫНСКИЙ

* *
*

Бывало, отрок, звонким кликом
Лесное эхо я будил,
И верный отклик в лесе диком
Меня смятенно веселил.
Пора другая наступила,
И рифма юношу пленила,
Лесное эхо заменя.
Игра стихов, игра златая!
Как звуки, звукам отвечая,
Бывало, нежили меня!
Но все проходит. Остываю
Я и к гармонии стихов —
И как дубров не окликаю,
Так не ищу созвучных слов.

ЯЗЫКОВУ

Бывало, свет позабывая
С тобою, счастливым певцом,
Твоя Камена молодая
Венчалась гроздьем и плющом
И песни ветреные пела,
И к ней, безумна и слепа,
То, увлекаясь, пламенела

Любовью грубою толпа,
То, на свободные напевы
Сердяся в ханжестве тупом,
Она ругалась чудной девы
Ей непонятным божеством.
Во взорах пламень вдохновенья,
Огонь восторга на щеках,
Был жар хмельной в ее глазах
Или румянец вожделенья...
Она высоко рождена,
Ей много славы подобает:
Лишь для любовника она
Наряд менады надевает;
Яви ж, яви ее скорей,
Певец, в достойном блеске миру:
Наперснице души твоей
Дай диадему и порфиру;
Державный сан ее открой,
Да изумит своей красой,
Да величавый взор смущает
Ее злословного судью,
Да в ней хулитель твой познает
Мою царицу и свою.

В. А. ЖУКОВСКИЙ

СКАЗКА О ЦАРЕ БЕРЕНДЕЕ, О СЫНЕ ЕГО ИВАНЕ-ЦАРЕВИЧЕ, О ХИТРОСТЯХ КОЩЕЯ БЕССМЕРТНОГО, И О ПРЕМУДРОСТИ МАРЬИ-ЦАРЕВНЫ, КОЩЕЕВОЙ ДОЧЕРИ

Жил-был царь Берендей до колен борода. Уж три года
Был он женат и жил в согласье с женою; но все им
Бог детей не давал, и было царю то прискорбно.
Нужда случилась царю осмотреть свое государство;
Он простился с царицей и восемь месяцев ровно
Пробыл в отлучке. Девятый был месяц в исходе, когда он,
К царской столице своей подъезжая, на поле чистом
В знойный день отдохнуть рассудил; разбили палатку;
Душно стало царю под палаткой, и смерть захотелось
Выпить студеной воды. Но поле было безводно...
Как быть, что делать? А плохо приходит; вот он решился
Сам объехать все поле: авось, попадется на счастье
Где-нибудь ключ. Поехал и видит колодезь. Поспешно
Спрянув с коня, заглянул он в него: он полон водою
Вплоть до самых краев; золотой на поверхности ковшик
Плавает. Царь Берендей поспешно за ковшик — не тут-то
Было: ковшик прочь от руки. За янтарную ручку
Царь с нетерпеньем то правой рукою, то левой хватает
Ковшик; но ручка, проворно виляя и вправо и влево,
Только что дразнит царя и никак не дается.

Что за причина? Вот он, выждавши время, чтоб
ковшик
Стал на место, хвать его разом справа и слева —
Как бы не так! Из рук ускользнувши, как рыбка
нырнул он
Прямо на дно колодца и снова потом на поверхность
Выплыл, как будто ни в чем не бывал. «Постой же!
(подумал
Царь Берендей) я напьюсь без тебя», и, недолго
сбираясь,
Жадно прильнул он губами к воде и струю ключевую
Начал тянуть, не заботясь о том, что в воде утонула
Вся его борода. Напившися вдоволь, поднять он
Голову хочет... ан нет, погоди! не пускают; и кто-то
Царскую бороду держит. Упершись в ограду колодца,
Силится он оторваться, трясет, вертит головою —
Держат его да и только. «Кто там? пустите!» —
кричит он.
Нет ответа; лишь страшная смотрит со дна образина:
Два огромные глаза горят, как два изумруда;
Рот разинутый чудным смехом смеется; два ряда
Крупных жемчужин светятся в нем, и язык, меж
зубами
Выставясь, дразнит царя; а в бороду впутались
крепко
Вместо пальцев клешни. И вот, наконец, сиповатый
Голос сказал из воды: «Не трудися, царь, понапрасну;
Я тебя не пущу. Если же хочешь на волю,
Дай мне то, что есть у тебя и чего ты не знаешь».
Царь подумал: «Чего ж я не знаю? Я, кажется, знаю
Все!» И он отвечал образине: «Изволь, я согласен».
«Ладно! — опять сиповатый послышался голос. —
Смотри же,

Слово сдержи, чтоб себе не нажить ни попрека, ни
худа».
С этим словом исчезли клешни; образина пропала.
Честную выручив бороду, царь отряхнулся, как гоголь,
Всех придворных обрызгал, и все царю поклонились.
Сев на коня, он поехал; и долго ли, мало ли ехал,
Только уж вот он близко столицы; навстречу толпами
Сыплет народ, и пушки палят, и на всех колокольнях
Звон. И царь подъезжает к своим златоверхим
палатам —
Там царица стоит на крыльце и ждет; и с царицей
Рядом первый министр; на руках он своих парчевую
Держит подушку; на ней же младенец, прекрасный,
как светлый
Месяц, в пеленках копышется. Царь догадался и
ахнул.
«Вот оно то, чего я не знал! Уморил ты, проклятый
Демон, меня!» Так он подумал и горько, горько
заплакал;
Все удивились, но слова никто не промолвил.
Младенца
На руки взявши, царь Берендей любовался им долго,
Сам его взнес на крыльцо, положил в колыбельку и,
горе
Скрыв про себя, по-прежнему царствовать начал.
О тайне
Царской никто не узнал; но все примечали, что крепко
Царь был печален — он все дожидался; вот придут
за сыном;
Днем он покоя не знал, и сна не ведал он ночью.
Время, однако, текло, а никто не являлся. Царевич
Рос не по дням — по часам; и сделался чудо-красавец.
Вот наконец и царь Берендей о том, что случилось,
Вовсе забыл... но другие не так забывчивы были.

Раз царевич, охотой в лесу забавляясь, в густую
Чащу заехал один. Он смотрит: все дико; поляна;
Черные сосны кругом; на поляне дуплистая липа.
Вдруг зашумело в дупле; он глядит: вылезает оттуда
Чудный какой-то старик, с бородою зеленой, с глазами
Также зелеными. «Здравствуй, Иван-царевич, —
сказал он. —
Долго дожидалися мы; пора бы нас вспомнить». —
«Кто ты?» — царевич спросил. «Об этом после;
теперь же
Вот что ты сделай: отцу своему, царю Берендею,
Мой поклон отнеси да скажи от меня: не пора ли,
Царь Берендей должок заплатить? Уж давно
миновалось
Время. Он сам остальное поймет. До свиданья».
И с этим
Словом исчез бородатый старик. Иван же царевич
В крепкой думе поехал обратно из темного леса.
Вот он к отцу своему, царю Берендею, приходит.
«Батюшка царь-государь, — говорит он, — со мною
случилось
Чудо». И он рассказал о том, что видел и слышал.
Царь Берендей побледнел, как мертвец. «Беда,
мой сердечный
Друг, Иван-царевич! — воскликнул он, горько
заплакав. —
Видно, пришло нам расстаться!..» И страшную
тайну о данной
Клятве сыну открыл он. «Не плачь, не крушися,
родитель, —
Так отвечал Иван-царевич, — беда невелика.
Дай мне коня; я поеду; а ты меня дожидайся;
Тайну держи про себя, чтоб о ней здесь никто
не проведал,

Даже сама государыня-матушка. Если ж назад я
К вам по прошествии целого года не буду, тогда уж
Знайте, что нет на свете меня». Снарядили как должно
В путь Ивана-царевича. Дал ему царь золотые
Латы, меч и коня вороного; царица с мощами
Крест на шею надела ему; отпели молебен;
Нежно потом обнялися, поплакали... с богом! Поехал
В путь Иван-царевич. Что-то с ним будет? Уж едет
День он, другой и третий; в исходе четвертого — солнце
Только успело зайти — подъезжает он к озеру; гладко
Озеро то, как стекло, вода наравне с берегами;
Все в окрестности пусто; румяным вечерним сияньем
Воды покрытые гаснут, и в них отразился зеленый
Берег и частый тростник — и все как будто бы дремлет;
Воздух не веет; тростинка не тронется; шороха в струйках
Светлых не слышно. Иван-царевич смотрит, и что же
Видит он? Тридцать хохлатых сереньких уточек подле
Берега плавают; рядом тридцать белых сорочек
Подле воды на травке лежат. Осторожно поодаль
Слез Иван-царевич с коня; высокой травою
Скрытый, подполз и одну из белых сорочек тихонько
Взял; потом угнездился в кусте дожидаться, что будет.
Уточки плавают, плещутся в струйках, играют, ныряют...
Вот наконец, поиграв, поныряв, поплескавшись, подплыли
К берегу; двадцать девять из них, побежав с перевалкой
К белым сорочкам, оземь ударились, все обратились

В красных девиц, нарядились, порхнули и разом
исчезли.
Только тридцатая уточка, на берег выйти не смея,
Взад и вперед одна-одинешенька с жалобным криком
Около берега бьется; с робостью вытянув шейку,
Смотрит туда и сюда, то вспорхнет, то снова
присядет...
Жалко стало Ивану-царевичу. Вот он выходит
К ней из-за кустика; глядь, а она ему человечьим
Голосом вслух говорит: «Иван-царевич, отдай мне
Платье мое, я сама тебе пригожуся». Он с нею
Спорить не стал, положил на травку сорочку и,
скромно
Прочь отошедши, стал за кустом. Вспорхнула на
травку
Уточка. Что же вдруг видит Иван-царевич? Девица
В белой одежде стоит перед ним, молода и прекрасна
Так, что ни в сказке сказать, ни пѐром описать,
и, краснея,
Руку ему подает и, потупив стыдливые очи,
Голосом звонким, как струны, ему говорит:
«Благодарствуй,
Добрый Иван-царевич, за то, что меня ты послушал;
Тем ты себе самому услужил, но и мною доволен
Будешь: я дочь Кощея бессмертного, Марья-царевна;
Тридцать нас у него, дочерей молодых. Подземельным
Царством владеет Кощей. Он давно уж тебя
поджидает
В гости и очень сердит; но ты не пекись, не заботься,
Сделай лишь то, что я тебе присоветую. Слушай:
Только завидишь Кощея-царя, упади на ко́лени,
Прямо к нему поползи; затопает он — не пугайся;
Станет ругаться — не слушай; ползи да и только;
что после

Будет, увидишь; теперь пора нам». И Марья-царевна
В землю ударила маленькой ножкой своей;
расступилась
Тотчас земля, и они вместе в подземное царство
спустились.
Видят дворец Кощея бессмертного; высечен был он
Весь из карбункула камня и ярче небесного солнца
Все под землей освещал. Иван-царевич отважно
Входит: Кощей сидит на престоле в светлой короне;
Блещут глаза, как два изумруда; руки с клешнями.
Только завидел его вдалеке, тотчас на колени
Стал Иван-царевич. Кощей же затопал, сверкнуло
Страшно в зеленых глазах, и так закричал он, что
своды
Царства подземного дрогнули. Слово Марьи-царевны
Вспомня, пополз на карачках Иван-царевич
к престолу;
Царь шумит, а царевич ползет да ползет. Напоследок
Стало царю и смешно. «Добро ты, проказник, —
сказал он, —
Если тебе удалося меня рассмешить, то с тобою
Ссоры теперь заводить я не стану. Милости просим
К нам в подземельное царство; но знай, за твое
ослушанье
Должен ты нам отслужить три службы; сочтемся
мы завтра;
Нынче уж поздно; поди». Тут два придворных
проворно
Под руки взяли Ивана-царевича очень учтиво,
С ним пошли в покой, отведенный ему, отворили
Дверь, поклонились царевичу в пояс, ушли, и остался
Там он один. Беззаботно он лег на постель и скоро
Сном глубоким заснул. На другой день рано поутру
Царь Кощей к себе Ивана-царевича кликнул:

«Ну, Иван-царевич, — сказал он, — теперь мы
посмотрим,
Что-то искусен ты делать? Изволь, например,
нам построить
Нынешней ночью дворец: чтоб кровля была золотая,
Стены из мрамора, окна хрустальные, вкруг
регулярный
Сад и в саду пруды с карасями; если построишь
Этот дворец, то нашу царскую милость заслужишь;
Если же нет, то прошу не пенять... головы
не удержишь!» —
«Ах ты, Кощей, окаянный, — Иван-царевич подумал, —
Вот что затеял, смотри пожалуй!» С тяжелой
кручиной
Он возвратился к себе и сидит пригорюнясь; уж
вечер;
Вот блестящая пчелка к его подлетела окошку,
Бьется об стекла — и слышит он голос: «Впусти!»
Отворил он
Дверку окошка, пчелка влетела и вдруг обернулась
Марьей-царевной. «Здравствуй, Иван-царевич; о чем
ты
Так призадумался?» — «Нехотя будешь задумчив, —
сказал он. —
Батюшка твой до моей головы добирается». — «Что же
Сделать решился ты?» — «Что? Ничего. Пускай его
снимет
Голову; двух смертей не видать, одной не минуешь». —
«Нет, мой милый Иван-царевич, не должно терять нам
Бодрости. То ли беда? Беда впереди; не печалься;
Утро вечера, знаешь ты сам, мудренее: ложися
Спать; а завтра поранее встань; уж дворец твой
построен

Будет; ты ж только ходи с молотком да постукивай
в стену».
Так все и сделалось. Утром, ни свет ни заря, из
каморки
Вышел Иван-царевич... глядит, а дворец уже построен.
Чудный такой, что сказать невозможно. Кощей
изумился:
Верить не хочет глазам. «Да ты хитрец не на
шутку, —
Так он сказал Ивану-царевичу, — вижу, ты ловок
На руку; вот мы посмотрим, так же ли будешь
догадлив.
Тридцать есть у меня дочерей, прекрасных царевен.
Завтра я всех их рядом поставлю, и должен ты
будешь
Три раза мимо пройти и в третий раз мне без ошибки
Младшую дочь мою, Марью-царевну, узнать;
не узнаешь —
С плеч голова. Поди». — «Уж выдумал, чучела,
мудрость, —
Думал Иван-царевич, сидя под окном. — Не узнать
мне
Марью-царевну... какая ж тут трудность?» —
«А трудность такая, —
Молвила Марья-царевна, пчелкой влетевши, — что если
Я не вступлюся, то быть беде неминуемой. Всех нас
Тридцать сестер, и все на одно мы лицо; и такое
Сходство меж нами, что сам отец наш только по
платью
Может нас различать». — «Ну что же мне делать?» —
«А вот что:
Буду я та, у которой на правой щеке ты заметишь
Мошку. Смотри же, будь осторожен, вглядись
хорошенько,

Сделать ошибку легко. До свиданья». И пчелка
исчезла.
Вот на другой день опять Ивана-царевича кличет
Царь Кощей. Царевны уж тут, и все в одинаком
Платье рядом стоят, потупив глаза. «Ну, искусник, —
Молвил Кощей, — изволь-ка пройтиться три раза мимо
Этих красавиц, да в третий раз потрудись указать
нам
Марью-царевну». Пошел Иван-царевич; глядит он
В оба глаза: уж подлинно сходство! И вот он
проходит
В первый раз — мошки нет; проходит в другой
раз — все мошки
Нет; проходит в третий раз и видит — крадется
мошка,
Чуть заметно по свежей щеке, а щека-то под нею
Так и горит; загорелось и в нем, и с трепещущим
сердцем:
«Вот она, Марья-царевна!» — сказал он Кощею,
подавши
Руку красавице с мошкой. «Э! э! да тут, примечаю,
Что-то нечисто, — Кощей проворчал, на царевича
с сердцем
Выпучив оба зеленые глаза. — Правда, узнал ты
Марью-царевну, но как узнал? Вот тут-то и хитрость;
Верно с грехом пополам. Погоди же, теперь доберуся
Я до тебя. Часа через три ты опять к нам пожалуй;
Рады мы гостю, а ты нам свою премудрость на деле
Здесь покажи: зажгу я соломинку; ты же, покуда
Будет гореть та соломинка, здесь, не трогаясь
с места,
Сшей мне пару сапог с оторочкой; на диво;
да только

Знай наперед: не сошьешь — долой голова;
до свиданья».
Зол возвратился к себе Иван-царевич, а пчелка
Марья-царевна уж там. «Отчего опять так задумчив,
Милый Иван-царевич?» — спросила она. «Поневоле
Будешь задумчив, — он ей отвечал. — Отец твой
затеял
Новую шутку: шей я ему сапоги с оторочкой;
Разве какой я сапожник? Я царский сын; я не хуже
Родом его. Кощей он бессмертный! видали мы много
Этих бессмертных». — «Иван-царевич, да что же
ты будешь
Делать?» — «Что мне тут делать? Шить сапогов
я не стану.
Снимет он голову — черт с ним, с собакой! какая мне
нужда!» —
«Нет, мой милый, ведь мы теперь жених и невеста;
Я постараюсь избавить тебя; мы вместе спасемся
Или вместе погибнем. Нам должно бежать;
уж другого
Способа нет». Так сказав, на окошко Марья-царевна
Плюнула; слюнки в минуту примерзли к стеклу;
из каморки
Вышла она потом с Иваном-царевичем вместе,
Двери ключом заперла и ключ далеко зашвырнула,
За руки взявшись потом, они поднялися и мигом
Там очутились, откуда сошли в подземельное
царство:
То же озеро, низкий берег, муравчатый, свежий
Луг, и, видят, по лугу свежему бодро гуляет
Конь Ивана-царевича. Только почуял могучий
Конь седока своего, как заржал, заплясал и помчался
Прямо к нему и, примчавшись, как вкопанный
в землю,

Стал перед ним. Иван-царевич, не думая долго,
Сел на коня, царевна за ним, и пустились стрелою.
Царь Кощей в назначенный час посылает придворных
Слуг доложить Ивану-царевичу: что-де так долго
Мешкать изволите? Царь дожидается. Слуги
приходят;
Заперты двери. Стук! стук! и вот из-за двери им
слюнки,
Словно как сам Иван-царевич, ответствуют: буду.
Этот ответ придворные слуги относят к Кощею;
Ждать-подождать — царевич нейдет; посылает
в другой раз
Тех же послов рассерженный Кощей, и та же все
песня:
Буду; а нет никого. Взбесился Кощей. «Насмехаться,
Что ли, он вздумал? Бегите же; дверь разломать
и в минуту
За ворот к нам притащить неучтивца!» Бросились
слуги...
Двери разломаны... вот тебе раз; никого там,
а слюнки
Так и хохочут. Кощей едва от злости не лопнул.
Ах! он вор окаянный! люди! люди! скорее
Все в погоню за ним!.. я всех перевешаю, если
Он убежит!.. Помчалась погоня... «Мне слышится
топот», —
Шепчет Ивану-царевичу Марья-царевна, прижавшись
Жаркою грудью к нему. Он слезает с коня и,
припавши
Ухом к земле, говорит ей: «Скачут, и близко». —
«Так медлить
Нечего», — Марья-царевна сказала, и в ту же минуту
Сделалась речкой сама, Иван-царевич железным
Мостиком, черным вороном конь, а большая дорога

На три дороги разбилась за мостиком. Быстро погоня
Скачет по свежему следу; но, к речке примчавшися,
стали
В пень Кощеевы слуги: след до мостика виден;
Дале же и след пропадает и делится на три дорога.
Нечего делать — назад! Воротились разумники.
Страшно
Царь Кощей разозлился, о их неудаче услышав.
«Черти! ведь мостик и речка были они! догадаться
Можно бы вам, дуралеям! Назад! чтоб был
непременно
Здесь он!..» Опять помчалась погопя... «Мне
слышится топот», —
Шепчет опять Ивану-царевичу Марья-царевна.
Слез он с седла и, припавши ухом к земле,
говорит ей:
«Скачут, и близко». И в ту же минуту Марья-царевна
Вместе с Иваном-царевичем, с ними и конь их,
дремучим
Сделались лесом; в лесу том дорожек, тропинок
числа нет;
По лесу ж, кажется, конь с двумя седоками несется.
Вот по свежему следу гонцы примчалися к лесу;
Видят в лесу скакунов и пустились вдогонку за ними.
Лес же раскинулся вплоть до входа в Кощеево
царство.
Мчатся гонцы, а конь перед ними скачет да скачет;
Кажется, близко; ну только б схватить; ан нет,
не дается.
Глядь! очутились они у входа в Кощеево царство,
В самом том месте, откуда пустились в погоню;
и скрылось
Все: ни коня, ни дремучего лесу. С пустыми руками
Снова явились к Кощею они. Как цепная собака,

Начал метаться Кощей. «Вот я ж его, плута!
Коня мне!
Сам поеду, увидим мы, как от меня отвертится!»
Снова Ивану-царевичу Марья-царевна тихонько
Шепчет: «Мне слышится топот»; и снова он ей
отвечает:
«Скачут, и близко». «Беда нам! Ведь это Кощей,
мой родитель
Сам; но у первой церкви граница его государства;
Далее ж церкви скакать он никак не посмеет.
Подай мне
Крест твой с мощами». Послушавшись Марьи-царевны,
снимает
С шеи свой крест золотой Иван-царевич и в руки
Ей подает, и в минуту она обратилася в церковь,
Он в монаха, а конь в колокольню — и в ту же
минуту
С свитою к церкви Кощей прискакал. «Не видал ли
проезжих,
Старец честной?» — он спросил у монаха. «Сейчас
проезжали
Здесь Иван-царевич с Марьей-царевной; входили
В церковь они — святым помолились, да мне
приказали
Свечку поставить за здравье твое и тебе поклониться,
Если ко мне ты заедешь». — «Чтоб шею сломить им,
проклятым!» —
Крякнул Кощей и, коня повернув, как безумный,
помчался
С свитой назад, а примчавшись домой, пересек
беспощадно
Всех до единого слуг. Иван же царевич с своею
Марьей-царевной поехали дале, уже не боясь
Боле погони. Вот они едут шажком; уж склонялось

Солнце к закату, и вдруг в вечерних лучах перед
ними
Город прекрасный. Ивану-царевичу смерть захотелось
В этот город заехать. «Иван-царевич, — сказала
Марья-царевна, — не езди; недаром вещее сердце
Ноет во мне: беда приключится». — «Чего ты боишься,
Марья-царевна? Заедем туда на минуту; посмотрим
Город, потом и назад». — «Заехать нетрудно,
да трудно
Выехать будет. Но быть так! ступай, а я здесь
останусь
Белым камнем лежать у дороги; смотри же,
мой милый,
Будь осторожен: царь, и царица, и дочь их царевна
Выдут навстречу тебе, и с ними прекрасный младенец
Будет; младенца того не целуй: поцелуешь — забудешь
Тотчас меня; тогда и я не останусь на свете,
С горя умру, и умру от тебя. Вот здесь у дороги,
Буду тебя дожидаться я три дня; когда же на третий
День не придешь... но прости, поезжай». И в город
поехал,
С нею простяся, Иван-царевич один. У дороги
Белым камнем осталася Марья-царевна. Проходит
День, проходит другой, напоследок проходит и
третий —
Нет Ивана-царевича. Бедная Марья-царевна!
Он не исполнил ее наставленья: в городе вышли
Встретить его и царь, и царица, и дочь их царевна;
Выбежал с ними прекрасный младенец, мальчик-
кудряшка,
Живчик, глазенки, как ясные звезды; и бросился
прямо
В руки Ивану-царевичу; он же его красотою
Так был пленен, что, ум потерявши, в горячие щеки

Начал его целовать; и в эту минуту затмилась
Память его, и он позабыл о Марье-царевне.
Горе взяло ее. «Ты покинул меня, так и жить мне
Незачем боле». И в то же мгновенье из белого камня
Марья-царевна в лазоревый цвет полевой
превратилась.
«Здесь, у дороги, останусь, авось мимоходом затопчет
Кто-нибудь в землю меня», — сказала она, и росинки
Слез на листках голубых заблистали. Дорогой в то
время
Шел старик; он цветок голубой у дороги увидел;
Нежной его красотою пленясь, осторожно он вырыл
С корнем его, и в избушку свою перенес, и в корытце
Там посадил, и полил водой, и за милым цветочком
Начал ухаживать. Что же случилось? С той самой
минуты
Все не по-старому стало в избушке; чудесное что-то
Начало деяться в ней: проснется старик —
а в избушке
Все уж как надобно прибрано; нет нигде ни пылинки.
В полдень прийдет он домой — а обед уж состряпан,
и чистой
Скатертью стол уж накрыт: садися и ешь на здоровье.
Он дивился, не знал, что подумать, ему напоследок
Стало и страшно, и он у одной ворожейки-старушки
Начал совета просить, что делать. «А вот что ты
сделай, —
Так отвечала ему ворожейка, — встань ты до первой
Ранней зари, пока петухи не пропели, и в оба
Глаза гляди: что начнет в избушке твоей шевелиться,
То ты вот этим платком и накрой. Что будет,
увидишь».
Целую ночь напролет старик пролежал на постели,
Глаз не смыкая. Заря занялася, и стало в избушке

Видно, и видит он вдруг, что цветок голубой
встрепенулся,
С тонкого стебля спорхнул и начал летать по
избушке;
Все между тем по местам становилось, повсюду
сметалась
Пыль, и огонь разгорался в печурке. Проворно
с постели
Прянул старик и накрыл цветочек платком, и явилась
Вдруг пред глазами его красавица Марья-царевна.
«Что ты сделал? — сказала она. — Зачем возвратил ты
Жизнь мне мою? Жених мой, Иван-царевич
прекрасный,
Бросил меня, и я им забыта». — «Иван твой царевич
Женится нынче. Уж свадебный пир приготовлен,
и гости
Съехались все». Заплакала горько Марья-царевна;
Слезы потом отерла; потом, в сарафан нарядившись,
В город крестьянкой пошла. Приходит на царскую
кухню;
Бегают там повара в колпаках и фартуках белых;
Шум, возня, стукотня. Вот Марья-царевна,
приближась,
К старшему повару, с видом умильным и сладким,
как флейта,
Голосом молвила: «Повар, голубчик, послушай,
позволь мне
Свадебный спечь пирог для Ивана-царевича». Повар,
Занятый делом, с досады хотел огрызнуться;
но слово
Замерло вдруг у него на губах, когда он увидел
Марью-царевну; и ей отвечал он с приветливым
взглядом:
«В добрый час, девица-красавица; все что угодно

Делай; Ивану-царевичу сам поднесу я пирог твой».
Вот пирог испечен; а званые гости, как должно,
Все уж сидят за столом и пируют. Услужливый
повар
Важно огромный пирог на узорном серебряном блюде
Ставит на стол перед самим Иваном-царевичем;
гости
Все удивились, увидя пирог. Но лишь только
верхушку
Срезал с него Иван-царевич — новое чудо!
Сизый голубь с белой голубкой порхнули оттуда.
Голубь по столу ходит; голубка за ним и воркует:
«Голубь, мой голубь, постой, не беги; обо мне
ты забудешь
Так, как Иван-царевич забыл о Марье-царевне!»
Ахнул Иван-царевич, то слово голубки услышав;
Он вскочил, как безумный, и кинулся в дверь,
а за дверью
Марья-царевна стоит уж и ждет. У крыльца же
Конь вороной с нетерпенья, оседланный, взнузданный,
пляшет.
Нечего медлить; поехал Иван-царевич с своею
Марьей-царевной; едут да едут, и вот приезжают
В царство царя Берендея они. И царь и царица
Приняли их с весельем таким, что такого веселья
Видом не видано, слыхом не слыхано. Долго не стал
Думать, честным пирком да за свадебку; съехались
гости,
Свадьбу сыграли; я там был, там мед я и пиво
Пил; по устам текло, да в рот не попало. И все тут.

И. В. КИРЕЕВСКИЙ

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА: ДВЕ ЖИЗНИ

ГЛАВА I

Изящным называют прекрасное, прекрасно выраженное. И если это справедливо, то искусство хорошо одеваться должно принадлежать к числу изящных искусств, по крайней мере, столько же, сколько танцованье.

Вот почему на женщину, одетую со вкусом, я смотрю с удовольствием эстетическим, как на артиста, которого мы с наслаждением разгадываем в его созданиях. И одеваться хорошо не так легко, как думают обыкновенно. Для этого нужно много, много условий, и я думаю, что это так же трудно, как быть великим музыкантом, или великим живописцем, и, может быть, даже великим человеком. Правда, на свете чаще встречаются женщины, хорошо одетые, чем Наполеоны и Байроны; но это потому только, что природа сама женщина и от того в дарах своих щедрее к своему прекрасному полу, чем к нашему. А в доказательство, что я говорю без преувеличения, постараемся исчислить все те качества, которые необходимо иметь женщине, чтобы одеваться хорошо, в истинном смысле этого слова.

Для этого нужно:

1. Красота, по крайней мере, некоторая степень красоты; без того не может быть и речи об изящном.

2. Вкус, то есть качество, которого нельзя ни купить, ни выучить, которое дается немногим и которое даже тогда, когда дано природою, еще имеет нужду в счастливом и правильном развитии. Следовательно:

3. Воспитание и образованность. Здесь, вероятно, многие будут противного мнения. «Кому не случалось, — скажут они, — встречать женщину прекрасно одетую, без образованности и воспитания?» Но рассуждать об одежде таким образом, значит не понимать ее глубокого значения. Конечно, женщина необразованная может быть одета по моде и даже к лицу; но разве это все? Красота одежды заключается не в моде и даже не в красивости, она не в шелках и не в блондах, не в страусах и не в бриллиантах. Одежда, как слово, кроме наружной гармонии, имеет еще свой внутренний смысл, понятный для понимающего. Этот смысл должен быть в ладу не только с лицом и модою, но с целым существом женщины. Та, которой одежда не имеет смысла, одета дурно. Женщина, которой манеры противоречат ожиданиям, возбужденным ее одеждою, одета дурно. Женщина, которой наружность несогласна с оборотом ее ума и с характером ее любезности, одета дурно. Одним словом, все то, что нарушает внутреннюю и внешнюю гармонию, все то дурно, все то неприлично или не к лицу, все бессмысленно и не изящно. Потому для прекрасной, гармонической одежды необходима еще

4. Грация манеров. Но это качество, без которого нет ни платья хорошо сшитого, ни платья хорошо надетого, эта грация манеров, которая разливает такую обворожительную атмосферу вокруг женщины, действует, как обман, только на первую минуту, если не соединена с другою, с душевною грацией. И потому, чтобы наряд женщины был прекрасен больше одной первой минуты, должна она иметь еще

5. Внутреннюю грацию, грацию ума и душевных движений, которая предполагает внутреннюю жизнь стройную, гармоническую, прекрасную, т. е.,

6. Поэзию сердца.

Но для того, чтобы чувствовать красоту и постигать ее во всей глубине и во всех утонченностях, кроме поэзии сердца, надобно иметь еще

7. Познание человеческого сердца, которое (заметим между прочим) есть основание всей житейской мудрости и которого нельзя иметь без

8. Познания самих себя, которое есть, ни больше ни меньше, как основание великой мудрости и всякой добродетели.

Но всего этого еще мало для того, чтобы хорошо одеваться. Чтобы красивый наряд женщины был вместе и прекрасным выражением ее внутренней красоты, мало иметь красоту, понимать красоту и любить красоту; кроме красоты она должна иметь еще

9. Постоянную возвышенность ума и характера. Ибо без того нет силы человеческой, которая могла бы отвлечь женщину от суетности; а где суетность, там желание нравиться сильнее необходимости внутренней гармонии; там желанье нравиться на счет истины; там может быть блеск, может быть даже минутное очарование, но не может быть прелести глубокой, поэтической жизни, гармонически выражающейся в прекрасной наружности. Без особенной, врожденной и тщательно воспитанной возвышенности ума и характера, всякая женщина будет больше или меньше тщеславною и предпочтет одобрение многих немногим, и количество поклонников будет ей дороже их качества. Она захочет блестеть пред всяким, кружить головы слабые и оденется прекрасно для людей обыкновенных, но бессмысленно для мыслящего. Толпа будет от нее без ума, т. е. в натуральном своем положении; человек мыслящий пройдет

мимо ее равнодушно: человек с душой не заметит ее.

Таким образом, одежда имеет свою физиономию, предполагает своих Лафатеров[1] и так же, как лицо, может служить зеркалом души. Но для того, чтобы одежда служила зеркалом души, не мешает женщине иметь, между прочим, еще одно качество —

10. Душу.

Вы видите из всего сказанного, что одеваться со вкусом, со смыслом, изящно, поэтически, гармонически, и пр. и пр., одним словом: одеваться хорошо, — не может быть общею принадлежностью женщин нигде, ни в каком государстве. Потому я надеюсь, что московские красавицы не примут себе в особенную обиду, когда я скажу им, что Бронский, герой моей повести, в целый вечер не мог найти на Тверском бульваре ни одной дамы хорошо одетой, хотя дам было много, потому что это был день гулянья.

Впрочем я думаю, что без оскорбления московской чести можно признаться, что дамы здесь одеваются особенно дурно. Это живо чувствовал Бронский, который недавно возвратился из чужих краев с еще свежими воспоминаниями и с несчастною охотою сравнивать.

Он находил больше изысканности, чем вкуса, больше небрежности, чем простоты, и вообще в нарядах больше противоречий, чем украшений. Под модною шляпкой неразглаженное платье. Там платье стройное, но пояс на один бок и нескладный башмак. Там в одной одежде смешенье десятилетних уборов, и едва рождающаяся мода на развалинах давно забытого наряда. Там нет анахронизмов, но зато нет и простоты. Там простота, но нет опрятности: либо

букли не на месте, либо смяты, либо перчатки нечистые, либо башмаки изношенные, а иногда даже стоптанные на одну сторону! Там шелк и блонда[2], и бриллианты, и перья, и блеск, и мода, и все вместе нестройно и безвкусно. Там и вкус и простота, но корсет так стянут, что мешает естественности движений, так что, несмотря на всю красивость наряда красавицы, желаешь ей нарядиться хуже, чтобы казаться лучше. Всего реже встречал Бронский хорошо обутую ножку, и с грустным чувством заметил он, что если московские барыни вообще одеваться не умеют, то обуваются, Боже мой! обуваются еще хуже. Изредка, правда, случалось ему встретить обувь красивую и стройную; но башмак, складный снаружи, почти всегда был так узок, что мешал ходить, или платье так коротко, что ножка из-под него казалась будто на выставке; и по тонким прозрачным чулкам толстыми нитками была вышита вывеска:

здесь показываются красивые ножки.

Иногда, редко, находил Бронский весь наряд прекрасным, — но только при другом лице; иногда он был и к лицу, но так строго по моде, так рабски нов, что женщина в нем казалась тою куклою, которую всякий день посылают с модами из Парижа в Лондон. И это рабство, эта кукольность давали личику хорошенькому, часто неглупому, оттенок какой-то машинальности, нисколько не пленительной для глаз и еще меньше привлекательной для воображения.

Вообще, чем больше Бронский рассматривал наряды гуляющих, тем меньше находил их по сердцу, и уже в досаде готов он был оставить бульвар, когда вдруг перед его глазами мелькнули две ножки, ко-

торые сильно взволновали его любопытство; ножки невыразимо стройные и обутые со всею красивостью самого утонченного вкуса. Он поднял глаза выше, дама между тем прошла мимо, опираясь на руку кавалера, так что Бронский уже не мог рассмотреть лица ее, но зато видел ее талию, ее стройную талию, аристократически грациозную и тонко обхваченную широким, голубым и свободным поясом. Невольное чувство заставило Бронского идти за нею.

Нет ничего легче, как описать ее наряд: белое платье без прихотливых затей, соломенная шляпка без перьев, без цветов, без бантов, безо всяких украшений; турецкая шаль, накинутая небрежно, — и вот все, что можно рассказать об ее наряде. Но как выразить эту гармонию и стройность, эту благородную простоту, эту музыкальную красивость, которыми, казалось, проникнуто все существо ее, так что ее одежда, ее гибкий стан, ее стройные движения и грация ее поступи, все казалось одним изящным созданием, одною прекрасною мыслию, одним счастливым сном.

В покрое ее платья и в живописности ее прически все требования моды были какою-то удачею, или правильнее, каким-то волшебством соглашены с требованиями самого разборчивого, самого художественного вкуса. Не было ничего в ее наряде, где бы можно было заметить границу между модою и вкусом, между искусством и природою, и смотря на нее, светский наблюдатель, конечно, задумался бы о том: лицо ли красавицы так счастливо пришлось к сегодняшней моде, или наряд был с уменьем и вкусом приноровлен к прерасному ее лицу.

Лицо ее, когда Бронский рассмотрел его, возбудило в нем такое чувство, в котором соединялись

два обыкновенно различные движения души: удовольствие и грусть; удовольствие эстетическое, которое внушает нам все светлое в природе, все правильное в искусствах; грусть музыкальная и еще неназванная, которую возбуждает в нас тоже явление искусств или природы только тогда, когда посреди прекрасных форм его мы открываем такое чувство, которое можем понять только одиноким движением сердца, но не в силах ни передать его, ни даже назвать другому; ибо для редкого, для избранного часто нет у людей ни общего понятия, ни готового имени.

Черты лица ее, тонкие, благородные, правильные, казались прозрачными: так чисто и явственно выражались сквозь них ее музыкальные, веселые, фантастические движения души.

Она могла бы напомнить Магдалину Кановы [3], если бы Магдалину кающуюся можно было вообразить веселою и смеющеюся.

Мужчина, который вел ее под руку, казался между пятидесятью и шестидесятью лет. Он был одет просто, но не без щеголеватости.

Вообще и он и она были явление необыкновенное на Тверском бульваре. Но замечательнее всего было в них именно то, что всего меньше могло быть замечено: они прошли посреди гуляющих, не обратив на себя почти ничьего внимания, и Бронскому не легко было узнать, кто они, потому что никто не понимал, о ком он говорит. Наконец, однако, нашелся один старый отставной генерал, который мог дать ему об них некоторое понятие.

«Теперь я знаю, о ком вы говорите», — сказал он Бронскому, после многих неудачных догадок. «Человек пожилой с молодою дамою? высокий ростом?

шея прямо? спина не гнется? словом сказать, иностранная фигура, то есть, не Русская — или — как бы сказать?... иностранная? Это Вельский с дочерью; я его знавал прежде. Он был лет пять за границей и недавно возвратился; ужасный чудак; англоман; а впрочем, человек приятный, человек образованный, и, можно сказать, умный человек.»

Генерал, который рассуждал таким образом, принадлежал к числу тех людей в Москве, которые сами отличаются и невежеством, и глупостью, и особенно какою-то непонятною тяжестию пустоты, но за то составляют другим репутацию образованности, ума и любезности. Странная Москва! Но и эта странность имеет свой смысл; и для нее можно найти достаточную причину; и она даже дает надежды на будущее, надежды, которые рождаются не из прямого действия обстоятельств, но рикошетом, как ядро, которым на воде стреляют ниже, чтобы оно отскочило выше.

ГЛАВА II

Я надеюсь, что читатели из слов генерала не станут еще заключать об Вельском. Правда, он имел некоторые особенности; но из этого еще не следует, чтобы он был ужасным чудаком. Англоманом же назвал его генерал в том смысле, в каком русские купцы продают немецкое шампанское.

Вельский имел много привычек не московских и вообще любил создавать себе образ жизни сам, тогда только следуя принятым обычаям, когда они совпадали с его мыслями. Несмотря на древность своего дворянства, привычки жизни своей составил он себе по образцу среднего сословия образованной Европы, перенимал иное у англичан, другое у немцев, иное

у французов, не пренебрегая, впрочем, и русского, когда оно не мешало его вкусам и входило в тот смысл, который он старался дать своей жизни. К его крыльцу, вместо швейцара, был приделан колокольчик. Вместо стаи лакеев имел он самую немногочисленную прислугу, и ту вольную. В комнатах его не было ничего лишнего, но все нужное, все удобное. Мебели отличались роскошью изящества, покоя и чистоты, а не золота. На столе его всегда лежала последняя иностранная газета и несколько литературных журналов. В кабинете его были все замечательные новости наук и словесности. Кухня его была русская, то есть не древнерусская, не множество блюд без конца и без вкуса, но русская новая, эклектически-европейская, то есть такая, каким со временем должно быть русское просвещение. Маленькую карету его возили две лошади и почти всегда без лакея. Щеголеватость его платья замечали не многие, — так оно было просто и однообразно. Вообще опрятность, покой, вкус, простота и английское удобство были отличительным характером всех его роскошей.

Воспитанная посреди таких привычек, под надзором отца умного и просвещенного, проведя пять лет в чужих краях, в кругу самых отборных обществ, в атмосфере изящных искусств и умственной аристократии; одаренная самыми счастливыми способностями и красотою не общею, — Софья Вельская, семнадцати лет, была бы одною из замечательных девушек в самых образованных землях, а тем больше в России. Несмотря на то, однако, она в Москве не понравилась сначала. И в самом деле, между нею и большинством московских дам было не много общего. Что занимало ее, не занимало их; а их разговоры

были ей не по сердцу. Важное для них, казалось ей неважным; а любопытное для нее, заставляло их зевать. Она не могла смеяться, когда другие смеялись и, бедная, смеялась почти всегда одна. Она не вертела фраз, не искала сентенций, говорила просто, как думала, и только то, что думала, — и потому прослыла ограниченною. Она слушала, когда ей говорили, и не могла говорить, когда ее не слушали или не понимали, — и потому прослыла странною. Не находя людей по сердцу, она молчала сколько могла, — и потому прослыла гордою. Поведения своего она не рассчитывала на эффект, — и потому прослыла вместе и сентиментальною и холодною. Она не восхищалась любезностями московских кавалеров, — и потому прослыла пустою. Она невольно скучала посреди несходных с нею обществ, и потому прослыла скучною.

К этому еще надобно прибавить, что Софья была застенчива.

В. Ф. ОДОЕВСКИЙ

ПЕТР ПУСТЫННИК

В Итальянской Опере давали «Петра Пустынника». Мне досталось сидеть в ложе возле самой сцены, пред моими глазами театральная природа была во всей наготе своей: разрумяненные лица, поддельные волосы, мишура, нарисованные морщины; по косым квадратам были намалеваны сусальным золотом бог знает для чего разной величины колонны, и сквозь холстинных сводов Египетской залы видны были обломки деревьев, модных окошек, надгробных камней, там между щитами крестоносцев мелькали лица в сертуках и в чепчиках; мусульманин крестился, уверяя машиниста, что не он задел чалмою лавину, зазвеневшую в то самое время, когда примадонна разливалась в руладах a piacere [1*], и пока Оросман предавался оранию, перукмахер в белом переднике расчесывал бороду Нурредина. Прибавьте к этому неловкость актеров, их остроконечные жесты и гримасы, шепот суфлера — вокруг лишь лица, которых каждый день встречаешь в гостиных пополам с стульями, лампами и столами, зрители, которым издали все бывшее на сцене казалось прекрасным, и кто поверит, что я смеялся от доброго сердца, смотря на эту пеструю картину, на эту насмешку над очарованием. Но более всех бывших меня <смешил> актер, представлявший лицо Петра Пустынника: он был высокого роста, в длинной схиме, подпоясанный веревкою, натянутый полотняный лоб разливал безжизненность по длинному лицу его; вероятно, желая

[1*] с удовольствием (*ит.*).

Первая страница автографа повести В. Ф. Одоевского «Петр Пустынник», предназначавшейся для опубликования в «Европейце» (ГПБ)

изобразить спокойствие своего духа, он оборачивался не иначе как всем туловищем, рассекал воздух косыми углами и на все кудрявые крики Оросмана и на все отработанные вопли Агии отвечал холодными протяжными звуками, — словно то была настоящая каррикатура Каменного гостя в Моцартовом Дон Жуане. Это забавное страшилище ходило и выходило мерными тяжелыми шагами, важно повелевало холстинным громом и молниею, не обращая никакого внимания на терзания любовников, которые в свою очередь смотрели больше на капельмейстера, нежели друг на друга, и лишь изредка склонялось к маленькому Лузиньяну illustre Cavaliere [2*] с женою, которые так же, как казалось уже издавна, смертельно надоели друг другу. Хор крестоносцев в бумажных латах не слушал почтенной четы, повторяя высокие итальянские речи самым чистым простонародным наречием.

Наконец наскучило мне смеяться. Лампы жгли мне глаза, и, чтобы они не мешали ушам, ‹я› спрятал лицо в воротник бобровой шубы и уставил‹ся› в дальний угол ложи. Между тем в оркестре инструменты бушевали, свистали гобои, глухой голос четырех валторн отдавался, как из могилы, от резкого звука труб дрожь пробегала по нервам и грепещущие перекаты тромбона делались чаще и яснее, буря разыгрывалась час от часу сильнее... слышите? взрыв за взрывом, громада за громадой... все падало... рушилось... тряслась вселенная, прекратилось течение времени, годы и дни, люди и природа смешались, прошедшие века возвращались и с удивлением смотрели на настоящее...

[2*] знаменитый кавалер (*ит.*).

Вокруг развалины, степи, гранитные скалы, равнодушные свидетели земных переворотов, глубокие расселины, верно очерченные слои растений и животных, некогда полные жизни и па остатках которых развивались новые миры, спешили существовать и снова уступали место новому поколению, возле меня Петр Пустынник — старец тысячелетний, исполин, борода до колен, седая, покрасневшая как лентие[1] жертвопр <...>[3*] лунный свет в ледяных глазах, вековой снежный мох на челе — пред старцем на коленах дева, бледная, трепещущая, как лилия, крутимая ветром при подошве утеса, звуки ее голоса разрывали сердце.

«Я люблю Оросмана, — говорила она, — уж давно привыкла любить его. Не разлучай нас! Не называй мою любовь преступлением. Совесть меня не тревожит. Это преступление сделалось моей жизнию, моею добродетелью, другой я не знаю. Смотри, тысячи повинуются тебе, замечают твое движение; слепо следуют за тобою, презирая и скорби, и болезни, на что тебе еще и мои страдания? Без них разве мало тебе наслаждений на свете, а я еще только теперь узнала, что я была счастлива».

Старец не отвечал ни слова и длинною рукою угрюмо показывал ей отдаленный берег и волны морские.

«Что мне до моей родины? на что мне свобода, которую ты даровал мне. В счастливые дни моего плена, когда Оросман приходил ко мне, когда огонь его души сжигал мою душу — я не спрашивала его, кто он, неверный или христианин, Египтянин или

[3*] Окончание слова неразборчиво. (*Ред.*)

Рыцарь Храма[2], мы и не говорили об этом, я лишь спрашивала: любит ли он меня?»

«И перестань, Агия, — говорил Лузиньян, — вспомни, что он никогда не может быть тебе законным супругом, он неверный, он мусульманин, вспомни, что ты княжеской крови и принадлежишь к одной из лучших фамилий. Дедушка твой никогда этого не ожидал бы».

«Безумная — говорил старец, — ты любишь изверга, изувера — он коварством выманил власть, он обманул произведшего его на свет, пожертвовал тысячьми, мечтал сопротивляться мне и удовольствовать своей страсти».

«Тебя не трогают ее слезы, — говорил Оросман, — Старец Неумолимый! И ты еще ругаешься надо мною, но не слез ожидая от меня. Так, я верю твоему могуществу, я испытал его, но я и его презираю и не страшусь тебя. Так! я отдал тебе на жертву кровь моих подданных, презрел благо родины, я обманул любовь отца, радуйся! Ты заставил меня осушить до дна чашу злодейства, ты заставил меня низойти в те мрачные вертепы преступлений, где исчезает самый гнев, последняя искра души благородной. Но ты не разлучишь меня с Агией, кто дал тебе на нее право? говори, что есть общего между тобою и нами? Ты притек из иноземных пределов, едва понимаешь язык наш, едва можешь дышать нашим воздухом — и хочешь быть судиею души нашей. На моем блестящем престоле я не имел друга, но лишь рабов. Я был *один*. Понимаешь ли весь ужас этого слова — он я узнал Агию — нас Природа, Судьба и Провидение создали друг для друга, они влили в нас одни мысли, одни чувства; и ты думаешь так легко

разлучить <нас> — потому только, что мать родила ее на свет несколькими шагами дальше от моего чертога, нежели от твоего вертепа, ты мнишь оторвать ее от моего сердца, насмеяться над нашим блаженством?»

«Блаженством, — повторил холодно Старец. — Безумцы! — сочтите дни этой болезни, которую вы так гордо называете жизнию, — несколько мгновений пройдет, не успеете назвать их блаженством, и все исчезнет, и могильные черви высосут ваше сердце, теперь полное страстей и желаний».

— А ты и эти краткие мгновения хочешь обратить в тяжкую муку, — воскликнул Мусульманин.

— И преступление и добродетель равны за могилой, говорят Мудрецы Востока. Не отнимай моего сладкого преступления, — вскричала Агия и в отчаянии повергласъ на землю.

Но и взора более старик не удостоил; потрясал землю, низводил гром небесный, воздымал ураганы, и все так спокойно, так холодно — даже злобной улыбки не видно было на устах его, казалось, напротив, что страдания любовников еще более успокоивали его душу: но чем более холоден он, тем больший огонь воспламенялся в сердце Оросмана. Так с вышины мрачных сводов Тайного Судилища падали на главу страдальца капли ледяной воды, и с каждой каплею жилы его туже напрягаются, пульс бьется сильнее, и пламенная кровь сильнее клокочет в распаленном мозгу его.

Тщетно Петр Пустынник силою неба и земли хотел разлучить любовников, они называли друг друга самыми нежными именами, клялись в вечной любви и в вечном терзании. Между тем Лузиньян

с своею женою почтительно преклонили колена пред Пустынником, и толпа Крестоносцев укоряла любовников в непослушании. Оросман ломал руки свои, бросался в объятия своей подруги; кровавые слезы катились из глаз его, он обнимал Агию, крепко сжимал ее в своих объятиях и обессиленный падал на землю.

С досадою смотрел я на зрителей, которые наводили на нас лорнеты и хладнокровно рукоплескали нашим страданиям, — вдруг смотрю на свою ложу — и с ужасом вижу самого себя: я тоже смеялся и иногда также хлопал в ладоши с другими.

Но этот ужас скоро уступил место другому — Крестоносцы с неистовством влачили по земле злополучную Агию. Отец удерживал Оросмана. Гордый наследник мусульманского трона собирает последние силы, презирает страшное могущество Пустынника и в самозабвении бросается на него, но тщетно. Пустынник возводит руки, гром грянул, Оросман мертв, и впервые улыбка раздвинула уста ненавистного старца.

«Особы непринадлежащие к театру не имеют права входа в оный во время репетиций», — проговорил кто-то возле меня — я проснулся — пустый Театр едва освещался свечою Суфлера, луч утреннего солнца преломлялся о колонны, — на сцене повторяли какой-то водевиль, режиссер хлопотал, работники тащили через сцену половину Египетского обелиска...

С английского — *Гр.*[3]

СЦЕНА ИЗ ПЕТРА ПУСТЫННИКА

Объясните мне, Милостивые Государи, то чувство, которое возбуждается в нас драматическим представлением? От чего ты бываешь в одно время и на сцене и в креслах? Актер, с которым мы говорили за минуту до начала спектакля кажется на сцене нам совсем другим лицом? Каким образом мы в одно и то же время принимаем живое участие в судьбе действующего лица — и судим об нем, как об человеке?

В Итальянской Опере давали «Петра Пустынника». Мне досталось сидеть в ложе возле самой сцены, пред моими глазами театральная природа была во всей наготе своей: разрумяненные лица, поддельные волосы, мишура, нарисованные морщины; по косым квадратам были намалеваны сусальным золотом бог знает для чего разной величины колонны, и сквозь холстинных сводов Египетской залы видны были обломки деревьев, модных окошек, надгробных камней, там между щитами крестоносцев мелькали лица в сертуках и в чепчиках; мусульманин крестился, уверяя машиниста, что не он задел чалмою лавину, зазвеневшую в то самое время, когда примадонна разливалась в руладах a piacere[1*], и пока Оросман предавался оранию, перукмахер в белом переднике расчесывал бороду Нурредина. Прибавьте к этому неловкость актеров, их остроконечные жесты и гримасы, шепот суфлера — вокруг лишь лица, взоткнуты на галстуках, которые и без того каждый день встре-

[1*] с удовольствием (*ит.*).

чаешь в гостиных пополам со стульями, лампами и столами, прибавьте простодушных зрителей, коим издали все бывшее на сцене казалось прекрасным, и кто не поверит, что я то смеялся, то негодовал, смотря на эту пеструю картину, на эту насмешку над очарованием. Но более всех смешил меня актер, представлявший лицо Петра Пустынника: он был высокого роста, в длинной схиме, подпоясанной веревкою, полотняный лоб разливал безжизненность по длинному лицу его; вероятно, желая изобразить спокойствие своего духа, он оборачивался не иначе как всем туловищем, рассекал воздух косыми углами и на все кудрявые крики Оросмана и на все отработанные вопли Агии отвечал холодными звуками. Это забавное страшилище ходило и выходило мерными тяжелыми шагами, как каменный гость в Моцартовском Дон Жуане, важно повелевало холстинным громом и молниею, не обращая никакого внимания на терзания любовников, которые в свою очередь смотрели больше на капельмейстера, нежели друг на друга, и лишь изредка склонялось к маленькому Лузиньяну illustre Cavaliere [2*] с женою, которые так же, как казалось уже издавна, смертельно надоели друг другу. Хор крестоносцев в бумажных латах не слушал ни почтенной четы, ни Петра Пустынника и повторял итальянские высокие речи самым чистым простонародным наречием. Наконец наскучило мне смеяться; беловатый свет от тусклых ламп жег мне глаза, и, чтобы они не мешали ушам, я спрятал лицо в воротник квароги и уселся в дальний угол ложи. Между тем в оркестре инструменты

[2*] знаменитый кавалер (*ит.*).

бушевали, свистали гобои, глухой голос четырех валторн отдавался, как из могилы, от резкого звука труб дрожь пробегала по нервам, и трепещущие перекаты тромбона делались чаще и яснее, буря разыгрывалась час от часу сильнее... слышите? взрыв за взрывом, громада за громадой... все падает... рушится..., прекратилось течение времени, годы и дни, люди и природа смешались, прошедшие века возвращались и с удивлением смотрели на настоящее...

...Вокруг меня развалины, степи, гранитные скалы, равнодушные свидетели земных переворотов, глубокие расселины, в них многочисленные слои растений и животных, некогда полные жизни и на остатках которых развивались новые миры, спешили существовать и снова уступали место новому поколению, возле меня Петр Пустынник — старец тысячелетний, исполин, борода до колен, седая, покрасневшая, как лентие жертвоприносителя, лунный свет в ледяных глазах, вековой снежный мох на челе — пред старцем на коленах бледная, трепещущая дева, как лилия, крутимая ветром при подошве утеса, звуки ее голоса разрывали сердце.

«Я люблю Оросмана, — говорила она, — еще недавно привыкла любить его. Не разлучай нас! Не называй мою любовь преступлением, — совесть меня не тревожит, это преступление сделалось моей жизнию, моею добродетелью, другой я не знаю. Тысячи повинуются тебе, замечают твое движение, следуют за тобою, презирая и скорби, и болезни, на что тебе еще и мои страданья? разве без них мало тебе наслаждений на свете, а я еще только в сию минуту узнала, что я была счастлива.»

Старец не отвечал ни слова и длинною рукою

угрюмо показывал ей отдаленный берег и волны морские.

«Что мне до моей родины? на что мне свобода, которую ты даровал мне. В счастливые дни моего плена, когда Оросман приходил ко мне, когда огонь его души сжигал мою душу, — я не спрашивала его, кто он, неверный или христианин, Египтянин или Рыцарь Храма, мы и не говорили об этом, я лишь спрашивала, любит ли он меня?»

«И перестань, Агия, — говорил Лузиньян, — вспомни, что он никогда не может быть тебе законным супругом, он неверный, он мусульманин, вспомни, что ты княжеской крови и принадлежишь к одной из лучших фамилий. <...> [3*] твой никогда этого не ожидал так».

«Безумная, — говорил Пустынник Агии, — ты любишь изверга, изувера — он коварством выманил власть, он обманул произведшего его на свет, пожертвовал тысячами, мечтал сопротивляться мне и удовлетворить своей страсти».

«Тебя не трогают ее слезы, — говорил Оросман, — Старец Неумолимый! И ты еще ругаешься над ними, но не слез ожидай от меня. Так, я верю твоему могуществу, я испытал его и его презираю и не страшусь, а презираю тебя. Ты грозил мне позором, смертию! Любить ее всею силою души моей, находить в ее сердце отголосок чувств моих — всю жизнь мою — другой я не понимаю. Позор? но я уже отдал тебе на жертву кровь моих подданных, я презрел благо родины, я обманул любовь отца, радуйся! Ты заставил меня осушить до дна чашу злодейства, ты заста-

---

[3*] Пропущено слово. (*Ред.*)

вил меня низойти в те мрачные вертепы преступлений, где исчезает самый гнев, последняя искра души благородной. Но ты не разлучишь меня с Агией, кто дал тебе на нее право? говори, что есть общего между тобою и нами? Ты пришел из иноземных пределов, едва понимаешь язык наш, едва можешь дышать нашим воздухом — и хочешь быть судиею души нашей. На моем блестящем престоле я был один, но я узнал Агию — нас природа, судьба и провидение создали друг для друга, они влили в нас одни мысли, одни чувства; и ты думаешь так легко разлучить нас потому только, что мать родила ее на свет несколькими шагами дальше от моего чертога, нежели от твоего мрачного вертепа, ты мнишь оторвать ее от моего сердца, насмеяться над нашим блаженством?»

«Блаженством, — повторил холодно Старец. — Безумцы! — сочтите дни этой болезни, которую вы так гордо называете жизнию — несколько мгновений пройдет, не успеете назвать их блаженством, и все исчезнет, и могильные черви высосут ваше сердце, теперь полное страстей и желаний».

— А тебе бы и эти краткие мгновения обратить в тяжкую муку, — воскликнул Мусульманин.

— Я женщина — для меня и преступления и добродетель равны за могилою, говорят мудрецы Востока. Не отнимай моего сладкого преступления, — вскричала Агия и в отчаянии повергласъ на землю.

Но и взора более старик не удостоил ее; он потрясал землю, низводил гром небесный, воздымал ураганы, и все так спокойно и так холодно — даже злобной улыбки не видно было на устах его, каза-

лось, напротив, что страдания любовников еще более успокоивали его душу; но чем более холодел он, тем больший огонь воспламенялся в сердце Оросмана. Так с вышины мрачных сводов тайного судилища падают на главу страдальца капли ледяной воды, с каждой каплею жилы его туже напрягаются, пульс бьется сильнее, и пламенная кровь сильнее клокочет в распаленном мозгу его.

Тщетно Петр Пустынник силою неба и земли хотел разлучить любовников, они называли друг друга самыми нежными именами, клялись в вечной любви и в вечном терзании. Между тем Лузиньян с своею женою почтительно преклонили колена пред Пустынником, и толпа Крестоносцев укоряла любовников в непослушании. Оросман ломал руки свои, бросался в объятия своей подруги; кровяные слезы катились из глаз его, он обнимал Агию, крепко сжимал ее в своих объятиях и обессиленный падал на землю. С досадою смотрел я на зрителей, которые наводили на нас лорнеты и хладнокровно рукоплескали нашим страданиям, — вдруг смотрю на свою ложу — и с ужасом вижу самого себя: я тоже смеялся и иногда также хлопал в ладоши с другими. Но этот ужас скоро уступил место другому — Крестоносцы с неистовством влачили по земле злополучную Агию. Отец удерживал Оросмана. Гордый наследник мусульманского трона собирает последние силы, презирает страшное могущество Пустынника и в забытии бросается на него, но Петр возводит руки, гром грянул, и Оросман мертв, и впервые улыбка раздвинула уста ненавистного старца.

«Особы непринадлежащие к театру не имеют права входа в оной во время репетиции», — прогово-

рил кто-то возле меня — я проснулся, уже было утро — пустый Театр едва освещался свечою Суфлера, луч утреннего солнца преломлялся с колонны, — на сцене повторяли какой-то водевиль, режиссер хлопотал, работники тащили через сцену половину Египетского обелиска...

ь. ъ. й.[4]

Э. П. ПЕРЦОВ

П‹УШКИН›У

Счастлив любимец наслажденья,
Свободу в сердце утаив;
Счастлив причастник вдохновенья:
Ты, мой Поэт! вдвойне счастлив.
Сама судьба ковром богатым
Тебе устлала жизни путь,
Любовь была твоим пенатом,
Веселий чистых ароматом
Дышала пламенная грудь.
Чтя неба волю роковую,
Ты беззаботно юность вел,
Хоть Промысл тучу громовую
Вдруг на главу твою навел.
Ты злополучьем был украшен;
Гордись бедой своей, Поэт!
Так год пожаров и побед
Сгромил верхи Кремлевских башен,
Но снова годы тишины
Их красотой изумлены
И пусть все в мире время косит, —
Тебе ль робеть? ты свой удел
В стихах златых запечатлел:
Твоих веселий сердце просит,
Твоя печаль наводит грусть,
И девы помнят наизусть
Твои сердечные куплеты.
Как часто юные поэты,
Плетя на твой узор стихи,
Кончают рифмами твоими,
И рады б знать твои грехи,
Чтобы исповедоваться ими.

ЭЛЕГИЯ

Грустна, тяжка забота дум
Но есть мне светлые мгновенья,
Когда порывом вдохновенья
Вдруг вознесен крылатый ум.
Расторгнув узы жизни дольной,
Широк, могуч его полет
И с высоты своей престольной
Куда, чего не досягнет?
Красы и ужасы природы
Тогда очам обнажены;
Внимал я, на лоне тишины
И буйства крик и песнь свободы.
И там, где славят жизнь народа
Предвижу сон развалин и могил;
Не изумлен я разрушенью,
Причастник таинственных сил;
Не предан я земному наслажденью
Всесозерцающей душой.
Мне льются в грудь восторженные чувства;
Любви и дружбы жар святой
И благодатный жар искусства
Доступны мне все помыслы богов, —
И самый замысл мирозданья
И тайна злобная гробов
И ложь житейского страданья.
Тогда живу я жизнью не одной.
Небес святыня, гордость ада
Позор земли, — все предо мной,
Все моего добьется взгляда
В тот краткий миг, в тот миг святой,
Какой-то тайной обновленный,
Слился сердечный трепет мой

С движеньем, с жизнью вселенной
О если бы тогда возмог
Единым излияться словом,
Звук грянул бы вдруг отзывом громовым
　　И содрогнулся б ветхий мир
　　Как в ночь Христова Воскресенья
　　Слепой языческий кумир.
О, для чего так кратко вдохновенье!
Зачем его так сладок срочный пир.

А. И. ПОЛЕЖАЕВ

РОМАНС

Утро жизнью благодатной
Осветило сонный мир;
Дышит влагою прохладной
Упоительный Зефир.
Нега, радость и свобода
Торжествуют юный день,
Но в моих очах природа
Отуманена как тень.
Что мне с жизнью, что мне с миром?
На душе моей тоска
Залегла как над Вампиром
Погребальная доска.
Вздох волшебный сладострастья
С стоном девы пролетел
И в груди за призрак счастья
Смертный хлад запечатлел.
Уж давно огонь объятий
На злодее не горит,
Но над ним как звук проклятый
Этот стон ночной гремит.
О исчезни стон укорной
И замри как замер ты
На устах красы упорной
Под покровом темноты.

БУКЕТ

К груди твоей, Эмма,
Приколот букет —
Он жизни эмблема, —
Но розы в нем нет!
Узорней, алее
Есть много цветов,
Но краше, милее
Царица лугов.
Эфирный влетает
В окно мотылек
На перьях лобзает
Он каждый цветок.
Над ландышем вьется
К лилее прильнул
Кружится, несется
И быстро порхнул.
Куда ж ты бесстрастный
Любовник цветов
Иль ищешь прекрасной
Царицы лугов?
О Эмма, О Эмма,
Вот блеск красоты
Как роза — эмблема
Невинности ты.

А. С. ПУШКИН

ОТРЫВОК ИЗ ПОВЕСТИ

XXI

Туда*, я помню, ездила всегда *В церковь[1]
Графиня... (звали как, не помню, право)
Она была богата, молода;
Входила в церковь с шумом, величаво;
Молилась гордо (где была горда!).
Бывало, грешен; все гляжу направо,
Все на нее. Параша перед ней
Казалось, бедная, еще бедней.

XXII

Порой графиня на нее небрежно
Бросала важный взор свой. Но она
Молилась богу тихо и прилежно
И не казалась им развлечена.
Смиренье в ней изображалось нежно;
Графиня же была погружена
В самой себе, в волшебстве моды новой,
В своей красе надменной и суровой.

XXIII

Она казалась хладный идеал
Тщеславия. Его б вы в ней узнали;
Но сквозь надменность эту я читал
Иную повесть: долгие печали,
Смиренье жалоб... В них-то я вникал,

---

[1] Выноска рукой Пушкина. (*Ред.*)

Невольный взор они-то привлекали...
Но это знать графиня не могла
И, верно, в список жертв меня внесла.

XXIV

Она страдала, хоть была прекрасна
И молода, хоть жизнь ее текла
В роскошной неге; хоть была подвластна
Фортуна ей; хоть мода ей несла
Свой фимиам, — она была несчастна.
Блаженнее стократ ее была,
Читатель, новая знакомка наша,
Простая, добрая моя Параша.

XXV

Коса змией на гребне роговом,
Из-за ушей змиею кудри русы,
Косыночка крест-на-крест иль узлом,
На тонкой шее восковые бусы —
Наряд простой; но пред ее окном
Все ж ездили гвардейцы черноусы,
И девушка прельщать умела их
Без помощи нарядов дорогих.

Е. Ф. РОЗЕН

БАЯДЕРА

(Индейская Легенда)

Из Гете

Магадё, земли властитель
С неба к нам сошел опять,
Как простой, юдольный житель,
Грусть и радость испытать.
Также ведаясь с судьбами
Чтоб людей судьею быть,
Он, небесный, хочет с нами
Человечески пожить!
И в образе путника взяв во вниманье
Веселье младенцев и взрослых деянье
Идет он иные страны навестить.

В вечер, город покидая,
Вышел к крайним теремам;
Вот! прелестница младая,
Нарумяненная, там!
«Здравствуй, дева! В честь привета
Выйду тотчас! — Кто же ты?»
— Баядера я, и это
Дом любви и красоты! —
И бьет она мерно в Кимвалы для пляски;
Прелестно кружится и, полная ласки
Ему поклоняясь, подносит цветы.

Убеждений нежной силой
К двери путника манит:
Вот, сейчас красавец милый
Лампа терем осветит!

Ты устал ли, я водою
Боль в ногах твоих уйму;
Отведу тебя к покою,
Иль веселием займу!
С улыбкою видит ее попеченье
Притворный страдалец: в грехах и растленье
Прямое является сердце ему.

Гостю рабски угождая,
Дева трудится шутя,
И искусница младая
Стала истины дитя!
Понемногу, после цвета,
Плод растет своей чредой,
И покорность есть примета
Близкой страсти молодой!
Но строже и строже ее испытуя,
Всеведец, при ней то резвясь, то тоскуя,
Томится сердечною мукой живой.

Дева чувствует ответно,
Целовать себя дает,
И смущается приметно,
И впервые слезы льет;
Поворотливые члены
Опустились, и она
Упадает на колены
Другу сердцем предана.
И так для желанных любви наслаждений
В таинственный полог сливаются тени
Вкруг мягкого ложа веселого сна.

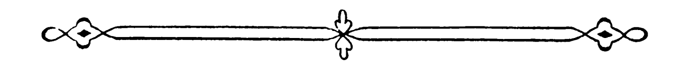
Поздний сон за долгим счастьем;
Ночь минутная прошла,

Дева с сонным сладострастьем
Гостя крепко обняла —
Труп холодный!.. Крик испуга
И отчаяния зов...
Ах, уносит тело друга
И костер уже готов!
Она погребальному пенью внимает,
Свирепствует, плачет, толпу разделяет...
«Кто это? зачем ты?» вопрос ей жрецов.

Пред носилками упала:
«Мужа воротите мне!»
И вопила и кричала.
«Я ищу его в огне!..
Эти ль чудные составы
Пламя в пепел обратит.
Ах, одна лишь ночь забавы...
Но он мне принадлежит!»
И хором поют: «Мы несем для сожженья
И старца, отжившего в дни одрехленья,
И юношу в дни, когда юность блестит!»

«Слушай голос нашей веры:
Дева, муж твой не был он:
Мужа нет у Баядеры,
Нет обязанности жен!
Тень лишь следует за телом
Неразлучно к мертвецам;
Лишь супруга славным делом
За супругом, к небесам!
Труба, издавай заунывные звуки!
О Боги! прострите вы к юноше руки —
Средь пламени юноша шествует к Вам!»

Хора мрачными словами
Девы грусть раздражена —
С распростертыми руками
В пламя бросилась она...
Но небесный воскресает
На пылающем костре —
С ним любовница взлетает
На руках его горя.
Раскаянья ждет от людей Провиденье.
В объятиях пламенных Бог нам спасенье
Готовит еще и на смертном одре!



ПРИЛОЖЕНИЯ

Л. Г. Фризман

ИВАН КИРЕЕВСКИЙ И ЕГО ЖУРНАЛ «ЕВРОПЕЕЦ»

I

НАЧАЛО

Иван Киреевский родился 22 марта 1806 г. в Москве. Он был выходцем из старинного дворянского рода, владевшего обширными поместьями в Белевском уезде Тульской губернии. Там находилось и село Долбино, пожалованное в начале XVII в. за осадное сидение его предку — белевскому дворянину Василию Семеновичу. Здесь будущий критик провел детские годы. Его отец, Василий Иванович Киреевский (1773—1812), был широко образованным человеком с разносторонними интересами. Он владел пятью языками, увлекался естественными науками и медициной, ставил физические и химические опыты, лечил тех, кому случалось обращаться к нему за помощью. В доме была богатая библиотека. Василий Иванович «сам переводил и даже печатал романы и другие мелкие литературные произведения того времени» [1]. Он служил в гвардии, ушел в отставку в чине секунд-майора, а в 1805 г. женился на Авдотье Петровне Юшковой (1789—1877). Когда началась Отечественная война, В. И. Киреевский перевез семью

---

[1] Материалы для биографии И. В. Киреевского // *Изд. 1911.* Т. 1. С. 3. См. также: *Мельников Н. Н.* Издания, напечатанные в типографии Московского университета XVIII в. М., 1966. № 2618, 2673.

в Орел, а сам отдался приведению в порядок местного госпиталя, переполненного ранеными. Он вложил в это и свои средства, и способности медика. Самоотверженность, проявленная В. И. Киреевским в те дни, стоила ему жизни: он заразился тифом и 1 ноября 1812 г. скончался.

Авдотья Петровна возвратилась в Долбино. На руках 23-летней вдовы было трое детей: в 1808 г. она родила младшего сына Петра, в будущем известного фольклориста, собирателя народных песен, археолога, археографа, переводчика, а в 1811 — дочь Марию. Сюда же в начале 1813 г. переехал В. А. Жуковский, преданно и заботливо помогавший своей племяннице: Авдотья Петровна была внучкой Афанасия Ивановича Бунина — отца поэта. Но намерение Жуковского посвятить себя воспитанию маленьких Киреевских не осуществилось. В конце 1815 г. он покинул Белев и больше туда не вернулся. В его стихотворении «Прощание» запечатлена трогательная сцена, позволяющая ощутить, сколь нежные чувства связывали Жуковского с его маленькими воспитанниками и особенно с «Ваничкой»:

Мой ангел — Ваничка с невинной красотою,
С улыбкой милой на устах,
С слезами на глазах,
Боясь со мной разлуки,
Ко мне бросающийся в руки,
И Машенька, и мой угрюмый Петушок,
Мои друзья бесценны...
Могу ль когда забыть их ласки незабвенны! [2]

---

[2] *Жуковский В. А.* Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб.: Изд. А. Ф. Маркса, 1902. Т. 2. С. 90.

Связи между Жуковским и Киреевским, зародившиеся в детские годы будущего критика, не прерывались на протяжении всей их последующей жизни. У Киреевского было много любящих и преданных друзей, но вряд ли кто-нибудь заботился о нем так неустанно и сделал для него так много, как Жуковский.

Дело было не только в помощи или заступничестве, но прежде всего в том влиянии, которое постоянно оказывал Жуковский на духовную жизнь Киреевского. В 1830 г., рассказывая матери об одной из бесед с поэтом, Киреевский заметил: «При нем невольно теплеешь душою, и его присутствие дает самой прозаической голове способность понимать поэзию. Каждая мысль его — ландшафт с бесконечною перспективою» [3].

Об отношениях Жуковского с Киреевским много говорит М. А. Максимович в статье «Краткая биография И. В. Киреевского» [4]. Статья эта писалась в 1860—1861 гг.[5], осталась незавершенной и в печати

[3] *Изд. 1911.* Т. 1. С. 15.

[4] См.: ЦНБ. Ф. 1. № 1645.

[5] Обоснование датировки: цитату из письма Киреевского от 12 января 1830 г. Максимович сопровождает примечанием, обращенным к издателю собрания сочинений Киреевского, выпущенных в 1861 г., А. И. Кошелеву: «Вот и мне, дражайший Александр Иванович, пришлось 12 генваря списать строку за тридцать ровно лет писанную нашим другом. Я отвел красною чертою на его письмах то, что годится в биографию, но из чего все-таки надо еще вам с Хомяковым выбрать более идущее, самое интересное» (л. 13—13 об.). Но работа над статьей продолжалась и после смерти А. С. Хомякова, и после выхода кошелевского издания, так как в некоторых местах, цитируя Киреевского, Максимович ссылается на эту книгу.

не появилась. Беглое перечисление общеизвестных фактов биографии критика и пересказ содержания его статей 1840—1850-х годов не представляют большого интереса. Зато, описывая молодые годы Киреевского, Максимович опирается на собственные воспоминания и сообщает немало ценного, помогающего расширить наши представления о жизни Киреевского и его окружении.

«Несколько месяцев под влиянием самого Жуковского, — говорит Максимович, — довершили в юной душе Киреевского поэтический строй и утвердили в нем любовь к Литературе, как залог жизни. Поучительною школою будущему писателю осталась и эта тетрадь „Долбинских стихотворений“, — из которой видно, с каким трудом вырабатывался каждый стих *Аббадоны, Теона и Эсхина* и некоторых других произведений Жуковского...» Требовательность Жуковского к себе передалась и его воспитаннику: «Киреевскому глубоко запало в душу это правило, бывшее отчасти причиною и тому, что он позднее других московских товарищей своих явился на литературном поприще и что многое из начатого оставалось неконченным и истреблялось...» [6]

Под влиянием Жуковского развивалась литературная и переводческая деятельность Авдотьи Петровны. По свидетельству близко знакомого с ней К. Д. Кавелина, «она перевела по заказу Жуковского много романов и получала за них гонорар книгами; так переведен ею, между прочим, „Дон-Кихот“ Флориана... Много ее переводов напечатано в „Библиотеке для воспитания“, издававшейся Н. Г. Редкиным, между прочим статья о Троянской войне и др. Оста-

---

[6] ЦНБ. Ф. 1. № 1645. Л. 3, 3 об.

лись в рукописи ненапечатанными: «„Левана“, или О Воспитании» Жан-Поль-Рихтера, „Жизнь Гусса“ Боншоза в двух томах; „Тысяча и одна ночь“, „Принцесса Брамбила“ Гофмана; многие проповеди Вине».

Хотя Авдотья Петровна не была писательницей. отмечает в той же статье Кавелин, она «участвовала в движении и развитии русской литературы и русской мысли более, чем многие писатели и ученые по ремеслу... Чтоб оценить ее влияние на нашу литературу, довольно вспомнить, что Жуковский читал ей свои произведения в рукописи и уничтожал или переделывал их по ее замечаниям. Покойная показывала мне одну из таких рукописей — толстую тетрадь, испещренную могильными крестами, которые Жуковский ставил подле стихов, исключенных вследствие замечаний покойной» [7]. Жуковский был настолько высокого мнения о литературной одаренности своей племянницы, что в одном из писем к Киреевскому заметил: «Знаешь ли, у кого ты выучился писать? у твоей матери. Я не знаю никого, кто бы писал лучше ее» [8].

В 1820-х годах она хозяйка известного московского литературного салона, который посещал А. С. Пушкин и который, по словам К. Д. Кавелина, «был средоточием и сборным местом всей русской интеллигенции, всего, что было у нас самого просвещенного, литературно и научно образованного» [9]. Здесь велись беседы оппозиционного характера, что не могло не привлечь внимания полиции. Как стало известно впоследствии, за собраниями у Елагиных была установлена слежка.

[7] *Кавелин К. Д.* Собр. соч. СПб., 1899. Т. 3. Стлб. 1125, 1126.

[8] *Изд. 1911.* Т. 1. С. 16.

[9] *Кавелин К. Д.* Указ. соч. Т. 3. Стлб. 1125.

В годы полемики славянофилов и западников Авдотья Петровна оказывала умиротворяющее воздействие на представителей обоих лагерей. Герцен писал, что эта «чрезвычайно умная женщина... грустит о славянобесии сыновей» [10]. С другой стороны, именно Елагиной Герцен, Грановский и их единомышленники были, по свидетельству П. В. Анненкова, «обязаны некоторой умеренностью в суждениях по вопросам народного быта и верований» [11]. Как подтверждал и П. И. Бартенев, «Грановский относился к ней с отменным уважением» [12].

В 1817 г. Авдотья Петровна вышла замуж за Алексея Андреевича Елагина (ум. в 1846 г.), просвещенного человека, увлекавшегося философией. Он привез из-за границы и углубленно изучал книгу Канта «Критика чистого разума», а позднее, познакомившись с трудами Шеллинга, стал переводить их на русский язык. У Жуковского были все основания заметить, что в семье Киреевских «заключается целая династия хороших писателей» [13], и этот факт, конечно, имел большое значение для формирования духовного облика будущего издателя «Европейца».

Киреевский очень уважал и любил не только мать, но и отчима (которого называл «папенькой»), считался с их мнением. Его письма к ним пронизаны глубоким и искренним чувством.

В одном из этих писем 20-летний Киреевский с присущим ему пристрастием к психологическому самоанализу признается, что во время печали он не-

---

[10] *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1954. Т. 2. С. 242.
[11] *Анненков П. В.* Литературные воспоминания. М., 1960. С. 224.
[12] Рус. арх. 1877. № 8. С. 494.
[13] *Изд. 1911.* Т. 1. С. 20.

вольно ищет «предмета, который бы вполне занимал всего меня, который бы заключал в себе не одно определенное желание, не одну определенную мысль, но входил бы во все желания, во все мысли, и если что-нибудь живое на земле может быть таким предметом *полного я,* то, без сомнения, это вы и маменька. Ибо вы оба служите для меня связью всей прошедшей моей жизни и входите во все те планы, которые воображение строит в будущем, которые, может быть, несбыточны, но которые трогают самые чувствительные струны моего сердца» [14].

В 1822 г. семья переезжает в Москву. Иван и Петр Киреевские берут уроки у профессоров Московского университета: юриста Л. А. Цветаева, математика Ф. И. Чумакова, поэта и критика А. Ф. Мерзлякова, составителя фольклорных сборников И. М. Снегирева. Последний отмечал, в частности, что в доме Елагиных-Киреевских ему довелось слушать ненапечатанные стихи Пушкина, в которых было «много прелести, много и дерзости» [15]. И неудивительно: Елагины хранили и изготовляли списки таких произведений, как «Ура! В Россию скачет» Пушкина, «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева. Были у них отрывки из «Гавриилиады» и «ряд противоправительственных стихотворений неизвестных авторов» [16].

В Москве И. Киреевский поступает на службу в главный архив Иностранной коллегии и сближается с кругом, который принято называть «архивными

---

[14] Там же. С. 8.

[15] *Снегирев И. М.* Дневник. М., 1904. Т. 1. С. 7.

[16] *Соймонов А. Д.* Новые материалы о Пушкине и П. В. Киреевском // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1961. Т. 20, вып. 2. С. 145.

юношами» (Д. В. Веневитинов, В. П. Титов, С. П. Шевырев и другие). «Архивные юноши» составили костяк «Общества любомудрия». Ценные сведения об облике и мироощущении будущего критика содержат «Записки» его близкого друга А. И. Кошелева. Они позволяют, в частности, составить достоверное представление об отношении Киреевского и его единомышленников к декабристам и их реакции на разгром восстания. Кошелев рассказывает о вечере, проведенном им в феврале или марте 1825 г. у М. М. Нарышкина. «На этом вечере были: Рылеев, кн. Оболенский, Пущин и некоторые другие, впоследствии сосланные в Сибирь. Рылеев читал свои патриотические думы; а все свободно говорили о необходимости — d'en finir avec ce gouvernement *. Этот вечер произвел на меня самое сильное впечатление, и я, на другой же день утром, сообщил все слышанное Ив. Киреевскому, и с ним вместе мы отправились к Дм. Веневитинову, у которого жил тогда Рожалин, только что окончивший университетский курс с степенью кандидата. Много мы в этот день толковали о политике и о том, что необходимо произвести в России перемену в образе правления [17].

Далее мемуарист говорит о «потрясающем действии», которое произвели на него и его единомышленников «известия о 14 Декабре». «Архивные юноши» жадно ловили слухи об «огромном заговоре», о том, что «Ермолов также не присягает и со своими войсками идет с Кавказа на Москву. Эти слухи были так живы и так положительны и казались так правдо-

---

* покончить с этим правительством (*фр.*).

[17] *Кошелев А. И.* Записки (1812—1883 гг.). Берлин, 1884. С. 13.

подобными, что Москва или, вернее сказать, мы ожидали всякий день с юга новых Мининых и Пожарских. Мы, немецкие философы, забыли Шеллинга и комп., ездили всякий день в манеж и фехтовальную залу учиться верховой езде и фехтованию и таким образом готовились к деятельности, которую мы себе предназначали»[18]. Эти сведения подтверждаются и другим мемуаристом, также рассказывавшим, что Веневитинов вместе с Кошелевым и И. Киреевским занимался фехтованием и верховой ездой «в ожидании торжества заговора в южной (второй) армии и в надежде примкнуть к мятежникам в их предполагаемом победоносном шествии через Москву на Петербург»[19].

Когда по стране прокатилась волна арестов, молодые любомудры, по свидетельству Кошелева, «менее страдали, чем волновались, и даже почти желали быть взятыми и тем стяжать и известность, и мученический венец. Эти события нас, между собою знакомых, чрезвычайно сблизили и, быть может, укрепили ту дружбу, которая связывала Веневитиновых, Одоевского, Киреевского, Рожалина, Титова и меня». Но своего апогея сочувствие декабристам достигло, когда стал известен приговор Верховного суда: «Описать или словами передать ужас и уныние, которые овладели всеми, — нет возможности: словно каждый лишался своего отца или брата»[20].

А. А. Елагин был другом и сослуживцем декабриста Г. С. Батенькова, которому всеми силами стремился помочь и который именно под елагинский

---

[18] Там же. С. 15.

[19] К биографии поэта Д. В. Веневитинова // Рус. арх. 1885. № 1. С. 115.

[20] *Кошелев А. И.* Указ. соч. С. 16—18.

кров возвратился после многолетнего заключения. «Он невинен! Точно невинен! — писала о Батенькове А. П. Елагина. — Чего он желал, того желать должен всякий благомыслящий человек»[21]. По-видимому, она обращалась к Жуковскому с просьбой помочь Батенькову или справиться о его положении, и именно на эту просьбу Жуковский отвечал ей 26 апреля 1826 г.: «О Б. нечего сказать доброго. В точности обстоятельств не знаю, но слухи не утешительные»[22].

Елагины пытались облегчить участь и других участников восстания: И. Д. Якушкина, М. А. Фонвизина. Царская расправа вызвала у них гнев и негодование. Накануне коронации Николая I А. П. Елагина писала Жуковскому: «Завтра царь въезжает в Москву — я увижу вашего воспитанника и как бы рада была радоваться! Но строгое осуждение растерзало мое сердце, кругом меня отчаяние, стон; матери, жены, братья — все в жестокой скорби»[23]. Не приходится сомневаться, что эти чувства владели и душой Киреевского. Такой была атмосфера, окружавшая 20-летнего Киреевского.

В последующие годы осмысление уроков, которые извлекались из декабрьских событий, вело, естественно, к ощутимой переоценке ценностей. Этот процесс представлялся разным историкам литературы в разном свете. Д. Д. Благой считал, что «веневитиновский кружок в первые два-три подекабрьских года был единственным литературно-дружеским объединением,

---

[21] Цит. по: *Соймонов А. Д.* П. В. Киреевский и его собрание народных песен. Л., 1971. С. 55.

[22] Письма В. А. Жуковского, М. А. Мойер и Е. А. Протасовой // Уткинский сборник. 1. М., 1904. С. 43.

[23] Цит. по: *Соймонов А. Д.* Новые материалы о Пушкине и П. В. Киреевском. С. 144.

отличавшимся вольнолюбивым духом и продолжавшим в какой-то мере идейные традиции декабристов»[24]. М. К. Азадовский, напротив, утверждал, что именно любомудрами был сделан «наиболее решительный пересмотр наследия декабристов», что «путям борьбы и революции они противопоставляли пути личного самоусовершенствования, пути религиозного просветления и мирного строительства культуры» и что «все это вело к смыканию с реакционным фронтом»[25].

Думается, что обе эти точки зрения излишне категоричны и односторонне оценивают сложное и противоречивое явление. Именно эта противоречивость отчетливо сказалась в позиции Киреевского. В августе-сентябре 1827 г. критик излагал в письме к Кошелеву следующую программу: «Мы возвратим права истинной религии, изящное согласим с нравственностью, возбудим любовь к правде, глупый либерализм заменим уважением законов и чистоту жизни возвысим над чистотою слога»[26]. В. И. Кулешов с основанием видит в упоминании о «глупом либерализме» «прямой выпад против декабризма»[27]. Но если мы хотим ощутить строй мыслей Киреевского в его целостности, то нужно обратить сугубое внимание и на тот контекст, в котором были сказаны эти слова, и на другие части письма к Кошелеву.

«Если бы перед рождением, — писал Киреевский, — судьба спросила меня: что хочешь ты избрать из

---

[24] *Благой Д. Д.* Творческий путь Пушкина (1826—1830). М., 1967. С. 73.

[25] *Азадовский М. К.* Н. М. Языков // Языков Н. М. Собрание стихотворений. Л., 1948. С. XV—XVI.

[26] *Изд. 1911.* Т. 1. С. 10.

[27] *Кулешов В. И.* Славянофилы и русская литература. М., 1976. С. 55.

двух? или родиться воином, жить в беспрестанных опасностях, беспрестанно бороться с препятствиями... или провесть спокойный век, в кругу мирного семейства, где желания не выходят из определенного круга возможностей, где одна минута сглаживает другую... Я бы не задумался о выборе и решительною рукою взял бы меч». «Не думай, однако же, — продолжает он, — чтобы я забыл, что я Русский, и не считал себя обязанным действовать для блага своего отечества. Нет! все силы мои посвящены ему. Но мне кажется, что вне службы — я могу быть ему полезнее, нежели употребляя все время на службу. Я могу быть литератором, а содействовать к просвещению народа не есть ли величайшее благодеяние, которое можно ему сделать? На этом поприще мои действия не будут бесполезны; я могу это сказать без самонадеянности. Я не бесполезно провел мою молодость, и уже теперь могу с пользою делиться своими сведениями. Но целую жизнь имея главною целью: образовываться, могу ли я не иметь веса в литературе? Я буду иметь его, и дам литературе свое направление».

Вспомним в этой связи и то, о чем писал Киреевский Кошелеву в других письмах: «для нас теоретические мысли еще жизнь», «наша опытность — опытность ума», стать богаче мыслями — путь к тому, чтобы стать «богаче делами» [28]. Он призывал своего друга не ограничивать «свои занятия одним мышлением»: надо, чтобы он сведения, полученные из книг, «перегонял бы через кубик передумывания, и водку мыслей передвоил бы в спирт» [29]. Чтобы правильно понять и оценить мысли, выраженные здесь Киреев-

---

[28] *Изд. 1911.* Т. 1. С. 9, 10, 13.
[29] Там же. Т. 2. С. 214.

ским, надо принять во внимание как первостепенного значения фактор напряженную эмоциональность тона, в котором они выражались, кипение чувств, изливавшихся в каждой строке. И тогда станет очевидно, что когда он строит планы на будущее, обосновывает свой отказ от службы и желание «быть литератором», «содействовать к просвещению народа» и даже «дать литературе свое направление», то в этом проявляется решимость бороться, решимость взять меч. Это письмо помогает правильнее понять и те чувства, с которыми Киреевский недавно ходил в «фехтовальную залу», и те, которые владели им, когда он начинал литературную деятельность. Она, несомненно, означала для будущего критика не «мирное строительство культуры», а нечто иное и большее.

Пройдет без малого 30 лет. Киреевский переживет гибель свего любимого детища — журнала «Европеец», годы вынужденного молчания, изоляции от литературной и общественной борьбы, но в письме, которое он напишет 1 октября 1854 г. молодому писателю Е. Е. Комаровскому оживут те же мысли, прозвучат те же слова, проявится верность тому жизненному кредо, которое было сформулировано в послании к Кошелеву: «Я разумею, и уверенно, под литературною деятельностию неудержимое стремление к такому действию на других, к тому упоительному сочувствию, к тому кипучему взаимно-действию писателя и публики, где человек мыслящий живет, как воин на поле сражения, а не как рекрут в экзецир-гаузе. Бояться раны — значит не любить славы. Потому, с богом, открывайте кампанию» [30].

Летом 1827 г. Киреевский впервые становится

---

[30] Цит. по: Лит. учеба. 1983. № 4. С. 200.

предметом внимания Третьего отделения. В руки Бенкендорфа попало шутливое письмо А. Кошелева и В. Титова к Киреевскому, которое показалось шефу жандармов «очень интересным» и побудило его обратиться в Москву, к генералу А. А. Волкову с вопросом: «...по встретившимся крайне уважительным обстоятельствам, весьма любопытно знать, кто таков сей Киреевский? какую он имеет общую репутацию, какого поведения, с кем находится в связях и сношениях?»[31]. Хотя информация, полученная Бенкендорфом от Волкова, была вполне успокоительной, за Киреевским и его друзьями установили наблюдение.

Менее чем через год к Бенкендорфу поступил донос о том, что «в Москве опять составилась партия для издавания газеты политической под названием „Утренний листок". Хотят издавать или с нынешнего года с июня, или с 1-го Января 1829 г. Главные издатели суть те же самые, которые замышляли в конце прошлого года овладеть общим мнением для политических видов, как то было открыто из переписки Киреевского с Титовым. Все эти издатели по многим отношениям весьма подозрительны, ибо явно проповедуют либерализм. Ныне известно, что партию составляют князь Вяземский, Пушкин, Титов, Шевырев, князь Одоевский, два Киреевских и еще несколько отчаянных юношей»[32].

Последствия доноса были ограничены вмешательством в дело Д. В. Дашкова, написавшего по этому поводу обширную язвительную записку. Однако, заступаясь в ней за Вяземского, Титова, Одоевского,

---

[31] Цит. по: *Лемке М. К.* Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. СПб., 1908. С. 68.

[32] Цит. по: *Модзалевский Б. Л.* Пушкин под тайным надзором. СПб.: Парфенон, 1922, С. 45.

Дашков ничего не мог сказать о Киреевских, которых «никогда не видывал» [33], — и подозрения властей на их счет не были развеяны.

Примерно к тому же времени относится создание одного из самых ранних дошедших до нас произведений Киреевского — этюда «Царицынская ночь». В нем изображена ночная загородная прогулка приятелей. «Сердечный разговор», который они ведут, о том же, о чем писал Киреевский Кошелеву, — «о назначении человека, о таинствах искусства и жизни, об любви, о собственной судьбе и, наконец, о судьбе России. Каждый из них жил еще надеждою, и Россия была любимым предметом их разговоров, узлом их союза, зажигательным фокусом прозрачного стекла их надежд и желаний» [34]. Завершается «Царицынская ночь» строками, которые читает один из участников прогулки — поэт Вельский. Стихотворение воспевает семь звезд — Веры, Песнопения, Любви, Славы, Свободы, Дружбы и Надежды. Счастлив тот,

Кого возлелеяла *Славы звезда*!
Кому пред неправою силой
Главы благородной склонить не дала
Свободы звезда золотая...

Кто *Дружбы звездой* из немногих избран,
Сокровища лучшие сердца
Со страхом от взоров людей не таил,
Как тать укрывает святыню.

Седьмая звезда светит ярче других.
Надеждою свет тот прекрасен! [35]

[33] Там же. С. 49.
[34] *Изд. 1911.* Т. 2. С. 148—149.
[35] Там же. С. 150.

В. И. Кулешов обращал внимание на явную перекличку этой символики с декабристской: «...Восходит свободы звезда» (Кюхельбекер), «...Звезда надежды воссияла» (Рылеев), «...Звезда пленительного счастья» (Пушкин) и т. д. Но не будем забывать существенного обстоятельства — Киреевский писал свои стихи, когда восстание декабристов было разгромлено, когда Кюхельбекер томился в темнице, а тело Рылеева лежало в потаенной могиле на острове Голодай.

Максимович так описывает литературный дебют Киреевского: «...в исходе 1827 года, когда съехалась Москва на зиму и возобновились литературные вечера у княгини З. А. Волконской, на которые приглашен был и Киреевский, — князь П. А. Вяземский успел взять с него слово написать что-нибудь для прочтения — и он написал *Царицынскую ночь*. Зардевшись, как говорится, пропел он свою первую песню в большом собрании слушателей; но дело уже было начато; и весною следующего года, когда московские литераторы провожали Мицкевича, — за ужином, при поднесении ему серебряного кубка, Киреевскому первому пришлось произнесть свои стихи в честь польского поэта. После этого Погодин и Шевырев имели уже полное право приступить к Киреевскому, чтобы он написал что-нибудь для „Московского вестника", ознаменованного участием его друзей, — и он написал: *Нечто о характере поэзии Пушкина*. Это первая статья, сочиненная им для печати» [36].

Она стала важнейшей вехой в осмыслении Пушкина его современниками. Как единодушно признают

---

[36] ЦНБ. Ф. 1. № 1645. Л. 9, 9 об.

современные литературоведы, она представила читателю «первую концепцию развития творчества Пушкина» и «имела чрезвычайно важное значение в истории осмысления Пушкина русской критикой»[37]. По мнению Б. С. Мейлаха, статьи Киреевского о Пушкине «представляют собою вершину всего, что было написано о Пушкине при его жизни»[38]. В. А. Котельников подчеркивает, что «уловить общую закономерность, связывающую творчество Пушкина с движением всей литературы, выработать столь широкую по охвату и перспективе историко-культурную концепцию мог только философски мыслящий критик», каковым «и оказался Киреевский»[39]. Ю. В. Манн, подвергший статью «Нечто о характере поэзии Пушкина» особенно обстоятельному и углубленному анализу[40], отметил, что «впервые в статье Киреевского творческий путь Пушкина был рассмотрен как органический процесс, включен в перспективу движения новейшей русской и, в определенной мере, западноевропейской литературы»[41].

Мы считаем возможным не обращаться к разностороннему разбору тех литературно-эстетических и

---

[37] Пушкин: Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966. С. 21, 23 (раздел написан В. Б. Сандомирской).

[38] *Мейлах Б. С.* Реалистическая система Пушкина в восприятии его современников // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1969. Т. 6. С. 15.

[39] *Котельников В. А.* Литератор-философ // Киреевский И. В. Избр. ст. М., 1984. С. 16.

[40] См.: *Манн Ю. В.* Иван Киреевский // Вопр. лит. 1965. № 11. С. 133—137; *Он же.* Русская философская эстетика. М., 1969. С. 79—84; *Он же.* Эстетическая эволюция И. Киреевского // *Изд. 1979.* С. 18—21.

[41] *Изд. 1979.* С. 394.

философских концепций, которые выдвинул Киреевский. Нас интересует не место Киреевского в пушкиноведении или в русской философии и эстетике первой половины XIX в., но, прежде всего, — сама личность критика, ее психологическое и идеологическое своеобразие. К анализу эстетических и философских позиций Киреевского предстоит обращаться лишь постольку, поскольку этого требует цель, поставленная перед данной статьей.

С этой точки зрения необходимо акцентировать два момента. Создавая свою первую статью, Киреевский сознательно и целеустремленно приступил к осуществлению тех намерений, которые он так горячо и страстно излагал в письмах к Кошелеву. В самом факте выступления со своим новым, нетривиальным суждением о главном явлении современного литературного процесса, молодой критик видел исполнение своего нравственного и гражданского долга. Своим укором тем, кто подменял «разборы и суждения» о Пушкине «пустыми восклицаниями», своим примером углубленного, продуманного, целостного подхода к предмету он предпринял первую попытку «дать литературе свое направление».

«...Мнение каждого, если оно составлено по совести и основано на чистом убеждении, имеет право на всеобщее внимание, — заявил он в начале статьи, настойчиво акцентируя этическую сторону вопроса. — Скажу более: в наше время каждый мыслящий человек не только может, но еще обязан выражать свой образ мыслей перед лицом публики, если, впрочем, не препятствуют тому посторонние обстоятельства, ибо только общим содействием может у нас составиться то, чего так давно желают все люди благомыслящие, чего до сих пор, однако, мы еще не имеем

и что, быв результатом, служит вместе и условием народной образованности, а следовательно, и народного благосостояния: я говорю об общем мнении» [42].

Второе, что обращает на себя внимание в статье Киреевского о Пушкине, — это ее методологическая зрелость. Она никоим образом не воспринимается как проба пера начинающего критика. То, что уже здесь сложилось качество, которое Ю. В. Манн определил как «пристрастие к триаде» [43] (вскоре оно проявится и в «Обозрении русской словесности 1829 года», и в «Девятнадцатом веке»), — лишь один из фактов, подтверждающих, что к моменту создания своей первой статьи Киреевский сформировался как критик. Налицо здесь и та особенность его критической манеры, названная Пушкиным «слишком систематическим умонаправлением автора», которая вызывала недовольство Жуковского, с одной стороны, и одобрение Баратынского — с другой [44].

Сохранились свидетельства сильного впечатления, произведенного на современников первой статьей Киреевского. В частности, Е. Ф. Розен позднее вспоминал, что уже в 1828 г. «благоговел» к Киреевскому «как к сочинителю прекрасной статьи о Пушкине» [45].

Статья Киреевского выгодно отличалась от обычной журнальной продукции своего времени не только новизной и взвешенностью взгляда, но и самим тоном. Позднее ее автор прямо выразит неприязнь к той манере, в которой писало тогда большинство рецензентов: «. . .перебранки наших журналов, их не-

---

[42] *Изд. 1911.* Т. 2. С. 1, 2.
[43] *Изд. 1979.* С. 18.
[44] См.: Там же. С. 14.
[45] ЦГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 127. Л. 2.

приличные критики, их дикий тон, их странные личности, их вежливости негородские»[46] — все это он хорошо видел уже в 1827 г., и всему этому он противопоставил иной подход к анализу литературных явлений.

Удача первого критического опыта воодушевляла на новые. Когда М. А. Максимович стал готовить альманах «Денница» и предложил Киреевскому написать для него обозрение русской литературы за 1829 г., тот охотно согласился и вторую свою критическую работу подписал не криптонимом 9.11 (цифровое обозначение автора — И. К.), а полным именем.

Говоря в статье «Нечто о характере поэзии Пушкина» об обязанности каждого мыслящего человека выражать свой образ мыслей перед лицом публики, Киреевский сопроводил это многозначительной оговоркой: «...если, впрочем, не препятствуют тому посторонние обстоятельства». «Посторонние обстоятельства» — это, конечно, цензура, а конкретнее — Цензурный устав 1826 г., прозванный современниками «чугунным». В 1828 г. он был заменен новым, вводившим ряд послаблений, рекомендовавшим цензорам «не делать привязки к словам и отдельным выражениям», не толковать мысли автора исключительно «в дурную сторону». При всей ограниченности этих послаблений Киреевский счел нужным начать свою новую статью именно с упоминания о них. В появлении нового устава он усмотрел «самое важное событие для блага России в течение многих лет и важнее наших блистательных побед за Дунаем и Араратом, важнее взятия Эрзерума и той славной

---

[46] *Изд. 1911.* Т. 2. С. 14.

тени, которую бросили русские знамена на стены царьградские», событие, «которое должно иметь еще большее действие на будущую жизнь нашей литературы; которое успешнее всех других произведений русского пера должно очистить нам дорогу к просвещению европейскому...».

Много появилось в русских журналах и альманахах обозрений текущей словесности. Писали их и Мерзляков, и Греч, и Кюхельбекер, и Бестужев, и Сомов, и Белинский. Но ни одно из них не открывалось таким прямым и недвусмысленным заявлением о значении свободы печатного слова, как обозрение Киреевского. И автор не замедлил тут же воспользоваться представившимися возможностями, заговорив о книгоиздательской деятельности Новикова, который, по его словам, «создал у нас любовь к наукам и охоту к чтению» и более, чем кто-либо другой в истории России, содействовал «событию, почти единственному в летописях нашего просвещения: рождению *общего мнения*»[47]. Эта смелая попытка восстановить справедливость в отношении просветителя, имя которого звучало еще весьма одиозно в ушах официальной России, поразила современников. Показательно, что Герцен много лет спустя помянул «Обозрение российской словесности за 1829 год» в «Былом и думах», назвав его «статьей о Новикове». Одна страница врезалась в его память более, чем весь остальной текст.

Киреевский видит русскую словесность в движении, и это движение — к *действительности* (это слово автор не раз выделяет курсивом). «...Стремление *воплотить поэзию в действительность*, — говорит он, —

---

[47] Там же. С. 14, 16.

уже доказывает и большую зрелость мечты поэта и его сближение с господствующим характером века»[48].

Чрезвычайно важен и показателен для всей идейной эволюции Киреевского и другой тезис статьи, посвященный роли философии для русской литературы и русской жизни вообще. «Нам *необходима* философия, — утверждал он, — все развитие нашего ума требует ее. Ею одною живет и дышит наша поэзия; она одна может дать душу и целость нашим младенствующим наукам, и самая жизнь наша, может быть, займет от нее изящество стройности. Но откуда придет она? Где искать ее?

Конечно, первый шаг наш к ней должен быть присвоением умственных богатств той страны, которая в умозрении опередила все другие народы. Но чужие мысли полезны только для развития собственных. Философия немецкая вкорениться у нас не может. *Наша* философия должна развиться из *нашей* жизни, создаться из текущих вопросов, из господствующих интересов *нашего* народного и частного быта»[49].

Не напряженный интерес к философии, не стремление найти в ней путь к решению проблем, которые ставили искусство и жизнь, придают оригинальность этому суждению. Интерес этот был всеобщим, аналогичные мысли высказывались не раз. «...Философия и применение оной ко всем эпохам наук и искусств — вот предметы, заслуживающие особенное наше внимание, — утверждал Веневитинов, — предметы, тем более необходимые для России, что она еще нуждается в твердом основании изящных наук

---

[48] Там же. С. 23.
[49] Там же. С. 27.

и найдет сие основание, сей залог своей самобытности и, следственно, своей нравственной свободы в литературе, в одной философии, которая заставит ее развить свои силы и образовать систему мышления»[50]. «Нам очень нужна философия»[51], — писал Баратынский. «...Я указываю на современную философию для современных произведений как на магнитную стрелку, могущую служить путеводителем в наших литературных поисках»[52]. Известно, какую напряженность и страстность будут вкладывать в философские занятия Белинский, Бакунин, Герцен, люди их круга.

Но на этом широком фоне вышеупомянутый тезис Киреевского особенно интересен и показателен потому, что в нем бессознательно, интуитивно обозначен путь духовного развития критика. Мысль, что немецкая философия укорениться у нас не может, что наша философия должна создаться из господствующих интересов нашего народного и частного быта, требовательный курсив, которым он выделяет слова «наша», «наш», — это то, о чем Киреевский будет говорить в 1840 и 1850-х годах. А убеждение, что первым шагом к созданию «нашей» философии должно стать усвоение интеллектуальных богатств Запада, вдохновит его на издание «Европейца».

Конечно, это лишь схема, в действительности все оказалось гораздо сложнее, и автор «Обозрения русской словесности за 1829 год» будет и противоречить положениям этой статьи, многие существенные ак-

---

[50] *Веневитинов Д. В.* О состоянии просвещения в России // Литературная критика 1800—1820-х годов. М., 1980. С. 281, 282.

[51] *Баратынский.* С. 485.

[52] ТС. С. 15.

центы изменятся и сместятся, но сам факт, что статья в «Деннице» должна быть понята и оценена в контексте будущей эволюции Киреевского, представляется бесспорным.

«Обозрение русской словесности за 1829 год» вызвало развернутый и сочувственный отзыв Пушкина, причем он не только одобрил статью в целом, но и солидаризировался со многими конкретными оценками современных литературных явлений, увиденными им у Киреевского. Обратим в этой связи внимание на один особенно показательный момент.

В заключительной части своей статьи, подводя читателя к выводу, что «у нас еще нет полного отражения умственной жизни народа, у нас еще нет литературы», Киреевский писал: «...если просвещенный европеец, развернув перед нами все умственные сокровища своей страны, спросит нас: „Где литература ваша? Какими произведениями можете вы гордиться перед Европою?“ — что будем отвечать ему?

Мы укажем ему на „Историю российского государства“; мы представим ему несколько од Державина, несколько стихотворений Жуковского и Пушкина. несколько басен Крылова, несколько сцен из Фонвизина и Грибоедова...»[53]

Пушкин обратил внимание на этот абзац и выписал его в своей рецензии. А когда в «Опровержениях на критики» он сам задался вопросом, какие произведения «наша словесность с гордостию может выставить перед Европою», его список оказался разительно сходен с тем, который составил Киреевский: «...Историю Карамзина, несколько од Державина,

---

[53] *Изд. 1911.* Т. 2. С. 37.

басен Крылова, пэан 12 года и несколько цветов северной элегической поэзии» [54].

«Обозрение русской словесности за 1829 год» со всей определенностью выявило ту позицию, которую занял Киреевский в литературной борьбе конца 1820-х — начала 1830-х годов, и стало, по выражению Максимовича, «надежным задатком будущей деятельности» критика. «Оно возбудило многие толки в журналах; более всех огорчился, разумеется, Булгарин, бывший тогда особенным голосом, невыгодным для нашей литературы, отозвавшимся невыгодно и на Киреевском...» [55] Булгарин, впрочем, не только «огорчился», но и стал распускать клеветнические слухи, вынудившее Жуковского 30 марта 1830 г. обратиться к царю и искать у него заступничества. «...Булгарин везде расславляет, — писал Жуковский, — будто бы Киреевский написал ко мне какое-то либеральное письмо, которое известно и правительству... Этим людям для удовлетворения их злобы никакие способы не страшны. Киреевский не писал ко мне никакого письма, за его правила я отвечаю; но клевета распущена; может быть, сочинено и письмо, и тайный вред мне сделан» [56].

Статья в «Деннице» и вызванная ею полемика в немалой степени содействовали тому, что Киреевский стал центром того дружеского и литературного круга, в котором мы видим многих будущих сотрудников «Европейца». «В это время, — пишет Максимович, — Киреевский сошелся дружно с Е. А. Баратынским, и в частых беседах с ним утончал и по-

---

[54] *Пушкин.* Т. 11. С. 143.
[55] ЦНБ. Ф. 1. № 1645. Л. 12 об.
[56] Рус. арх. 1896. № 1. С. 112, 113.

верял свой эстетический анализ для литературной *критики*, которая была его первым призванием», а когда Языков, переехав в Москву, «водворился возле Елагиных, с которыми сжился как родной», «произошел новый прилив поэзии в дому Елагиных. Киреевский, преданный в это время изучению Мольера и всех вообще комиков, сочинял вместе с Языковым комедии и разные драматические прологи для своих домашних представлений, которыми несколько лет разнообразились их вечера».

Эти «вечера, собиравшиеся по воскресеньям, остались памятными для всех, принимавших в них участие. Здесь под исход 1829 года бывал Пушкин, который по возвращении из Закавказской экспедиции, пожал дружескую руку своему критику — Киреевскому. Здесь постоянно являлись и давний друг Пушкина П. Я. Чедаев, с своею Западною проповедью, и А. С. Хомяков, осыпавший его стрелами своего Восточного остромыслия. Тогда завязывался тот спорный вопрос *об отношении Русского просвещения к Европейскому*, который потом для Киреевского был одною из главных задач его умственной деятельности и в разрешении которой он дошел до своих великих выводов в области умозрения».

«Тогда-то, — продолжает мемуарист, — развивалась вся тонкость и живость его диалектики, необычайная способность вносить примирительное начало в разноречащие мнения, находить, чтó в них истинного и приводить их к окончательным заключениям. Твоей же мысли дает он завершающее дополнение, а ее выражению — новое, последнее слово. К этой тихой, мирной беседе весьма шел и самый говор его, как будто нашептывающий в твою душу сердечные тайны. В такие трехголосные беседы обращались обык-

новенно воскресные вечера по полуночи в кабинете Киреевского, и расходились они уже при утреннем солнце»[57].

В начале 1830 г. Киреевский уехал за границу. Эта поездка осуществила его давние, выношенные планы. Еще семью годами ранее он писал А. А. Елагину: «То, об чем я хочу просить вас, не минутный каприз воображения, но вещь обдуманная и зрелая, которая, по твердому моему убеждению, необходима для моего счастия, для моей образованности и пр. и пр. Эта вещь — *чужие краи*». Киреевский горячо убеждает отчима в своей готовности вести самый экономный образ жизни: «Кроме университета и профессоров, не буду видеть никого и ничего; если будет нужно, то я могу отказаться и от трубки, не говоря уже о кофе и пр. ...Цель моя — не *смотреть*, а *учиться*»[58].

В биографической литературе о Киреевском подчеркиваются личные мотивы, обусловившие его отъезд из России. Киреевский познакомился с Натальей Петровной Арбеневой, своей будущей женой, и горячо ее полюбил. Однако предложение, сделанное им в августе 1829 г., не было тогда принято, «и отказ глубоко потряс всю его нравственную и физическую природу. Его и без того слабое здоровье, видимо, расстроилось, за него стали бояться чахотки, — и путешествие было уже предписано медиками, как лучшее средство для рассеяния и поправления расстроенного здоровья»[59]. Возможно, все эти соображения действительно сыграли свою роль, но главным было, думается, другое: на необходимости поездки

[57] ЦНБ. Ф. 1. № 1645. Л. 10—12.
[58] Рус. арх. 1894. № 10. С. 208, 209.
[59] *Изд. 1911.* Т. 1. С. 14.

Киреевского за границу решительно настаивал Жуковский. Еще 15 апреля 1828 г. он писал А. П. Елагиной: «Я читал в Московском Вестнике статью Ванюши о Пушкине и порадовался всем сердцем. Благословляю его обеими руками писать; умная, сочная, философская проза. Пускай теперь работает головою и хорошенько ее омеблирует — отвечаю, что у него будет прекрасный язык для мыслей. Как бы было хорошо, когда бы он мог года два посвятить немецкому университету! Он может быть писателем! Но не теперь еще» [60]. В другом письме Жуковский убеждал уже самого Киреевского: «Я не много читал *твоего*, одну только статью; но по ней готов уверять, что ты мог бы сделаться писателем заметным и полезным для отечества. Но тебе недостает классических знаний. В убийственной атмосфере московского света не только не соберешь их, но и к тем ничтожным, которые имеешь, сделаешься равнодушным» [61]. Далее шли конкретные рекомендации, характеристика тех мест, которые Киреевский мог бы посетить во время заграничной поездки. Максимович определенно утверждает, что эта поездка мыслилась Киреевским как необходимое преддверие журнальной деятельности, к которой будущий издатель «Европейца» себя уже мысленно готовил [62]. Увидевшись в Петербурге с Жуковским, Киреевский советуется с ним о планах поездки, намеревается отправиться в Берлин: «...проведу там месяц, буду ходить на все лекции, которые меня будут интересовать, и ознакомлюсь со всеми

---

[60] ЛН. Т. 58. М., 1952. С. 108.

[61] Цит. по: *Лясковский В.* Братья Киреевские. Жизнь и труды их. СПб., 1899. С. 25.

[62] См.: ЦНБ. Ф. 1. № 1645. Л. 12.

учеными и примечательными людьми, и если увижу, что берлинская жизнь полезнее для моего образования, нежели сколько я ожидаю от нее, то останусь там и больше». По впечатлениям Жуковского, «отправился наш милый странник в путь свой здоровый и даже веселый».

По-видимому, он не ошибался. Письма, которые Киреевский посылал из-за границы, мало похожи на письма отвергнутого влюбленного, отправившегося на чужбину для рассеяния и лечения сердечных ран. Через два дня после приезда в Берлин он писал матери, что «стал покойнее, яснее, свежее, чем в Москве... Я покоен, тверд и не шатаюсь из стороны в сторону, иду верным шагом по одной дороге, которая ведет прямо к избранной цели... Мои намерения, планы, мечты получили какую-то оседлость. Я стал так деятелен, как не был никогда. На жизнь и на каждую ее минуту я смотрю, как на чужую собственность, которая поверена мне на честное слово и которую, следовательно, я не могу бросить на ветер». Это были не пустые слова. Киреевский с головой ушел в университетский мир Берлина. Риттер пленил его систематичностью мышления: «Один час перед его кафедрой полезнее целого года одинокого чтения... Все обыкновенное, проходя через кубик его огромных сведений, принимает характер гениального, всеобъемлющего. Все факты, все частности, но в таком порядке, в такой связи, что каждая частность кажется общею мыслию». И далее: «Каждое слово его дельно, каждое соображение ново и вместе твердо, каждая мысль всемирна. Малейший факт умеет он связать с бытием всего земного шара» [63]. Ради

[63] *Изд. 1911.* Т. 1. С. 15, 20, 23—25, 27.

Риттера Киреевский поначалу жертвует даже лекциями Гегеля, которые читаются в те же часы.

Потом он, правда, «предпочел слушать Гегеля, потому что он стар, скоро умрет и тогда уже не будет возможности узнать, что он думает о каждом из новейших философов». С Гегелем Киреевский познакомился лично и, по-видимому, заинтересовал философа. Уже на следующий день после первой встречи Гегель сам пригласил его к себе вновь, предложив гостю из России выбрать любой удобный для него вечер. Разговор, в котором участвовали еще несколько немецких профессоров, был «о политике, о философии, об религии, о поэзии», и Киреевский вернулся домой за полночь в состоянии упоения: «...я окружен первоклассными умами Европы!»

Впрочем, он далек от того, чтобы восторгаться всем, что видел и слышал в Берлине. У него свой взгляд на вещи, он судит посещаемые им лекции, судит строго, порой язвительно. «Исторические лекции здесь не стоят ни гроша, не потому чтобы профессора не были люди ученые, и особенно в своей части, но потому, что они читают отменно дурно. Штур читает историю 18-го века по тетрадке, написанной весьма посредственно, с большими претензиями на красноречие, следовательно дурно. Раумер, славный ученый Раумер, всю лекцию наполняет чтением реляций и других выписок из публичных листов»[64]. Не избежали критических оценок Киреевского ни Гегель, ни Шеллинг. «Гегель на своих лекциях почти ничего не прибавляет к своим Handbücher *. Говорит он несносно, кашляет почти на

* Здесь: записям, конспектам (*нем.*).
64 Там же. С. 34, 26.

каждом слове. съедает половину звуков и дрожащим, плаксивым голосом едва договаривает последнюю». «Шеллинговы лекции вряд ли и придут к вам, потому что гора родила мышь. В сумме оказалось, что против прошлогодней его системы нового не много».

Очень характерны некоторые театральные впечатления Киреевского. Спектакли, которые он видел, не отвечали требованиям простоты и естественности, предъявляемым к сценическому действию. С этой точки зрения его не удовлетворяли немецкие актеры и в еще большей степени немецкая публика. «В трагедиях великий крик, *особенно неуместный*, непременно аплодирован. Все истинное, простое, естественное не замечено, как бы не было. Вообще, чем больше актеры горячатся, тем больше им хлопают; чем напыщеннее стих, тем больше восхищает он публику» [65].

В целом путешествие, от которого Киреевский ждал так много, оказалось разочаровывающим. Вернувшись на родину, он жаловался Кошелеву, что его поездка была «неудачна... во всех отношениях, и не столько по короткости времени, сколько потому, что я ничего не видал, кроме Германии, скучной, незначущей и глупой, несмотря на всю свою ученость» [66].

Как сообщает Максимович, Киреевский «собирался уже в новое путешествие, сочинял себе разного рода Италии, как говаривал он, и в последние дни 1830 года написал волшебную сказку „Опал". Потом он развеселял себя драматическими представлениями, для которых вместе с Языковым сочинял пиесы трагического и комического содержания и которыми

---

[65] *Изд. 1911*. Т. 1. С. 27, 46, 29.
[66] Там же. Т. 2. С. 223.

разнообразились их домашние вечера по воскресеньям. Одним из действующих лиц была почти всегда Каролина К‹арлов›на Яниш, поэтическое дарование которой возрастало в их сообществе. Единственным следом тех представлений остался в литературе Языковский *Хор* из трагедии *Андромаха*, напечатанный в „Деннице на 1831 год“ с подписью — ва, поставленного для мистификации совратившегося Телеграфа (которая удалась и очень позабавила, особенно Пушкина; ибо Полевой, приняв этот хор за стихи Серафимы Тепловой, поставил их в образец первоклассным нашим поэтам, на которых он тогда нападал всячески). В драматических увеселениях прошло все лето 1831 года, проведенное семьею Елагиных в подмосковном селе Ильинском, где Языков и Киреевский сочинили между прочим комедию — *Принцесса Вавилонская.* Когда же намерение Киреевского отправиться снова за границу не исполнилось, тогда он решился приступить к изданию журнала на 1832 год, под именем *Европеец.* Этим именем обозначается достаточно тогдашнее направление Киреевского» [67].

Как показали последующие события, заграничная поездка имела для Киреевского последствия, характер и значение которых он сам в ту пору не способен был оценить. Он увидел западную науку в ее действительный рост, правильнее оценил меру своего собственного понимания вещей, понял, что годен на большее, чем только роль ученика, что он достаточно зрел для того, чтобы отобрать в европейском просвещении все ценное и распространить его в России.

В начале октября 1831 г. он написал письмо

---

[67] ЦНБ. Ф. 1. № 1645. Л. 13, 13 об.

Жуковскому. в котором извещал его о решении, оказавшемся самым важным в его жизни и наложившем отпечаток на всю его последующую судьбу. Это письмо заслуживает быть приведенным здесь полностью:

«Милостивый государь, Василий Андреевич,

Издавать журнал такая великая эпоха в моей жизни, что решиться на нее без Вашего одобрения было бы мне физически и нравственно невозможно. Ни рука не подымется на перо, ни голова не осветится порядочною мыслию, когда им не будет доставать Вашего благословения. Дайте же мне его, если считаете меня способным на это важное дело; если же Вы думаете, что я еще не готов к нему или что вообще, почему бы то ни было, я лучше сделаю, отказавшись от издания журнала, то все-таки дайте мне Ваше благословение, прибавив только журналу not to be! * Если же мой план состоится, то есть если Вы скажете мне: издавай (потому что от этого слова теперь зависит все), тогда я надеюсь, что будущий год моей жизни будет не бесполезен для нашей литературы, даже и потому, что мой журнал заставит больше писать Баратынского и Языкова, которые обещали мне деятельное участие. Кроме того, журнальные занятия были бы полезны и для меня самого. Они принудили бы и приучили бы меня к определенной деятельности; окружили бы меня mit der Welt des europäischen wissenschaftlichen Lebens [2*] и этому далекому миру дали бы надо мной силу и влияние близкой существенности. Это некоторым образом могло бы мне заменить путешествие. Выписывая все лучшие неполитические журналы на трех

---

* не быть (*англ.*).

[2*] миром европейской научной жизни (*нем.*).

языках, вникая в самые замечательные сочинения первых писателей теперешнего времени, я из своего кабинета сделал бы себе аудиторию европейского университета, и мой журнал, как записки прилежного студента, был бы полезен тем, кто сами не имеют времени или средств брать уроки из первых рук. Русская литература вошла бы в него только как дополнение к европейской, и с каким наслаждением мог бы я говорить о Вас, о Пушкине, о Баратынском, об Вяземском, об Крылове, о Карамзине на страницах, не запачканных именем Булгарина; перед публикой, которая покупает журнал не для модных картинок; имея в памяти только тех читателей, которые думают и чувствуют не на слово, которых участие возвышает деятельность, и забыв, что есть на свете другие. Но разумеется, что все это может быть хорошо только за неимением лучшего. Когда-то хотел издавать журнал Пушкин; если он решится нынешний год, то, разумеется, мой будет уже лишний. Тогда, так же и в случае Вашего неодобрения, я буду искать других занятий, другого поприща для деятельности и постараюсь настроить мысли на предметы нелитературные.

Решите ж участь Вашего И. Кире́евского»[68].

Жуковский отозвался немедленно: «Ивану Киреевскому скажи от меня, — писал он А. И. Тургеневу, — что я обеими руками благословляю его на журнал, ибо в душе уверен, что он может быть дельным писателем и что у него дело будет...»[69] Судьба задуманного Киреевским журнала была решена.

[68] *Изд. 1911*. Т. 2. С. 224, 225.
[69] *ВГ*. С. 116.

II
ЖУРНАЛ

Когда вышла в свет вторая книжка пушкинского «Современника», Белинский писал: «В одном петербургском журнале было недавно сказано, что „Современник“ есть вторая или третья попытка (так же неудачная, как и прежние, прибавим мы от себя) какой-то аристократической партии, которая силится основать для себя складочное место своих мнений... по нашему счету, „Современник“ есть уже пятая попытка в этом роде» [1]. Второй такой попыткой Белинский, очевидно, считал «Литературную газету» Дельвига, третьей был журнал Киреевского «Европеец».

«Литературная газета» прекратила существование в июне 1831 г., но уже намного раньше стало ясно, что она не сможет оправдать возлагавшиеся на нее надежды. Летом и осенью того же года Пушкин ведет напряженную и безуспешную борьбу за право издавать собственную политическую и литературную газету. В сентябре, когда шансы на успешный исход этой борьбы казались особенно шаткими, за создание своего журнала взялся Киреевский. Этот журнал, по замыслу его издателя, должен был хоть отчасти компенсировать отсутствие печатного органа, во главе которого стоял бы Пушкин. Киреевский надеялся сплотить вокруг журнала писателей пушкинского круга, сделать новый печатный орган знаменем пушкинского направления в литературе и журналистике. «Вчера получил я разрешение издавать с будущего

---

[1] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1953. Т. 2. С. 234, 235.

1832 года журнал, — сообщал Киреевский в письме к Пушкину, — и спешу рекомендовать Вам его, как рекрута, который горит нетерпением служить и воевать под Вашим предводительством...»[2]

Пушкинская ориентация «Европейца» была ясна современникам прежде, чем вышел первый номер журнала. «Киреевский издает „Европейца", — писал М. П. Погодин С. П. Шевыреву. — Все аристократы у него...»[3]. Недавняя полемика о «литературном аристократизме» еще не успела стать историей. Фраза Погодина выражала убеждение в том, что «Европеец» будет продолжать дело, начатое «Литературной газетой».

Первые дошедшие до нас сведения о намерениях Киреевского относятся к началу сентября 1831 г. В письме от 9 сентября Н. М. Языков просил В. Д. Комовского доставить ему «удовлетворительные сведения вот о чем: как получается позволение издавать журнал»[4]. Сведения эти были нужны несомненно для Киреевского. Название журнала — «Европеец», судя по всему, родилось одновременно или почти одновременно с идеей его создания. 19 сентября Киреевский писал А. А. Елагину: «Дело, о котором мне нужно поговорить с Вами, важное: *издание журнала*. Как Вы об этом думаете? Напишите ответ с первой почтой. Ни убытку, ни барыша большого мне не иметь; но есть барыш нравственный: необходимость деятельности для меня, и лишняя книга для публики. Назвать я думаю: Европеец. План телеграфский, только без мод. Последние выгодны, но

---

[2] *Пушкин*. Т. 14. С. 238.
[3] Рус. арх. 1882. № 6. С. 191.
[4] ЛН. Т. 19/21. 1935. С. 46.

как-то неблагородны. Об дальнейших подробностях надобно нам будет потолковать вместе» [5].

«Телеграфский» значит, разумеется, план «Московского телеграфа». Более конкретное представление о том, каким Киреевский предполагал видеть свой журнал, дает его программа:

«Европеец

Журнал наук и словесности будет состоять из 5-ти отделений.

1. Науки. Сие отделенье будет наполняться оригинальными и переводными статьями по части Истории, Географии, Статистики в пространном смысле Государствоведенья, Земледелия, Политической Экономии, Философии, Астрономии, Наук Естественных и пр.

2. Изящная Словесность: Стихи, повести, сказки, рассужденья и вообще Изящная проза, переводная и оригинальная.

3. Биографии знаменитых современников, особенно литераторов.

4. Критика, Разборы книг, журнальных статей и театральных пьес русских и иностранных.

5. Смесь: Библиографии, известия, замечания о литературе и науках, о русских и иностранных театрах, новости, анекдоты и пр.

Годовое издание будет состоять из 6-ти томов, или 24 книжек, к которым по временам будут прилагаться портреты, виды facsimile, каррикатуры, ноты и проч.» [6]

22 сентября Елагин ответил на письмо Киреевского: «В самом деле дело важное, и я, не пропуская почты, отвечаю тебе, любезный друг Иван Василье-

---

[5] ГБЛ. Ф. 99. П. 7. Ед. хр. 36. Письмо 16. Л. 9.
[6] ЦГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 1.

вич! Ежели ты почувствовал в себе необходимость деятельности и надеешься прокормить эту деятельность журналом, — то чего ж думать — с богом» [7].

Баратынскому, жившему тогда в Каймарах, Киреевский написал еще раньше: 21 сентября датирован ответ поэта [8]. Баратынский не одобрил намеченное Киреевским название. «...Мне кажется, — писал он, — всего лучше выбрать такое, которое бы ровно ничего не значило и не показывало бы никаких притязаний. „Европеец" вовсе не понятый публикой, будет понят журналистами в обидном смысле; а зачем вооружать их прежде времени?» [9]. По практическим соображениям Баратынский не хотел, чтобы название журнала провозглашало его программу, но, узнав, что это название принято, он не стал возражать: «Ежели уже получено позволение издавать журнал под фирмою „Европейца", пусть он останется „Европейцем". Не в имени дело» [10]. Но для Киреевского дело было и в имени. Как показывает его письмо к Жуковскому, это «имя» служило знаменем идей, которые он собирался пропагандировать.

25 сентября Киреевский подал в Московский цензурный комитет прошение и программу журнала [11]. 13 октября «последовало очень благополучно без малейших затруднений» разрешение Главного управления цензуры [12]. 23 октября товарищ министра народного просвещения Д. Н. Блудов известил попечителя Московского учебного округа о «согласии на предпо-

[7] ГБЛ. Ф. 99. П. 7. Ед. хр. 36. Письмо 16. Л. 13.
[8] См.: *Баратынский*. С. 501.
[9] Там же. С. 504.
[10] ТС. С. 25.
[11] См.: МОГИА. Ф. 31. Оп. 5. Ед. хр. 72. Л. 26, 27.
[12] См.: ЛН. Т. 19/21. С. 49.

лагаемое г. Киреевским издание под названием „Европеец“» [13].

Киреевский весь отдался работе — и сразу столкнулся с серьезными трудностями. А. П. Елагина сообщала о них Жуковскому: «„Европеец“ осовел; многих журналов здесь получать не позволено, напр. L'Avenir и Литературных Английских. Вяземский, Тургенев все обещают, и благодаря балам и вечерам — не дали ничего. Подписчиков еще нет. Уверяют, будто объявление его слишком скромно, и неизвестное имя издателя не привлекает никого. Первая книжка почти напечатана, а на вторую, кроме Онуфрия (т. е. Войны мышей и лягушек Жук-ого), еще нет ничего» [14]. Время шло, а положение не облегчалось: «Иностранных журналов еще нет, и это нас сокрушает... Вяземский обещал много и не дал, Пушкин также; издатель остается при своих и смущается крепко» [15].

О недостаточном количестве подписчиков «Европейца» упоминают и другие современники. Однако сведения, сообщаемые по этому поводу, существенно расходятся. В январе 1832 г. Киреевский писал В. Ф. Одоевскому: «Издание будет мне стоить около 15 тысяч, а до сих пор у меня только четыреста подписчиков» [16]. А. И. Кошелев, находившийся в это время в Женеве, получил от Киреевского сообщение, что у него 50 подписчиков. Та же цифра фигурирует и в письме М. П. Погодина к С. П. Шевыреву от 20 января 1832 г.[17] Кошелев выражает в этой связи

---

[13] МОГИА. Ф. 31. Оп. 5. Ед. хр. 72. Л. 37.
[14] Уткинский сборник. 1. М., 1904. С. 54.
[15] Там же.
[16] Рус. старина. 1904. № 4. С. 216.
[17] См.: Рус. арх. 1882. Кн. 3. С. 193.

опасение, что Киреевский «принялся не за свое дело и что журнал его не пойдет. Чтобы быть журналистом, не надобно иметь огромных способностей, но необходимо быть одаренным теми способностями, которых вовсе не имеет Киреевский. Он может быть славным сотрудником, но поспешил и людей насмешил. Если бы он дождался Шевырева (находившегося в то время за границей. — *Л. Ф.*) и с ним начал издавать журнал, то дело бы пошло, хотя и не славно, но, по крайней мере, порядочно»[18]. Какими-то сведениями о том, что у Киреевского мало подписчиков, располагал и Баратынский[19].

Из сотрудников Киреевского одним из самых деятельных был наряду с Жуковским Языков, произведения которого появились в двух вышедших номерах журнала и должны были появиться в третьем. 18 ноября 1831 г., сообщая сестрам о предстоящем выходе «Европейца», Языков выражал убеждение, что «оный журнал будет, конечно, бесконечно лучше всех прочих своих собратий: в нем участвуют все наши лучшие писатели: не врали и плуты, не невежды и щелкоперы. В первой № будет напечатана сказка Жуковского: Спящая Царевна: прелесть! А для вас, мои милые сестрички, и товарно и приятно и сладостно, что и стихи вашего братца Николая Михайловича Языкова будут тут же во весь год, потому что оный ваш братец написал довольно много нового и еще должен написать к 1му Января стихов не менее 100. . .»[20].

Восторженными отзывами о журнале Киреевского

---

[18] Рус. старина. 1904. № 4. С. 216.
[19] См.: *Баратынский*. С. 514.
[20] ПД. № 1481/VI. С. 30. Л. 1, 1 об.

пронизаны и письма Языкова к брату — Петру Михайловичу. 9 декабря 1831 г. он писал: «Европеец выдет достославно, ты не нарадуешься. Свербеев перевел из Вильменя. Он мастер этого дела и будет тако действовать в Европейце. Обрати особенное внимание на статьи издателя: XIX век, о Борисе Годунове, о Вильмене и проч. Каково? Знай наших!» В письме от 16 декабря говорится: «В одном из первых №№ Европейца ты увидишь его (Жуковского. — *Л. Ф.*) сказку о мышах и лягушках (он ее не кончил и не кончит): посмотри, как все это прекрасно! вообще по языку чудо в нашей словесности». 22 декабря вновь: «...Сей журнал должен быть лучший. как я уже писал к тебе»[21].

Языков привлек к сотрудничеству в «Европейце» и своего приятеля В. Д. Комовского. «Шлите Вашу статью для Европейца (да не будет она слишком длинна), — писал ему поэт 12 января 1832 г., — мы ждем ее благодарно и радостно. Что это за книга, из которой вы ее взяли? Снова ли вы хотите подарить Русь трудом достохвальным?»[22]

Статья Комовского не успела появиться в «Европейце» и до нас не дошла. Единственный источник сведений о ней — ответное письмо, отправленное ее автором Языкову 21 января 1832 г.: «Переведенная мною статья составит, может быть, $3^1/_2$ п. листа; есть возможность отделить поэтическую литературу от исторической. Много обяжете, уведомив, так ли велика снисходительность Европейца, что позволит мне испортить даже $3\,^1/_2$ листа в нем? Из того, что я перевел статью из книги Витона, не следует вы-

---

[21] Там же. № 1482. Л. 20 об., 21, 27 об., 28, 33.
[22] ЛН. Т. 19/21. 1935. С. 64.

водить дальнейших заключений. Сочинение это, конечно, очень хорошее: но нам нужны книги общенаставительные» [23].

Усердным поставщиком материалов для «Европейца» стремился стать и, без сомнения, стал бы О. М. Сомов. 5 января он послал Языкову предназначенную для передачи Киреевскому «довольно длинную статью». «Если реченная статья (отрывок из предлинной повести) годится в Европеец, то я уполномочиваю его тиснуть, ибо П. Богданович Байский дал мне полное право распоряжаться его повестями... — писал он. — Г. Киреевскому скажите, что это еще цветики. Если угодно ему, то мы готовы поступиться вперед еще статьею из Китайского романа, коего одну главу найдете вы в Сев. Цв., клочком из *Бороды Богдана Бельского*, повестью или двумя Байского и Сомова, да сверх того не отрекаемся и мелочи подсыпать. У нас (т. е. у Байского и Сомова) наберется того-сего порядочный запасец» [24].

16 января Сомов сообщает Языкову о готовности выслать ему, несомненно тоже для Киреевского, «критику О‹тца› Иакинфа (NB, если она нужна); а после навяжу Вам еще повесть, — и другую — и отрывок и другой, если всему этому будет место. Все это разумеется не вдруг, а исподволь, т. е. в течение года, да и Библиографические статьи о некоторых здешних книгах, если нужно» [25].

Спустя десять дней Сомов снова пишет Языкову: «В этом пакете посылаю к Вам, почтеннейший Николай Михайлович, целую тетрадь замечаний О‹тца› Иакинфа, с его же письмами, из коих некоторые

---

[23] Там же. С. 65.
[24] Северные цветы на 1832 год. М., 1980. С. 288, 289.
[25] ПД. № 1439/VII С. Л. 7.

нужны вам будут для соображений; в одном же есть еще короткое известие о Миссии Российско-Китайской, которым тоже, если угодно, можете воспользоваться. — Я между тем пишу для Европейца повесть...» [26]

Ряд материалов, в том числе «выписки из письма Иакинфа» и «критика на роман фон дер Флита „Посольство в Китай“» поступили к Киреевскому от Сомова через В. Ф. Одоевского. «Сомов молодец, — писал Одоевский. — Дай ему бог здоровья: он радеет о „Европейце“ душой и телом» [27].

Кроме того, Одоевский обещал Киреевскому «целый воз» собственных сочинений: «Статей у меня для тебя наготовлено пропасть — остается только переписать...» [28] Киреевский отвечал: «Спасибо тебе, от всего сердца спасибо, друг Одоевский, за твое участие в нашем журнале. Надеюсь, что слово *нашем* здесь не пустое: я оправдаю его тем, что постараюсь сделать журнал достойным тебя, а ты помещением в нем своих статей и полновластным распоряжением во всем, что до него касается. Каждая страница твоя, каждое слово будет мне подарок и знак дружбы.

Однако, кроме статей, я ожидаю от тебя еще важного дела: твоего мнения. Прошу тебя, по крайней мере на некоторое время приневолить свою лень и после каждого № моего журнала сказать мне об нем твое суждение, замечая не столько хорошее, сколько недостатки, чтобы я мог их исправить и мало-помалу довести журнал до некоторой степени достоинства» [29].

---

[26] Там же. Л. 8.
[27] Цит. по: *ВГ*. С. 119.
[28] Там же.
[29] *Киреевский И. В.* Избр. статьи. М., 1984. С. 307.

Но планам Киреевского не суждено было воплотиться в жизнь. На свет появилось печально известное письмо А. Х. Бенкендорфа к К. А. Ливену. Генерал писал: «Государь император, прочитав в № 1 издаваемого в Москве Иваном Киреевским журнала под названием „Европеец“ статью „Девятнадцатый век“, изволил обратить на оную особое свое внимание. Его величество изволил найти, что вся статья сия есть не что иное, как рассуждение о высшей политике, хотя в начале оной сочинитель и утверждает, что он говорит не о политике, а о литературе. Но стоит обратить только некоторое внимание, чтоб видеть, что сочинитель, рассуждая будто бы о литературе, разумеет совсем иное, что под словом *просвещение* он понимает *свободу*, что *деятельность разума* означает у него *революцию*, а *искусно отысканная середина* не что иное, как *конституцию*. Посему его величество изволит находить, что статья сия не долженствовала быть дозволена в журнале литературном, в каком воспрещается помещать что-либо о политике, и как, сверх того, оная статья, невзирая на ее нелепость, писана в духе самом неблагонамеренном, то и не следовало цензуре оной пропускать. Далее, в той же книжке „Европейца“ государь император изволил заметить в статье „Горе от ума“ самую неприличную и непристойную выходку на счет находящихся в России иностранцев, в пропуске которой цензура уже совершенно виновна.

Его величество о сих замечаниях своих повелел мне сообщить Вашей светлости, с тем, чтоб Вы изволили обратить законное взыскание на цензора, пропустившего означенную книжку „Европейца“, и дабы издание оного журнала было на будущее время воспрещено, так как издатель, г. Киреевский, обна-

ружил себя человеком неблагомыслящим и неблагонадежным.

Вместе с тем его величеству угодно, дабы на будущее время не были дозволены никакие новые журналы, без особого высочайшего разрешения, и дабы при испрашивании такого разрешения было представлено его величеству подробное изложение предметов, долженствующих входить в состав предполагаемого журнала, и обстоятельные сведения об издателе»[30].

Этот документ произвел на современников поистине ошеломляющее впечатление, причем не только на ближайшее дружеское окружение Киреевского и тех, кто сотрудничал в его журнале. Неудивительно, что Жуковский писал по этому поводу Николаю I: «...Запрещение журнала его (Киреевского. — *Л. Ф.*) падает некоторым образом и на меня, ибо я принял довольно живое участие в его издании»[31]. Неудивительна реакция Баратынского, писавшего издателю «Европейца»: «От запрещения твоего журнала не могу опомниться... Я вместе с тобой лишился сильного побуждения к трудам словесным. Запрещение твоего журнала просто наводит меня на хандру, и судя по письму твоему, и на тебя навело меланхолию»[32].

---

[30] ЦГИА. Ф. 772. Оп. 1. Ед. хр. 406. Л. 1, 1 об. Обычно это письмо цитируется по книге М. К. Лемке «Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг.» (изд. С. В. Бунина. 1908. С. 73) или по журналу «Русская старина» (1903. № 2. С. 314). Однако при перепечатке письма в обоих случаях допущены некоторые неточности, получившие затем распространение. Представляется поэтому уместным привести его по первоисточнику.

[31] *Гиллельсон М. И.* Письма Жуковского о запрещении «Европейца» // Рус. лит. 1965. № 4. С. 120.

[32] *Баратынский.* С. 516.

Неудивительны гнев и обиды, кипевшие в душах Вяземского и Языкова. Но и А. В. Никитенко, смотревший на события со стороны и не затронутый ударом, обрушенным на Киреевского, записал в дневнике: «„Европейца“ запретили. Тьфу! Да что же мы, наконец, будем делать на Руси? Пить и буянить? И тяжко, и стыдно, и грустно!» [33]. Но и Погодин, не разделявший позиций Киреевского и полемизировавший с ним, отметил: «А бумага о Киреевском *историческая*. Жаль, что так. Горевали и толковали» [34].

В том, что истинной причиной обрушившегося на «Европейца» царского гнева был тайный донос, друзья Киреевского не сомневались. «...„Европеец“ запрещен в следствие доноса», — писал Пушкин [35]. Мнение Баратынского: «Нет сомнения, что тут действовал тайный, подлый и несправедливый доносчик» [36]. Жуковский также считал, что «нашелся злонамеренный человек, который хотел погубить его (Киреевского. — *Л. Ф.*) и растолковать статью по-своему» [37]. Вяземский сообщал, что все читатели «Европейца», с которыми ему случалось беседовать, «приписывают досадное истолкование статей, в нем содержащихся, какому-либо злонамеренному обвинению автора лично его врагами» [38]. В другом его письме говорится: «Донесли о худом направлении мыслей журнала...

---

[33] *Никитенко А. В.* Дневник. М., 1955. Т. 1. С. 114.
[34] *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1891. Т. 4. С. 8.
[35] *Пушкин.* Т. 15. С. 12.
[36] *Баратынский.* С. 516.
[37] Рус. арх. 1896. № 1. С. 115.
[38] *Гиллельсон М. И.* Неизвестные публицистические выступления П. А. Вяземского и И. В. Киреевского // Рус. лит. 1966. № 4. С. 123.

Я уверен, что это Булгарина—Полевого штука»[39]. Аналогичного мнения придерживались позднейшие исследователи: «Мы не знаем, кто именно донес на Киреевского, но, что донос был, это, кажется, не подлежит сомнению»[40]. М. Лемке вслед за Вяземским в качестве вероятного автора доноса называл Булгарина[41]. До недавнего времени предположения, что запрещение «Европейца» явилось следствием доноса, оставались недоказанными. В 1965 г. этот документ был обнаружен нами в Секретном архиве Третьего отделения. Вот его текст:

«О журнале „Европеец“,
издаваемом Иваном Киреевским
с 1-го января сего года.

Журнал „Европеец“ издается с целию распространения духа свободомыслия. Само по себе разумеется, что свобода проповедуется здесь в виде философии, по примеру германских демагогов Яна, Окена, Шеллинга и других, и точно в таком виде, как сие делалось до 1813 года в Германии, когда о свободе не смели говорить явно. Цель сей философии есть не та, чтоб доказать, что род человеческий должен стремиться к совершенству и подчиняться одному разуму, а как действие разума есть *закон*, то и дóлжно стремиться к усовершенствованию *правлений*. Но поелику разум не дан в одной пропорции всем людям, то совершенство состоит в соединении многих умов в едино, а в следствие сего разумнейшие должны управлять миром. Это основание республик. В сей философии все говорится под *условными знаками*, которые понимают адепты и толкуют профанам.

---

[39] Звенья. 1951. Т. 9. С. 281.
[40] *Лясковский В.* Братья Киреевские, жизнь и труды их. СПб., 1899. С. 36.
[41] См.: *Лемке М. К.* Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. СПб., 1908. С. 72.

Стоит только знать, что *просвещение* есть синоним *свободы*, а *деятельность разума* означает *революцию*, чтоб иметь ключ к таинствам сей философии. Ныне в Германии это уже не тайна. Прочтя со вниманием первую книжку журнала „Европеец", можно легко постигнуть, в каком духе он издается.

В 1-й статье „XIX-ой век" указывается, к чему должны стремиться люди. На странице 10-й разрешается, что из двух разрушительных начал должно родиться успокаивающее правило, и правило сие ясно обнаружено. Автор называет его *искусно отысканною срединою*, т. е. конституциею, срединою между демократиею и монархиею неограниченной. Стоит обратить внимание на хитрость автора статьи. На 1-ой странице он объявляет, что не будет говорить о политике, а вся статья есть политическая.

Статья 3, стр. 38 „Император Июлиян" есть верх вероломства. Здесь доказывается, что Июлиян был великий человек и гений, но погиб оттого, что не шел за идеями века и хотел угнетать оных, т. е. християнство. Июлияна сравнивают с Фридрихом Великим и утверждают, что Фридрих оттого восторжествовал, что делал вопреки Июлияну, т. е. пошел за идеями века.

В статье „Обозрение русской литературы" на стр. 103 и 104 автор весьма коварно насмехается над нашим правительством, которого прозорливость избавляет нас от занятий политикою.

Говоря о представлении „Горя от ума" на стр. 139, 140 и 141, издатель не согласен с автором комедии, что мы не должны излишне во всем подражать иностранцам, а напротив того, советует подражать, чтоб *обще* Европейское слилось с нашею *особенностью*. Чего хочет автор статьи — ясно! В конце он возбуждает ненависть противу рожденных в России иноземцев в самых гнусных выражениях»[42].

---

[42] ЦГАОР. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 1. Ед. хр. 1904. Л. 2—4. Впервые опубликовано в тексте нашей статьи: К истории журнала «Европеец» // Рус. лит. 1967. № 2. С. 118. 119.

В том же деле находится черновик доноса. На черновике сделаны поправки карандашом, после чего текст переписан начисто. Черновик начинался так: «Из числа журналов, издаваемых в цели распространения духа свободомыслия, первое место занимает журнал „Европеец“». Это фраза зачеркнута, и вместо нее вписано первое предложение чистовика. Предпоследний абзац в черновике кончался словами: «Эта фраза повторяется в целом городе со смешком». В конце черновика имелся еще один абзац: «Издатель сего журнала г. Киреевский есть ныне главою шеллинговой секты и поддерживаемый кредитом своего дяди Жуковского имеет сильную партию между молодыми людьми»[43]. Оба отрывка вычеркнуты карандашом и при переписывании текста исключены.

Достаточно сравнить текст доноса с письмом Бенкендорфа, чтобы убедиться, что перед нами тот документ, который подсказал Николаю, что под словом «просвещение» якобы подразумевается «свобода», «деятельность разума» означает «революцию», а «искусно отысканная середина» не что иное, как «конституция». Из текста доноса явствует, что писался он в середине или во второй половине января 1832 г., поскольку в нем говорится не только о содержании первого номера журнала, но и об отношении, которое он вызвал к себе.

Несравненно труднее ответить на другой вопрос: кто был автором этого документа? Построение и стиль его дают, как нам кажется, достаточное основание считать, что перед нами не простой донос, а нечто вроде внутренней рецензии, изготовленной по заказу вла-

---

[43] ЦГАОР. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 1. Ед. хр. 1904. Л. 7, 8 об.

стей и в какой-то мере аналогичной известной записке Булгарина о «Борисе Годунове». Очень характерно начало: «Журнал „Европеец“ издается с целию распространения...» — это звучит как ответ на заданный вопрос, как обращение к лицу, знающему, о чем пойдет речь и какого характера сведения ему предстоит получить. Столь ответственная работа, как написание записки, которой предстояло попасть к царю, не могла быть поручена случайному человеку, да и сам документ написан знатоком своего дела, искушенным если не в литературе, то в полицейском исследовании ее.

Любопытно, как могло случиться, что черновик и чистовик доноса оказались в одном деле. Наиболее правдоподобным представляется следующее объяснение: записка была написана начерно, в нее внесли исправления, переписали, и этот переписанный текст *еще раз* переписали — для Бенкендорфа и Николая. Этим третьим экземпляром, отправленным «наверх», мы не располагаем.

Записка о «Европейце» подтверждает, насколько прав был Пушкин, когда сообщал Киреевскому: «...донос, сколько я мог узнать, ударил не из Булгаринской навозной кучи, но из тучи» [44]. Что это за «туча», из которой «ударил» донос и которую Пушкин противопоставляет булгаринской камарилье? Скорее всего — Третье отделение. В этом случае к изготовлению документа должен был иметь непосредственное отношение тогдашний управляющий Третьим отделением А. Н. Мордвинов. Обращает на себя внимание такой факт: 19 февраля 1832 г. Бенкендорф представил царю «всеподданнейший доклад» «О назначении действительного статского советника Морд-

---

[44] *Пушкин.* Т. 15. С. 26.

винова членом главного управления цензуры». Хотя распоряжение царя о включении в этот орган представителя тайной полиции было отдано еще при жизни М. Я. Фон-Фока, а Мордвинов занял место управляющего Третьим отделением в сентябре 1831 г., шеф жандармов не торопился с подобным представлением. А тут через 12 дней после решения о закрытии «Европейца» внезапно счел, что Мордвинов «может уже с пользою быть назначен членом главного управления цензуры» [45], и получил на это «соизволение» царя.

Обследование почерков, которыми написаны черновик и чистовик доноса, вряд ли может привести нас к желаемой цели. Это типично чиновничьи почерки, которые, по всей вероятности, принадлежат не автору документа. Иное дело — почерк, которым вписана в черновик поправка: он имеет ярко выраженные индивидуальные черты и легко поддается сверке. Такая сверка привела автора этих строк к мнению, что фраза, которой начинается чистовик, была написана взамен вычеркнутой собственноручно А. Н. Мордвиновым. По моей просьбе фоторепродукции листа, на котором была написана поправка, и шести листов рукописей, заведомо принадлежавших Мордвинову [46], были подвергнуты почерковедческому исследованию в Харьковском научно-исследовательском институте судебной экспертизы. О результатах исследования была составлена справка за № 1708 от 9 декабря 1966 г., где, в частности, говорится: «Установленные

---

[45] ЦГАОР. Ф. 109. Оп. 86. Ед. хр. 40. Л. 94 об.
[46] Донесение о волнениях в Павловском полку гвардейского корпуса от 24--27 августа 1833 г. // ЦГАОР. Ф. 109. Оп. 3. Ед. хр. 2517.

совпадающие признаки общей характеристики почерка, общие и частные, образуют совокупность признаков, свойственную почерку лишь определенного лица, и являются основанием для положительного вывода о тождестве исполнителя».

Исправления, внесенные Мордвиновым в документ, в совокупности преследовали совершенно определенную цель: локализовать донос на одном Киреевском, приуменьшить значение и общественный резонанс его деятельности, представить крамолу явлением изолированным и беспрецедентным. Были исключены упоминания о других журналах, издаваемых «в цели распространения духа свободомыслия», о «шеллинговой секте», о Жуковском, о «сильной партии между молодыми людьми», о сочувственном приеме насмешки над правительством.

Но в действительности в Третьем отделении обстановку оценивали иначе. Закрытие «Европейца» обострило внимание к другим прогрессивным органам, и в первую очередь — к «Московскому телеграфу». 8 февраля 1832 г., т. е. *на следующий день* после отправки письма к Ливену, Бенкендорф написал Полевому, обвиняя одну из его статей в тех же грехах, за которые был закрыт «Европеец», и повторяя буквально многие выражения. Напечатанная полгода назад (1831. № 16), она *не тогда, а именно сейчас* привлекла к себе внимание. Как и в «Девятнадцатом веке», шеф жандармов усмотрел в ней «не литературу, а совершенное рассуждение о высшей политике». Здесь и утверждение, что подобные статьи «сколько вредны, столько же и нелепы» (статья Киреевского, «невзирая на ее нелепость, написана в духе самом неблагонамеренном»), и удивление цен-

зуре, которая «пропустила такие вредные суждения». «Я не могу не скорбеть душою, — писал Бенкендорф, — что во времена, в кои и без наших вольнодумных рассуждений юные умы стремятся к общему беспорядку, вы еще более их воспламеняете...» [47] Напомним, что, когда писались эти строки, Киреевскому не было и 26 лет. Говоря о «юных умах», шеф жандармов, скорее всего, имел в виду издателя «Европейца».

Прошел еще один день, и 9 февраля Бенкендорф изложил те же мысли в письме к Ливену: «Рассматривая журналы, издаваемые в Москве, я неоднократно имел случай заметить расположение оных к идеям самого вредного либерализма. В сем отношении особенно обратили мое внимание журналы „Телескоп" и „Телеграф", издаваемые Надеждиным и Полевым. В журналах сих часто помещаются статьи, писанные в духе весьма недобронамеренном и которые, особенно при нынешних обстоятельствах, могут поселить вредные понятия в умах молодых людей, всегда готовых, по неопытности своей, принять всякого рода впечатления. О таких замечаниях я счел долгом сообщить Вашей светлости и обратить особое Ваше внимание на непозволительное послабление московских цензоров, которые, судя по пропускаемым ими статьям, или вовсе не пекутся об исполнении своих обязанностей, или не имеют нужных для этого способностей» [48].

10 февраля Ливен получил распоряжение о запрещении журнала Киреевского. В тот же день он затребовал из канцелярии Московского цензурного ко-

---

[47] *Лемке М. К.* Указ. соч. С. 79. 80.
[48] Рус. старина. 1903. Кн. 1. С. 312, 313.

митета все вышедшие номера «Европейца». 13 февраля письмом к попечителю Московского учебного округа Ливен сообщил о решении царя закрыть журнал. 16 февраля из Москвы в Петербург ушли два пакета: цензурный комитет пересылал Ливену вышедшие номера «Европейца»[49]. Генерал Волков сообщал Бенкендорфу собранные им по указанию шефа жандармов сведения о Киреевском[50]. 22 февраля Московский цензурный комитет заслушал отношение Ливена и определил: принять решение царя «к должному и непременному исполнению. Г. Киреевского известить чрез канцелярию комитета о воспрещении его журнала»[51]. Киреевского известили. С «Европейцем» было покончено.

Когда Киреевский узнал о запрещении своего журнала? Его письмо к Жуковскому, из которого явствует, что ему известно существо предъявленных к «Европейцу» обвинений, обычно датируется по почтовому штемпелю — 1 февраля. Но письмо Бенкендорфа к Ливену датировано 7 февраля. Представить себе, что Киреевскому (в Москве!) за неделю до этого было известно его содержание, хотя бы и примерно, разумеется, невозможно. Заметим, что Вяземский (в Петербурге) 6 февраля еще не знал о решении закрыть журнал. Что касается штемпеля, то его изучение оставило у нас следующее мнение: на нем было двузначное число. Первая цифра стерлась полностью. Стерлась также верхняя часть второй цифры. Можно с уверенностью утверждать лишь то, что это было либо «1», либо «4», скорее «1». Таким

---

[49] См.: ЦГИА. Ф. 772. Оп. 1. Ед. хр. 406. Л. 7, 3, 4, 8.
[50] См.: ЦГАОР. Ф. 109. Оп. 1. Ед. хр. 1904. Л. 5, 6.
[51] МОГИА. Ф. 31. Оп. 3. Ед. хр. 2166. Л. 20.

образом, письмо Киреевского было отправлено из Москвы 11 или 14 февраля.

14 февраля Погодин записал в дневнике: «Какие-то места в „Европейце“ жестоко не понравились государю» [52]. На следующий день он располагал более подробной, но весьма неточной информацией: «„Европейца“ запретили. Киреевского в крепость, а Аксакова на гауптвахту. Предполагается неблагонамеренный смысл в „XIX веке“ и неприличные выражения о иностранцах. В городе перебрали все по строчке» [53].

Современникам и впрямь нелегко было понять, почему журнал Киреевского «жестоко» не понравился государю. Письмо Бенкендорфа к Ливену неоднократно приводилось как пример патологической мнительности властей, которым везде слышался отзвук недозволенных настроений и которые обрушили свой гнев на вовсе его не заслужившую невинную статью. Нет слов, «расшифровка», перекочевавшая из доноса в послание шефа жандармов, груба и прямолинейна. Киреевский больше всего был возмущен именно попытками подставить вместо одних слов другие и прочесть таким образом якобы подразумеваемое автором: «Меня обвиняют самым неслыханным образом, говоря, что под словом *просвещение* я разумею *свободу*, под словом *обязанность разума* я разумею *революцию* и пр.» [54] Защищавший Киреевского Жуковский также говорил о недопустимости замены одних слов другими: «...с такой методой чтения нет и не может быть строки невинной: нет молитвы, которая тайным

---

[52] *Барсуков Н.* Указ. соч. С. 8.
[53] Там же.
[54] Рус. лит. 1965. № 4. С. 124. Впервые письмо опубликовано М. Л. Гофманом в журнале «Благонамеренный» (Брюссель, 1926. № 1. С. 144, 145).

образом не могла бы быть обращена в богохуление» [55].

Подразумевания одних слов под другими в «Девятнадцатом веке» действительно нет. Но это не снимает других, более общих и более важных вопросов. Правда ли, что «вся статья» Киреевского «есть политическая»? Имел ли Николай I основание увидеть в ней «рассуждение о высшей политике»? Верно ли, наконец, что эта статья «писана в духе самом неблагонамеренном»?

Жуковский в письме к Николаю I, написанном с целью обелить Киреевского в глазах царя, решительно утверждает, что в «Девятнадцатом веке» «везде говорится исключительно об одной литературе и философии, и нет нигде ничего политического» [56]. Киреевский также заявляет: «Мой журнал должен был быть всецело литературным» [57]. Тем не менее есть

[55] Рус. лит. 1965. № 4. С. 114.

[56] Рус. арх. 1896. № 1. С. 117.

[57] Там же. № 8. С. 579. Цитируемое здесь и ниже письмо было написано на французском языке П. Я. Чаадаевым и включается в его собрания сочинений. Публикуя в «Русском архиве» перевод этого документа, П. И. Бартенев сопроводил его следующим примечанием: «Чадаев близко знал графа Бенкендорфа еще в царствование Александра Павловича за границею и в России. С его стороны эта записка была делом дружбы. Французским языком Чадаев владел отлично. Мысли, изложенные в этой прекрасной записке, принадлежат самому Киреевскому, Чадаев был только их излагателем» (Там же. С. 576). И ниже повторил вновь, что это письмо было написано, «конечно, так сказать, под диктовку самого Киреевского» (Там же. С. 582). Хотя позднее, готовясь стать редактором «Москвитянина», Киреевский по каким-то причинам отрекался от этого письма и

серьезные основания усомниться в истинности этих утверждений.

Возьмем хотя бы письмо Киреевского к Бенкендорфу, где издатель «Европейца» намеревался изложить «всю совокупность» своих «воззрений на тот предмет», которого он лишь коснулся в журнале. Письмо начинается с напоминания о декабристах: они мечтали «о преобразованиях, системах управления, подобных европейским». «...Я следовал этому течению, питал те же чувства, мечтал о тех же благах для России; к счастью, я разделял лишь эти идеи, а не искал преступным образом, подобно им, их осуществления...» С вызывающей резкостью говорит Киреевский о необходимости отмены крепостного права: «...я желаю освобождения крестьян, так как считаю, что это необходимое условие всякого последующего развития для нас и особенно развития нравственного. Считаю, что в настоящее время всякие изменения в законах, какие бы правительство ни предпринимало, останутся бесплодными до тех пор, пока мы будем находиться под влиянием впечатлений, оставляемых в наших умах зрелищем рабства, нас с детства окружающего...» Перечислив три своих пожелания («распространение серьезного и здравого классического образования», «освобождение крестьян» и «пробуждение религиозного чувства»), автор письма говорит: «Вот что, полагаю, можно было увидеть в статье, которая имела несчастье навлечь на меня

утверждал, что оно написано «не по его мыслям» (см.: *Изд. 1979*. С. 365, 425), мы полагаем, что Чаадаев не мог его написать против желания и без участия человека, от имени которого оно было написано, и характеристика, данная ему Бартеневым, в целом соответствует действительности.

высочайшее порицание». Если бы журнал не был закрыт, Киреевский дал бы понять его читателям, что «самое главное для нас — это отдать самим себе отчет о нашем социальном положении» [58]. Все это плохо согласуется с «всецело литературным» характером «Европейца», и неудивительно, что письмо Киреевского, несмотря на нападки на революцию 1830 г. и дифирамбы государевой мудрости, могло лишь укрепить у властей убеждение в неблагонадежности издателя и своевременности запрещения его журнала.

Красноречивы и некоторые высказывания современников. Когда появились первые слухи о грозе, собирающейся над «Европейцем», Вяземский просил предупредить Киреевского: «...пускай остерегается он в следующих книжках и держится одной изящной чистой литературы, то есть без всякой примеси политической» [59]. Мог бы Вяземский так писать, если бы не чувствовал этой «примеси» в уже вышедшем номере журнала? Еще более красноречиво другое его письмо — к И. И. Дмитриеву. «Известно, — иронически рассуждает Вяземский, — что в числе коренных государственных узаконений наших есть и то, хотя не объявленное Правительствующим Сенатом, что никто не может в России издавать политическую газету, кроме Греча и Булгарина... Вы, верно, пожалели о прекращении „Европейца“, последовавшем, вероятно, также *в силу вышеупомянутого узаконения»* [60]. Смысл этих слов ясен: Вяземский считал «Европеец» политическим изданием.

---

[58] Рус. арх. 1896. № 8. С. 576, 578, 579.
[59] Звенья. 1951. Т. 9. С. 281.
[60] Рус. арх. 1868. № 4/5. Стлб. 616 (курсив мой. — *Л. Ф.*).

Обратимся к самой статье. Киреевский исследует в ней господствующее направление своего времени — «особенность текущей минуты» (Е. № 1. С. 4.). «В конце осьмнадцатого века, когда борьба между старыми мнениями и новыми требованиями просвещения находилась еще в самом пылу своего кипения, господствующее направление умов было безусловно *разрушительное*... Эти электрические слова, которых звук так потрясал умы: *свобода, разум, человечество*, — что значили они во время Французской революции?» (Е. № 1. С. 7, 8). Киреевский показывает, как отразилась острота классовых столкновений в литературе, религии, этике. «Но это направление резрушительное, которому ясным и кровавым зеркалом может служить Французская революция, произвело в умах направление противное, контрреволюцию» (Е. № 1. С. 9), также запечатленную различными формами общественного сознания. Из борьбы противоположных направлений — революционного и контрреволюционного — родилась, по мнению Киреевского, «потребность мира», «потребность успокоительного равновесия», «стремление к мирительному соглашению враждующих начал» (Е. № 1. С. 10). Это стремление Киреевский и считал «особенностью текущей минуты».

Интересно сравнить «Девятнадцатый век» с написанным двумя годами ранее письмом Киреевского к А. И. Кошелеву. «Кстати к Погодину; он задумал пресмешную вещь: хочет писать особенную брошюрку о том, что политическое равновесие Европы принадлежит к числу тех мыслей, которые вместе с поверьями о колдунах, привидениях и чертях суть порождения невежества и суеверия и в *наш просвещенный век* должны вывестись и исчезнуть при свете *истинного* мышления. Сколько я ни толковал ему,

а переубедить не мог; ибо для этого нужно понять, что такое политическое равновесие, а здесь-то и занятая»[61]. По всей вероятности, Киреевский излагал в «Девятнадцатом веке» примерно те мысли, которые высказывал Погодину. Но вот что важно: в письме говорится о *политическом* равновесии — в статье крамольное определение по понятным причинам опущено. Письмо к Кошелеву подтверждает, что «успокоительное равновесие», «мирительное соглашение», «искусно отысканная середина» — все это были для Киреевского категории политические. Что же касается историко-литературного материала, имеющегося в первой части «Девятнадцатого века», то он призван лишь иллюстрировать политические положения автора. Заявив, что «стремление к успокоительному равновесию» продолжается и поныне, он говорит: «Докажем это состоянием литературы» (Е. № 1. С. 12) — и переходит к характеристике того, какое следствие имело оно в художественном творчестве, в философии.

К этому можно добавить, что политическая острота того варианта статьи, который читал Николай и который перепечатан в собраниях сочинений Киреевского, была притуплена давлением цензуры. В Центральном государственном архиве литературы и искусства сохранился интересный документ: список «Девятнадцатого века», представленный С. Т. Аксакову, с возражениями последнего и исправлениями, внесенными затем рукой Киреевского.

В первом варианте статьи говорилось: «В литературе, в обществе, *в волнениях различных партий, в битвах противных мнений*, одним словом, в целом нравственном быте просвещенной Европы заметно

---

[61] Там же. 1906. № 3. С. 579.

присутствие какого-то нового, какого-то недавнего убеждения...» На полях вопрос Аксакова: «Каких же?» Новая редакция фразы: «В литературе, в обществе, в борьбе *религиозных* партий, в волнениях *философских* мнений, одним словом, в целом нравственном быте просвещенной Европы заметно присутствие какого-то нового, какого-то недавнего убеждения...» [62]

Первоначально Киреевский писал: «В конце осьмнадцатого века, когда борьба между *старым порядком вещей* и новыми требованиями просвещения находилась еще в самом пылу своего кипения, господствующее направление умов было безусловно *разрушительное* (курсив автора. — *Л. Ф.*). Науки, жизнь, общество, литература, даже самые искусства изящные, все обнаруживало одно стремление: низвергнуть *старый порядок вещей*». Аксаков возражает на полях: «Это все говорится в политическом отношении; „старый порядок вещей“ можно заменить другим, не столь подозрительным выражением». И Киреевский заменяет: «В конце осьмнадцатого века, когда борьба между *старыми мнениями* и новыми требованиями просвещения находилась еще в самом пылу своего кипения, господствующее направление умов было безусловно *разрушительное* (курсив автора. — *Л. Ф.*). Науки, жизнь, общество, литература, даже самые искусства изящные, все обнаруживало одно стремление: низвергнуть *старое*» [63].

Сошлемся еще на один неопубликованный документ — письмо В. Д. Комовского к Киреевскому от 15 сентября 1831 г. Как явствует из этого письма,

---

[62] ЦГАЛИ. Ф. 236. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 1 (курсив мой. — *Л. Ф.*).

[63] Там же. Л. 4 об. (курсив, кроме оговоренных случаев, мой. — *Л. Ф.*).

Киреевский спрашивал Комовского, что он должен сделать, чтобы получить разрешение на издание «Европейца». Видимо, в этом не дошедшем до нас послании Киреевского было нечто, побудившее Комовского считать, что в проектируемом журнале будут затрагиваться политические проблемы.

«На вопросы ваши спешу отвечать, — писал Комовский — кандидат в журналисты должен представить цензурному комитету просьбу о позволении облечься в новоизбираемое им звание; также приложить программу издания. Знаков отличия литературной службы не требуется. Комитет от себя уже сделает представление в Главное управление цензуры, а через две недели, верно, получите и разрешение. Держась библейского изречения: „Идущего ко мне не отрину“, управление принимало доселе с радушием подобные искательства. Морщится и косится оно только на покушающихся толковать русскому народу о политике; да и этот гнев невольный, по *казенной надобности.* Управлению не дано прав разрешать столь дерзновенные посягания; оно должно чрез Комитет министров спрашивать дозволения у государя. Так как это всегда бывало продолжительно и плодом попыток всегда бывал отказ. то и не советуется делать притязания на политику в программе, впрочем, на все есть уловки и крючки — *новейшая история* не предана проклятию. Политику приобрели в вечное и потомственное владение Булгарин и Греч; никто другой не достоин и не удостоится подобного доверия от власти предержащей»[64]. Итак, в программе о политике — ни звука, а в журнале можно пустить в ход «уловки и крючки», гримируя ее под «новейшую ис-

[64] Там же. Ед. хр. 85. Л. 1, 2.

торию». Совет Комовского был принят. «Девятнадцатый век» — действительно статья политическая или, во всяком случае, затрагивающая ряд политических вопросов.

Это, разумеется, не значит, что Киреевский, камуфлируя политические идеи литературной оболочкой, стремился призвать к революции, к потрясению основ николаевской государственности. Он не мыслил иного развития России, как под эгидой просвещенного монарха. Но каков был объективный смысл его деятельности — это другой вопрос, а какой она должна представляться правительству — третий.

По убеждению властей, Киреевский не имел права высказывать никаких политических суждений, даже ортодоксальных. Политическая деятельность в николаевской России — привилегия царя и круга избранных им лиц. Прочие не имеют права даже судить о ней. Такое толкование самого слова «политика» запечатлели словари того времени: «Наука, преподающая управляющим народами правила к достижению предполагаемых намерений» [65]; «Наука о государственном управлении. Правительственные виды» [66]; «Наука государственного управления; виды, намеренья и цели государя, немногим известные, и образ его действий при сем, нередко скрывающий первые» [67]. Киреевский высказывал политические суждения — уже этого было достаточно, чтобы вызвать к себе предубежденное отношение. А поскольку эти

---

[65] Словарь Академии Российской. СПб., 1822. Ч. 4. С. 1430.

[66] Словарь церковно-славянского и русского языка. СПб., 1847. Т. 3. С. 314.

[67] *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т. 3. С. 261.

суждения не совпадали с официальной линией, судьба журнала была предрешена. Автор донесения только ускорил дело.

Иногда можно встретиться с мнением, что если бы Николай I прочел окончание статьи, то изменил бы отношение к ней. С этим трудно согласиться. В годы, когда складывалась теория «официальной народности», утверждения, что «у нас искать национального — значит искать необразованного», что Россия не имеет «достаточных элементов для внутреннего развития образованности» (Е. № 3. С. 391, 392), разумеется, были крамолой. Естественное равновесие, основанное на учете разных мнений, мысли о том, что каждый имеет право по-своему оценивать происходящее и даже «*обязан* произносить свой приговор» (Е. № 3. С. 374), — могло ли это понравиться Николаю I? Пусть Киреевский не подразумевал под «просвещением» «свободу» — сама роль, отводимая им просвещению, была достаточно подозрительной в глазах людей, считавших, что «правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия... Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному» [68].

Вторым основанием для закрытия «Европейца» послужила, как известно, статья «„Горе от ума“ — на московском театре». Власти сочли ее еще более крамольной, чем «Девятнадцатый век». Бенкендорф подчеркнул, что в пропуске этой статьи цензура «уж совершенно виновна». Царский гнев навлекли послед-

---

[68] Письмо Бенкендорфа Пушкину от 23 декабря 1826 г. // *Пушкин*. Т. 13. С. 315.

ние строки рецензии, в которых была усмотрена «самая неприличная и непристойная выходка насчет находящихся в России иностранцев». Но не меньшего внимания заслуживала и первая ее половина, где дана общая характеристика грибоедовской комедии. Сравнивая статью Киреевского с другими рецензиями на постановку «Горя от ума» в Москве (В. А. Ушакова в «Московском телеграфе», Н. А. Надеждина в «Телескопе»), нельзя не согласиться с мнением Н. К. Пиксанова, что в «Европейце» мы «находим первую попытку принципиально посчитаться с идейным содержанием комедии» [69]. Киреевский остро критикует фамусовскую Москву: «Эта пустота жизни, это равнодушие ко всему нравственному, это отсутствие всякого мнения и вместе боязнь пересудов, эти ничтожные отношения, которые истощают человека по мелочам и делают его неспособным ко всему стройно дельному, ко всему возвышенному и достойному труда: *жить*; — все это дает московскому обществу совершенно особенный характер, составляющий середину между уездным кумовством и безвкусием и столичною искательностью и роскошью» (Е. № 1. С. 136, 137). Зная, как близок был в ту пору Киреевский с Баратынским, мы можем пояснить эту характеристику следующими словами из письма поэта: «...в губерниях вовсе нет этого равнодушия ко всему, которое составляет характер большей части наших московских знакомцев. В губерниях больше гражданственности, больше увлечения, больше элементов политических и поэтических» [70]. «Равнодушие

---

[69] *Грибоедов А. С.* Полн. собр. соч. СПб., 1913. Т. 2. С. 314.

[70] *Баратынский.* С. 511.

ко всему», которое обличает Киреевский, — это недостаток «гражданственности», «элементов политических и поэтических».

Говоря русской публике о новинках современной европейской культуры, Киреевский не мог обойти знакомства с политическими идеями Запада. В «Обозрении русской литературы за 1831 год» он подробно говорил о том, что «быстрота и важность государственных переломов», «повсеместная борьба политических и к ним примкнувшихся религиозных партий» настолько «сосредотачивают деятельность умов на *дела государственные*», что последние «могут одни служить полным представителем общественной образованности, указателем господствующего направления и зеркалом текущей минуты». Самые науки выступают «как орудие политической деятельности». Политика оказывает сильное воздействие на литературу. А «та часть ее, которая не задавлена влиянием политики... цветет бледно и болезненно, как цветок осенний, благоухающий для охотников, но не возбуждающий в уме ни надежды на плод, ни доверенности к плодовитости дерева» (Е. № 1. С. 102, 103).

Позднее, защищая в письме к Бенкендорфу свой уже запрещенный журнал, Киреевский писал: «Не с политической, но с мыслящей Европой хотел я установить более тесную связь...»[71] В действительности это противопоставление иллюзорно. В первом номере «Европейца» читатель знакомился с Людвигом Берне и Генрихом Гейне. Можно ли отнести этих деятелей к Европе «мыслящей», но не «политической»? Ответ на этот вопрос дает журнал. В помещенной здесь рецензии на «Письма из Парижа» го-

---

[71] Рус. арх. 1896. № 8. С. 579.

ворится, что Берне и «его друг Гейне» «принадлежат к левой стороне и в политике и в словесности». Они «самое искусство подчиняют жизни или, лучше сказать, и жизнь, и искусство видят в одной нераздельности. Оттого все произведения их носят печать минуты, мысли самые отвлеченные проникнуты событиями действительными и текущими, и мечты самые поэтические перемешаны с расчетами политики» (Е. № 1. С. 116). С нескрываемым сочувствием характеризует автор оппозиционность Берне: «Он издавал несколько журналов, но прекратил их потому, что не мог ужиться с цензурою. Слог его жив и оригинален: насмешка зла и умна, и вообще все, что ни скажет Берне, сказано либо от сердца, либо с сердцем» (Е. № 1. С. 117, 118). Современный исследователь с полным основанием акцентировал тот факт, что «сведения о „Письмах" Берне и самый их текст Киреевский берет из „Литературного листка" В. Менцеля. Таким образом, журнал Киреевского давал читателю новейший материал, характеризовавший левую немецкую публицистику, очень мало известную до той поры в России» [72].

«Европеец» также опубликовал «Отрывки из письма Гейне о парижской картинной выставке 1831 года». Гейне писал о твердости, несвоекорыстии, неумолимости Робеспьера, который плакал над Демуленом, казненным за «опасную и безвременную слабость» (Е. № 1. С. 93). Можно предполагать, что характеристики, которые давал Гейне деятелям Французской революции, в какой-то мере соответствовали отношению к ним самого Киреевского. Вспомним, что

---

[72] *Данилевский Р. Ю.* «Молодая Германия» и русская литература. Л., 1969. С. 58.

он писал о Робеспьере в письме к Кошелеву: «То, что ты говоришь о 89 годе, мне кажется не совсем справедливо. Двигатели мнений и толпы были тогда не только люди нравственные, но энтузиасты добродетели. Робеспьер был не меньше, как фанатик добра»[73]. Как и письмо Киреевского, статья Гейне характеризует Робеспьера лишь в моральном и отчасти в психологическом аспекте. Речь идет об индивидуальных качествах человека, а не о его политической программе.

В другом месте статьи Гейне описан Кромвель, глядящий на обезглавленное тело Карла I: «Вне суда и закона, и в то же время подчиняющий себя порядку законности, — он смотрит на дело, совершенное им, почти так же холодно, как дровосек на срубленное дерево» (Е. № 2. С. 218). Мы не знаем, кем были переведены эти отрывки из статьи Гейне. Но интересно отметить, что переводчик позволял себе существенно отклоняться от оригинала, вольно перетолковывать его и даже делать вставки. Так, первая половина приведенной фразы о Кромвеле: «Вне суда и закона, и в то же время подчиняющий себя порядку законности...» — введена переводчиком. Как мы видим, тенденции программной статьи журнала дают себя знать и в других его материалах.

Особо стоит остановиться на статье «Современное положение Испании», подготовленной для «Европейца» П. В. Киреевским[74]. Статья рисовала мрачную картину безнадежного упадка страны, во главе которой находится «правительство всемогущее во зле и бессильное в добре, ведущее народ к скотскому за-

---

[73] *Изд. 1911.* Т. 2. С. 225.
[74] См.: ЛН. Т. 79. С. 38, 39.

коснению» (Е. № 2. С. 237, 238). «Здесь приняты самые действительные меры против успехов рассудка и мыслей, невыгодных для дурного устройства» (Е. № 2. С. 247, 248). По убеждению автора, «ничто, кроме решительного преобразования в правлении, политике и во всей системе законов, не может освободить Испанию из самой глубокой бездны несчастий и унижения, в какую народ упасть может» (Е. № 2. С. 235, 236).

Чтобы оценить, как воспринималась эта статья современниками, необходимо помнить об огромном впечатлении, которое произвела на русское общество Испанская революция 1820—1823 гг., сначала ее успех, на три года установивший в стране конституционный строй, а затем поражение, достигнутое лишь в результате иностранной военной интервенции. Тогда эти события были у всех на памяти: ведь со дня казни Риего до появления первых номеров «Европейца» прошло чуть более восьми лет. Политическая острота статьи П. В. Киреевского была так очевидна, что современники, еще не имевшие точной информации о причинах закрытия журнала, полагали, что «Европеец» был запрещен «за Испанскую статью, ибо де Испанский Двор пришлет ноту» (запись в дневнике М. П. Погодина от 15 февраля 1832 г.[75]).

Современники уловили цельность позиции, которая давала себя знать в разных, в том числе и в переводных материалах, появившихся в «Европейце». С этой точки зрения показательны суждения, которые высказывал В. Д. Комовский в письмах к Языкову. Активно содействовавший Киреевскому в получении разрешения на издание «Европейца», Комовский много

---

[75] *Барсуков Н. П.* Указ. соч. С. 7.

ждал от нового журнала. «Желая добра русской литературе, нельзя не радоваться его (Киреевского. — *Л. Ф.*) предприятию» [76], — писал он. Отвечая Языкову, который в письме от 5 января спрашивал: «Получили ли Вы Европейца? каково? Критики замечают, что он zu theoretisch *, — и, кажется, правы», — Комовский 11 января высказывает такое суждение: «Европейца получил и читал с большим наслажденьем духовным, вторично благодарю за него вас и Киреевского. Мне кажется, что за свой теоретический характер именно и достоин он хвалы: в наших прочих журналах — теория есть самая бедная, самая слабая сторона, следовательно, тут никогда лишку не будет. Прибавки к статьям переведенным также служат к отличию сего нового вестника литературного от прочих собратий: они дают ему вид стройного, внутреннего — согласно целого. Обыкновенно у нас переводы печатаются в журналах без всяких видоизменений; нашим издателям мало горя и нет дела, что журналы, с которых сбирают они оброк, издаются каждый в своем особливом духе, для особой цели» [77].

Третий номер «Европейца», как известно, не был допечатан. Кроме тех материалов, которые были для него набраны, сохранились сведения о двух вещах, которые Киреевский намеревался в него включить. Одна из них — начало поэмы Жуковского «Сказка о царе Берендее». В одном из писем Киреевского Жуковскому содержится указание, что он посылает автору «ее напечатанную часть, как она была приготовлена для 3-го № „Европейца“» [78]. Вторая — статья

* слишком теоретичен (*нем.*).
[76] ПД. № 1492/VII С. Л. 7.
[77] ЛН. Т. 19/21. 1935. 61—63.
[78] ГБЛ. Ф. 104 (Жуковского). П. VIII. № 4. Л. 11.

Киреевского о восьмой главе «Евгения Онегина». «...При случае, — писал он Вяземскому, — я пришлю Вам мой разбор последней главы Онегина, который был напечатан в третьей книжке. Поправьте его как угодно и передайте Сомову в его сборник для напечатания без имени» [79]. Статьей, о которой идет речь, мы не располагаем, и дальнейшая судьба ее неизвестна.

С тем же письмом Киреевский посылал Вяземскому «продолжение 19-го века» и предупреждал: «Это контрабанд, следовательно, не показывать его никому или немногим» [80]. Какие-то «контрабанды» ходили по рукам и в Москве. 13—15 марта Погодин записал в дневнике: «Киреевский сказывал, что подозревали его в раздаче третьего нумера» [81]. Погодина это смущало, так как он сам давал читать этот не вышедший в свет «нумер» Марии Сергеевне Мухановой.

Трудно предугадать, как сложились бы судьбы «Европейца», если бы он не был закрыт. Между группировавшимися вокруг него писателями не существовало единства. Поэтому в журнале, открываемом «Девятнадцатым веком», смогли обрести приют такие истово славянофильские стихи, как «Иностранка» Хомякова. За этими расхождениями крылись принципиальные разногласия, горячие споры, о которых впоследствии вспоминал Кошелев: «...мы зимою постоянно живали в Москве, очень часто видались и у него (Хомякова. — *Л. Ф.*), и у меня, и особенно у И. В. Киреевского... Тут бывали нескончаемые разговоры и споры, начинавшиеся вечером и кончав-

---

[79] ЛН. Т. 58. 1952. С. 108.
[80] Цит. по: *ВГ*. С. 125.
[81] *Барсуков Н. П.* Указ. соч. С. 11.

шиеся в 3, 4 и даже 5 и 6-м часу ночи или утра... Многие из нас вначале были ярыми западниками, и Хомяков почти один отстаивал необходимость для каждого народа самобытного развития»[82]. А вот что писал этот «ярый западник», услышав название журнала Киреевского: «За имя твоего новорожденного хочется тебя жестоко побранить. Зачем было украсть его у Ксенофонта Полевого, который все твердит: будем же европейцами. Я хочу написать статью: „Не будем же европейцами“ — и пришлю ее для помещения в твой журнал. Всегда любил Россию, но, посетив гнилую Европу, я обожаю свое отечество. Европа перед нами дрожит, как листок; скоро, надеюсь, будет нам поклоняться»[83]. В кругу литераторов, сотрудничавших в «Европейце», голос будущего славянофильства слышался внятно. Но нет оснований недооценивать и противоположные, «западнические» тенденции. Не случайно Герцен даже спустя много лет, когда Киреевский стал для него «не нашим», не раз называл «Европеец» «превосходным журналом»[84].

С момента, когда «Европеец» был закрыт и стали известны обвинения, выдвинутые властями против его издателя, ближайшее дружеское окружение Киреевского было охвачено тревогой за его судьбу. Жуковский, лучше чем кто-нибудь другой чувствовавший ситуацию, настойчиво советовал Киреевскому написать Бенкендорфу письмо, которое могло бы ограничить дальнейшие репрессии властей в отношении

---

[82] *Кошелев А. И.* Воспоминания о Хомякове // Хомяков А. С. Сочинения. М., 1900. Т. 8. С. 126.

[83] ЦГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 145. Л. 2.

[84] *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 9. С. 29, 159.

издателя злополучного журнала: «В письме своем более старайся не доказывать сделанной тебе несправедливости, а оправдывать свою невиновность. Вступайся менее за свой журнал, нежели за самого себя, и говори более о том, что запрещение журнала делает и тебя самого подозрительным правительству, чего ты не заслужил и что почитаешь наибольшим для себя несчастьем» [85].

В собственных письмах, направленных Бенкендорфу и Николаю I, Жуковский всеми силами стремился их убедить, что «Киреевский, по чистым своим правилам, по тихому, скромному характеру, по своей осторожности, доходящей до излишества, не способен принадлежать ни к какой оппозиции», говорил, что знает Киреевского «совершенно» и «отвечает за его жизнь и правила» [86].

Горячо и самоотверженно вступившийся за Киреевского Вяземский также всеми силами пытался отвести от него угрозу дальнейших репрессий. Он убеждал Бенкендорфа, что попавший под подозрение издатель «Европейца» «добросовестно относится к своим обязанностям подданного и гражданина, и никакая мысль о ниспровержении порядка, никакое намерение, враждебное по отношению к обществу, не могло бы иметь доступ к его чувствительной и благородной душе. Он мне часто говорил о своих журнальных планах и никогда никакие политические виды, никакая скрытая цель не толкали его на это предприятие... Примите его под свою защиту, Генерал, чтобы отвести удар, который должен его настигнуть, или

---

[85] День поэзии, 1983. М., 1983. С. 70.
[86] Рус. лит. 1965. № 4. С. 115, 120.

же, если самый удар неотвратим, по крайней мере смягчите его последствия»[87].

Очевидно, все эти хлопоты привели к желаемому результату. Удар удалось отвести. Киреевского не отправили в Усть-Сысольск, как это случилось спустя четыре года с Н. И. Надеждиным, не объявили умалишенным, как П. Я. Чаадаева. Но деятельность его была приостановлена. Его обширные планы потерпели крах при первой же попытке воплотить их в жизнь. Надеяться на благоприятные перемены в обозримом будущем не приходилось.

III
КОНЕЦ

В начале 1830-х годов одним из ближайших друзей Киреевского был Е. А. Баратынский. Между ними шла интенсивная переписка, и, хотя мы располагаем только половиной ее — письмами Баратынского к Киреевскому[1], — она содержит множество сведений о занятиях и умонастроении издателя «Европейца». 14 марта 1832 г., получив известие о закрытии журнала, поэт писал: «Я вместе с тобой лишился сильного побуждения к трудам словесным. Запрещение твоего журнала просто наводит на меня хандру и, судя по письму твоему, и на тебя навело меланхолию. Что делать! Будем мыслить в молчании и оставим литературное поприще Полевым и Булгариным... Заключимся в своем кругу, как первые братия христиане, обладатели света, гонимого в свое время, а ныне торжествующего. Будем писать, не печатая»[2].

[87] *ВГ*. С. 130, 131.
[1] См.: ТС. С. 5—58.
[2] *Баратынский*. С. 516.

Спустя несколько месяцев он возвращается к тем же мыслям и вновь убеждает своего корреспондента: «Человеку, не находящему ничего вне себя для обожания, должно углубиться в себе. Вот покамест наше назначение» [3].

Очевидно, Киреевский не согласился с этими советами, и на его возражения Баратынский в одном из последующих писем откликнулся так: «Ты принадлежишь новому поколению, которое жаждет волнений, я — старому, которое молило бога от них избавить. Ты называешь счастием пламенную деятельность; меня она пугает, и я охотнее вижу счастие в покое. Каждый из нас почерпнул сии мнения в своем веке. Но это не только мнения, это чувства. Органы наши образовались соответственно понятиям, которыми питался наш ум» [4].

Баратынскому самому не очень-то удавалось следовать на практике печальной мудрости собственных «мнений». Несмотря на стремление позабыть «шумный свет», писал он,

> Еще, порою, покидаю
> Я Лету, созданную мной,
> И степи мира облетаю
> С тоскою жаркой и живой [5].

А Киреевский, в глазах которого жизнь воина в беспрестанных опасностях и в борьбе с препятствиями была дороже «спокойного века», он, который «считал себя обязанным действовать для блага своего отечества», мечтал, став литератором, «содействовать к про-

---

[3] Там же. С. 520.
[4] Там же. С. 523, 524.
[5] Там же. С. 269.

свещению народа», мог ли он стать на путь, на который звал его Баратынский? Даже катастрофа «Европейца» не заставила его на первых порах отказаться от своих намерений, и он сообщал Вяземскому, что «если бы Сомов задумал издавать журнал по форме, я бы обязался доставлять ему каждые две недели печатный лист...»[6]. Обещанные печатные листы девать оказалось некуда, и, по-видимому, они не появились на свет.

«Иван все еще не умеет опомниться и с собой сладить, — писала А. П. Елагина Жуковскому. — Собирается в деревню, зарыться в хозяйство». Жуковский пытался, как мог, побудить Киреевского вернуться к литературе. 12 ноября 1833 г. он писал А. П. Елагиной: «Что делает Иван? Боюсь, что он ничего не делает, а это никуда не годится. Его неудача журнальная не может служить ему оправданием. Она может быть только разве придиркою для его лени»[7]. Но дело было, конечно, не в лени. Обстановка, в которой находился Киреевский, не только не побуждала браться за перо, но заставляла постоянно опасаться новых правительственных репрессий. «Мы все живем давно sur le qui vive *, — отвечала Елагина Жуковскому 23 ноября 1833 г., — и смотрим в двери: кто постучался»[8].

На протяжении последующих 13 лет были напечатаны лишь две статьи Киреевского — «О русских писательницах» и «О стихотворениях г. Языкова». В обеих — размышления о проблемах, занимавших его в период подготовки номеров «Европейца», а порой

---

* находясь начеку (*фр.*).

[6] Цит. по: *ВГ*. С. 125.

[7] Уткинский сборник. 1. М., 1904. С. 56, 55.

[8] ЛН. Т. 79. 1968. С. 40.

можно уловить и прямые отзвуки трагедии 1832 г. Когда Киреевский говорил, что «многие из нас еще сохранили несчастную старообрядческую привычку судить о нравственности более по наружному благочинию, чем по внутреннему достоинству поступка и мысли» или что «для хорошей репутации у нас лучше совсем не действовать, чем иногда ошибаться» [9], то здесь, как обоснованно полагает Ю. В. Манн, «отозвался собственный горестный опыт издателя „Европейца"» [10].

Лишенный журнальной трибуны, Киреевский деятельно участвовал в обсуждении исторических и социальных проблем, волновавших его и его современников. Такие обсуждения были характерной приметой николаевской эпохи, и об их значении для развития русской общественной мысли вспоминали многие деятели той поры. «Меня никто не упрекал в праздности, кое-что из сделанного мною нравилось многим, — писал Герцен, — а знают ли, сколько во всем, сделанном мною, отразились наши беседы, наши споры, ночи, которые мы праздно бродили по улицам и полям или еще более *праздно* проводили за бокалом вина» [11]. В таких беседах, по свидетельству К. Аксакова, вырабатывалось «общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на мир — воззрение большей частью отрицательное» [12].

Сохранилось чрезвычайно интересное письмо Чаадаева к Вяземскому. Отвергая упреки своего оппонента в праздности, он писал: «Неужто надо непре-

---

[9] *Изд. 1911.* Т. 2. С. 79.
[10] *Изд. 1979.* С. 12.
[11] *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 9. С. 11.
[12] *Аксаков К.* Воспоминания студентства (1832—1835). СПб., 1910. С. 20.

менно делать дела, чтобы делать дело? Конечно, можно делать и то и другое, но из этого не следует, чтобы и мысль, не выраженная еще в жизни, не могла быть вещь очень дельная. Настанет время, она явится и там. Разве люди живут в одних только департаментах и канцеляриях? Вы скажете, что мысли наши не только не проявляются в жизни, но и не высказываются на бумаге. Что делать? Знать, грамотка нам не далась. Но зато если б вы послушали наши толки! Нет такого современного и не современного вопроса, которого бы мы не решили... Поверьте, в наших толках очень много толку. Мир всплеснет руками, когда все это явится на свет дневный...» [13]

Киреевскому тоже «грамотка не далась». С тем большей энергией он отдавался «толкам». В московских салонах, в том числе в доме Елагиных-Киреевских, формировались основы будущей славянофильской идеологии. Здесь читался один из первых и наиболее ортодоксальных манифестов славянофильства — статья А. С. Хомякова «О старом и новом» (1839). Здесь же прозвучала статья Киреевского, так и названная: «В ответ А. С. Хомякову».

Хомяков был в своих утверждениях последователен, чёток и бескомпромиссен. Будущее России и Запада предрешено их историей. Прошлое России дает ей неисчислимые преимущества: стране надо лишь вернуться на истинный путь. «Англичане, французы, немцы не имеют ничего хорошего за собою. Чем дальше они оглядываются, тем хуже и безнравственнее представляется им общество. Наша древность представляет нам пример и начала всего доб-

[13] ГБЛ. Ф. Полт. П. 12. Ед. хр. 11.

рого в жизни частной, в судопроизводстве, в отношении людей между собою, но все это было подавлено, уничтожено отсутствием государственного начала, раздорами внутренними, игом внешних врагов. Западным людям приходится все прежнее отстранять, как дурное, и все хорошее в себе создавать; нам довольно воскресить, уяснить старое, привести его в сознанье и жизнь».

Исконные преимущества России виделись Хомякову в том, что на ее «первоначальной истории не лежит пятно завоевания. Кровь и вражда не служили основаньем государству Русскому, и деды не завещали внукам преданий ненависти и мщения. Церковь, ограничив круг своего действия, никогда не утрачивала чистоты своей жизни внутренней и не проповедовала детям своим уроков неправосудия и насилия». «Если нам когда-то и случится воспринять на Западе его „случайные открытия“, то мы придадим им более глубокий смысл и человеческие начала, которые для Запада остались тайными, спрашивая у истории церкви и законов ее — светил путеводительных для будущего нашего развития и воскрешая древние формы жизни русской, потому что они были основаны на святости уз семейных и на неиспорченной индивидуальности нашего племени» [14].

Эта программа вызвала у Киреевского серьезные сомнения, и намечая направление своих рассуждений, он безошибочно указал на наиболее слабые места концепции своего оппонента: «Если старое было лучше теперешнего, из этого еще не следует, чтобы оно было лучше теперь, — говорит он. — Что годится в

---

[14] *Хомяков А. С.* Сочинения. М., 1900. Т. 3. С. 20, 28, 29.

одно время, при одних обстоятельствах, может не годиться в другое, при других обстоятельствах»[15].

Хомяков считает, что, угадав, указав «правильное» направление развития общества, можно направить его на путь истинный и тем решить стоящие перед ним проблемы. Киреевский отдает себе отчет в воздействии объективных факторов, независимых от наших желаний и устремлений, в наличии таких особенностей развития, которые необходимо учитывать, ибо устранить их все равно невозможно. «Сколько бы мы ни были врагами западного просвещения, западных обычаев и т. п., — напоминает он Хомякову, — но можно ли без сумасшествия думать, что когда-нибудь, какою-нибудь силою истребится в России память всего того, что она получила от Европы в продолжение двухсот лет». И возвращение старого русского быта и введение западного равно невозможны, возникнет нечто третье, результат взаимодействия обоих этих начал. «Чего от взаимного их действия должны мы надеяться или чего бояться?» — спрашивает он. И когда Киреевский обращается к попыткам дать ответ на этот вопрос, становится ясно, что его расхождение с Хомяковым не так глубоко и непримиримо, как это поначалу могло показаться. Хотя Киреевский готов признать, что «любит Запад», «связан с ним многими неразрывными сочувствиями» и ценит сложившиеся там «удобства жизни общественной и частной», определяющим его позицию является другое: «...в сердце человека есть такие движения, есть такие требования в уме, такой смысл в жизни, которые сильнее всех привычек и вкусов, сильнее всех приятностей жизни и выгод внешней

[15] *Изд. 1911.* Т. 1. С. 109.

разумности, без которых ни человек, ни народ не могут жить своею настоящею жизнию». И это главное, как недвусмысленно сформулирует это Киреевский в заключительных строках своего «Ответа», есть вера, что «когда-нибудь Россия возвратится к тому живительному духу, которым дышит ее церковь»[16].

Главный предмет размышлений Киреевского по существу тот же, что и в «Девятнадцатом веке»: «Изнутри ли собственной жизни должны мы заимствовать просвещение свое или получать его из Европы? И какое начало должны мы развивать внутри собственной жизни? И что должны мы заимствовать от просветившихся прежде нас?» (Е. № 3. С. 372).

Но как различны ответы, к которым клонилась его мысль в 1832 и 1839 гг.! Издатель «Европейца» рассуждал об «отношении русского просвещения к просвещению остальной Европы» (Е. № 3. С. 373). Это слово «остальной» весьма многозначительно. Россия мыслится тогда Киреевским как несомненная часть Европы, в которой ей предстоит, усовершенствовав уровень своего просвещения, занять надлежащее место. Эту подоснову суждений Киреевского мгновенно уловил Погодин. Уловил и вознегодовал. «Киреевский мерит Россию на какой-то Европейский аршин, я говорю в смысле историческом, а это — ошибка, — писал он Шевыреву. — *Европа себе, мы себе*, говорит у меня Долгоруков в трагедии. Россия есть особливый мир, у нее другая земля, кровь, религия, основание, словом — другая история... Черт возьми! Россия особливый мир»[17].

---

[16] Там же. Т. 2. С. 110, 112, 113, 120.

[17] *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1891. Т. 4. С. 9.

Киреевский в «Девятнадцатом веке», хотя и упомянул мельком, что «в России христианская религия была еще чище и святее», но тут же отметил, что «влияние нашей церкви во времена необразованные не было ни так решительно, ни так всемогуще, как влияние церкви римской» (Е. № 3. С. 381). «Только с того времени, как история наша позволила нам сближаться с Европою... начало у нас распространяться и *просвещение в истинном смысле сего слова*, то есть не отдельное развитие нашей особенности, но участие в общей жизни просвещенного мира...» (Е. № 3. С. 387). В 1832 г. для Киреевского не подлежит сомнению, что Россия не может «достигнуть образованности, не заимствуя ее извне» (Е. № 3. С. 388). Этот тезис формулируется в «Девятнадцатом веке» со всей определенностью и бескомпромиссностью. Своим оппонентам, которые «говорят нам о просвещении национальном, самобытном, не велят заимствовать, бранят нововведение и хотят возвратить нас к коренному и старинно-русскому», он заявляет: «...у нас искать национального — значит искать необразованного; развивать его за счет европейских нововведений — значит изгонять просвещение, ибо, не имея достаточных элементов для внутреннего развития образованности, откуда возьмем мы ее, если не из Европы?» (Е. № 3. С. 391, 392).

Когда писался ответ Хомякову, Киреевский представлял себе вещи совсем в ином свете. В европейском просвещении он видит гибельный примат рациональности, которая «своею болезненною неудовлетворительностию явно обнаруживается началом односторонним, обманчивым, обольстительным и предательским», порождающим «состояние нравственной апатии», «недостаток убеждений» и «всеобщий эгоизм».

Россия же, хотя и «не блестела ни художествами, ни учеными изобретениями, не имея времени развиться в этом отношении самобытно и не принимая чужого развития, основанного на ложном взгляде и потому враждебного ее христианскому духу», но зато «в ней хранилось первое условие развития правильного, требующего только времени и благоприятных обстоятельств; в ней собиралось и жило то устроительное начало знания, та философия христианства, которая одна может дать правильное основание наукам». Не Россия достигнет образованности, заимствуя ее на Западе, а наоборот: Запад, если бы он «изучил нашу церковь поглубже», пришел бы к убеждению, «что в ней совсем неожиданно открывается именно то, чего теперь требует просвещение Европы» [18].

Герцен несколько раз, обращаясь к характеристике Киреевского, подчеркивал то промежуточное место, которое занял издатель «Европейца» между славянофилами и западниками, его особую позицию в среде славянофилов, определяемую тем, что он не отказался от многих своих дум и чувств конца 1820-х—начала 1830-х годов. «Поклонник свободы и великого времени французской революции, он не мог разделять пренебрежение ко всему европейскому новых старообрядцев». Но здесь же Герцен отмечал то главное, что отделяло его от Киреевского: «Между ним и нами была церковная стена» [19]. Первые кирпичи в эту стену были заложены уже в 1839 г.

В 1845 г. Киреевский непродолжительное время был редактором «Москвитянина». Обстоятельства, обусловившие переход журнала в руки славянофилов,

---

[18] *Изд. 1911.* С. 113, 118—120.
[19] *Герцен А. И.* Указ соч. Т. 9. С. 159.

общеизвестны. Славянофилам нужен был свой печатный орган. Хотя «Москвитянин» по своей ориентации был им ближе других существовавших в то время ежемесячников, их расхождения с Шевыревым и Погодиным были настолько существенны, что большинство из них уклонялись от участия в его издании. Падение популярности «Москвитянина» привело Погодина к решению, сохранив издание за собой, передать руководство журналом славянофилам.

Новая редакция «Москвитянина» должна была, по первоначальным замыслам, сплотить всех противников Белинского — не только славянофилов, бывших непосредственным объектом его критики, но и московских западников, не одобрявших «крайности» ведущего критика «Отечественных записок». Киреевский казался (а может быть, и в самом деле был) наиболее подходящей фигурой для того, чтобы сплотить этот широкий и разъедаемый внутренними разногласиями фронт. Явно выступая против сектантства «ортодоксальных» славянофилов, Киреевский писал: «Я желал бы своего „Москвитянина“ сделать журналом хорошим, чистым, благородным, сочувствующим всему, что у нас есть благородного, чистого и хорошего»[20]. Показательно, что в этом журнале согласился сотрудничать Грановский.

Как вспоминал позднее П. В. Анненков, дом А. П. Елагиной, остававшийся одним из излюбленных мест, где собирались московские литераторы, «по тону сдержанности, гуманности и благосклонного внимания, в нем царствовавшему, представлял нечто вроде замиренной почвы, где противоположные мнения

---

[20] Цит. по: *Сахаров В. И.* Под сенью дружных муз. М., 1984. С. 282.

могли свободно высказываться, не опасаясь засад, выходок и оскорблений со стороны препирающихся». Мемуарист свидетельствует, что атмосфера елагинского салона имела «весьма заметное влияние на Грановского, Герцена и многих других западников, усердно посещавших его» и что «обратное действие западников на московских славянофилов, составлявших большинство в обществе елагинского дома, тоже не подлежит сомнению» [21].

Киреевский в чем-то поддерживал позиции каждого из противостоящих лагерей, а в чем-то оба они были ему чужды. «Он однажды с глубокой печалью сказал Грановскому: „Сердцем я больше связан с вами, но не делю многого из ваших убеждений; с нашими я ближе верой, но столько же расхожусь в другом“» [22]. Герцен со своей стороны отмечал: «...я был ближе с И. В. Киреевским, чем с многими из наших» [23]. Когда Киреевский прочел в письме Хомякова, что тот называет Грановского и его единомышленников «противниками», он отозвался на это резко и гневно: «Может быть, вы считаете меня заклятым славянофилом и потому предлагаете мне „Москв‹итянин›“. То на это я должен сказать, что этот славянофильский образ мыслей я разделяю только *отчасти*, а *другую часть* его считаю *дальше от себя, чем самые эксцентрические мнения Грановского*».

Возможность вновь после 12-летнего перерыва стать редактором журнала всколыхнула все существование Киреевского, затронула самые сокровенные струны его души. «...Издавать журнал было бы для

---

[21] См.: *Анненков П. В.* Указ. соч. С. 224.
[22] Цит. по: *Герцен А. И.* Указ. соч. Т. 9. С. 159.
[23] Там же. С. 211.

меня самым приятным занятием, и может быть, самым дельным»[24]. Вдохновляло Киреевского и другое: «...обстоятельство, что многие из моих московских друзей объявили мне, что моя редакция „Москвитянина“ будет для них причиною деятельности».

Но вновь и вновь он возвращается к старым ранам: «...мне был запрещен журнал, и неизвестно, позволят ли теперь». «...Опять петербургские журналисты меня оклевещут, донесут и выхлопочут новое запрещение? Подвергнуться второй раз тому, чтобы быть жертвой Булгарина, было бы уже чересчур глупо с моей стороны и в мои лета!»[25] Опасения, что поступят с «Москвитянином» так же, как с «Европейцем»[26], переходят из одного письма в другое.

Не находя в «своем образе мыслей» «ничего возмутительного, ни противного правительству, ни порядку, ни нравственности, ни религии», добиваясь того, чтобы молчание, наложенное на него «с 32-го года, было наконец снято», Киреевский, однако, жаждет журнальной деятельности, чтобы сделать ее проводником сокровенных мыслей и убеждений, «иметь право высказывать свой образ мыслей самовластно»[27].

Ему казалось, что пришло время, когда выражение его «задушевных убеждений будет и не бесполезно и возможно». И вновь свои задушевные убеждения, программу своих действий он излагает в письме к Жуковскому. Но, положив рядом эти два письма: одно, написанное в октябре 1831, а второе — в январе 1845 г., — можно оценить всю глубину перемен, кото-

[24] *Изд. 1911.* Т. 2. С. 233 (курсив И. В. Киреевского), 230, 231.
[25] Там же. С. 236, 231.
[26] Там же. С. 233.
[27] Там же.

рые в этих убеждениях произошли. Тогда он собирался сделать из своего кабинета «аудиторию европейского университета» и выпускать журнал, который, «как записки прилежного студента, был бы полезен тем, кто сами не имеют времени или средств брать уроки из первых рук». А теперь?

Теперь он считает, что пришло время, «когда западная словесность не представляет ничего особенно властвующего над умами, никакого начала, которое бы не заключало в себе внутреннего противоречия, никакого убеждения, которому бы верили сами его проповедники, что именно теперь пришел час, когда наше православное начало духовной и умственной жизни может найти сочувствие в нашей так называемой образованной публике, жившей до сих пор на веру в западные системы» [28].

Не приходится сомневаться, что именно в этих словах наиболее прямо и недвусмысленно выразилось существо тех позиций, которые занимал Киреевский в 1840-х годах. Но в программной статье «Обозрение современного состояния литературы», появившейся в «Москвитянине», они изложены иначе. Киреевский не пытается утаить или смягчить свое критическое отношение к умственной жизни Европы. Здесь он вполне определенен. «...*Начало европейской образованности, развивавшееся во всей истории Запада, в наше время оказывается уже неудовлетворительным для высших требований просвещения... Правда для поэзии западной может воскреснуть только тогда, когда новое начало будет принято в жизни европейского просвещения*», и это начало, «которое лежит в основании мира православно-словенского» [29].

[28] Там же. С. 236, 224.
[29] Там же. Т. 1. С. 142—144.

Очевидная предвзятость этого вывода немедленно вызвала возражения. Герцен, высоко оценивший в статье Киреевского «энергический рассказ современного состояния умов в Европе», «картину, набросанную смелой кистью таланта», нашел этот вывод «бедным, странным и ниоткуда не следующим». «...С чего же, — спрашивал он, — Европа, оживившая нас своею богатой, полной жизнию, пойдет к нам искать для себя построяющую идею, и какая это идея, принадлежащая нам национально и с тем вместе всеобщечеловеческая?» [30] Белинский также счел выводы Киреевского «произвольными», хотя и отметил, что в его статье «высказано много дельного, верного, умного о современном состоянии Европы» [31].

Однако, обратившись к развитию русской культуры, автор «Обозрения» не стал связывать его с превосходством «православного начала духовной и умственной жизни» над «западными системами», как он сделал это в письме к Жуковскому. Он стремился создать у читателей впечатление, что занимает среднюю позицию: и «западничество» «Отечественных записок», и ортодоксальное славянофильство «Маяка» для него — «мнения» «равно односторонние» и «равно неосновательные».

«Некоторые думают, что полнейшее усвоение иноземной образованности может со временем пересоздать всего русского человека». Ложность этой точки зрения для Киреевского «очевидна без доказательства». «Другое мнение, противоположное этому безотчетному поклонению Запада и столько же

---

[30] *Герцен А. И.* Указ. соч. Т. 2. С. 137.

[31] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1953. Т. 9. С. 68.

одностороннее... заключается в безотчетном поклонении прошедшим формам нашей старины и в этой мысли, что «со временем новоприобретенное европейское просвещение опять должно будет изгладиться из нашей умственной жизни развитием нашей особенной образованности». Оно неприемлемо для Киреевского и потому, что «всякая форма жизни, однажды прошедшая, уже более невозвратима, как та особенность времени, которая участвовала в ее создании», и потому, что оно, «безусловно отвергая все европейское, тем самым отрезывает нас от всякого участия в общем деле умственного бытия человека» [32]. «Споры о превосходстве Запада или России» критик считает «самыми бесполезными», ибо «новые требования европейского ума и наши коренные убеждения имеют одинакий смысл» и сливаются «в одно стремление к живому, полному, всечеловеческому и истинно-христианскому просвещению». «Начало нашей православно-словенской образованности... должно служить необходимым дополнением образованности европейской», «образованность европейская» — «явиться новым возбудительным средством к развитию нашей умственной деятельности» [33].

Такая позиция создавала условия, в которых велись «толки и переговоры» о возможном участии в «Москвитянине» Герцена, который, хотя и видел «определенную и весьма большую разницу» в своих и Киреевского убеждениях, но, учитывая, что «Иван Васильевич не дошел до последней точки москвизма» [34], что он «хочет как-то и с Западом поладить» [35],

[32] *Изд. 1911.* Т. 1. С. 152, 154—156.
[33] Там же. С. 161—162.
[34] *Герцен А. И.* Указ. соч. Т. 2. С. 389.
[35] Там же. С. 397.

не отвергал этой идеи с порога, а предлагал отложить решение вопроса: «...лучше было бы подождать книжку-другую журнала и потом посмотреть, возможно ли нам участвовать» [36]. Но скоро выяснилось, что Киреевский и сам не ужился в «Москвитянине», после выхода третьего номера он вынужден был отказаться от редактирования журнала: попытка выпускать свой журнал вновь потерпела неудачу.

Письма Киреевского конца 1840-х годов позволяют видеть, как стремителен был его отход не только от позиций, занимаемых им в молодости, но и от тех, которые еще недавно, казалось, могли позволить ему сотрудничать с Герценом. Теперь каждое его слово о Западе, о европейской культуре и образе жизни дышит отвращением. «Грустно видеть, каким лукавым, но неизбежным и праведно насланным безумием страдает теперь человек на Западе». «Неужели вы думаете, что какое-нибудь важное дело может сделаться хорошо, когда оно будет делаться в Западном духе?» [37]. Если русское влияние на Запад может быть благотворным, то обратный процесс, который Киреевский с отвращением именует «подвижением к Немечине», может иметь для России лишь губительные последствия.

Эти идеи легли в основу статьи «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России», написанной для «Московского сборника», который издавал в 1852 г. Иван Аксаков. Приличия ради Киреевский вскользь сказал в ней о том, что «после совершившегося сопроникновения России и Европы уже невозможно предполагать ни

---

[36] Там же. С. 389.
[37] *Изд. 1911.* Т. 2. С. 250, 252.

развития умственной жизни в России без отношения к Европе, ни развития умственной жизни в Европе без отношения к России». Но в действительности на любую перспективу влияния Европы на умственную жизнь России критик смотрит с ужасом. Вся его статья — сплошной обвинительный акт, обличающий безнадежное и опасное для его родины гниение Запада. «...Самое торжество ума европейского обнаружило односторонность его коренных стремлений...» Западный человек, «утратив веру во все убеждения», «вследствие развития этого разума потерял и последнюю веру свою в его всемогущество» [38].

В конце статьи Киреевский собирает «вместе все сказанное ... о различии просвещения западноевропейского и древнерусского... чтобы, сведя их в один итог, вывести ясное определение характера той и другой образованности». Как же выглядит этот итог? «...Там законы исходят искусственно из господствующего мнения — здесь они рождались естественно из быта; там улучшения всегда совершались насильственными переменами — здесь стройным естественным возрастанием; там волнения духа партий — здесь незыблемость основного убеждения; там прихоть моды — здесь твердость быта; там шаткость личной самозаконности — здесь крепость семейных и общественных связей; там щеголеватость роскоши и искусственность жизни — здесь простота жизненных потребностей и бодрость нравственного мужества; там изнеженность мечтательности — здесь здоровая цельность разумных сил...»

Мы приводим лишь несколько строк из обширного периода, занимающего в статье Киреевского около

[38] Там же. Т. 1. С. 181, 176, 179.

двух страниц. Нет смысла напоминать его полностью; вывод, к которому вело это противопоставление, очевиден. Россия найдет решение стоящих перед ней проблем, только «вырвавшись из-под гнета рассудочных систем европейского любомудрия»[39].

В последние годы жизни Киреевский мало писал о литературе. Тем больший интерес представляет документ, свидетельствующий о том, что критик, некогда дебютировавший статьей «Нечто о поэзии Пушкина», помнил и любил поэта. В 1855 г. вышли в свет «Сочинения» Пушкина, изданные П. В. Анненковым, а П. И. Бартенев откликнулся на них рецензией «А. С. Пушкин. Материалы для его биографии»[40]. Тогда Киреевский написал Чаадаеву следующее письмо:

«С благодарностью возвращаю Вам книжку стихов Пушкина. Я прочел с большим ‹...›* его послания к Вам и еще более убедился, что Вы только правы. Невозможно рассказывать жизнь Пушкина, не говоря о его отношениях к Вам. Но позвольте Вам повторить то, что я говорил Вам прежде: Вы правы только в отношении к Бартеньеву, а не в отношении к Пушкину и Вашей дружбе. Если человек, совсем не знавший Пушкина, расскажет об нем неполно или даже не так, то друзья Пушкина обязаны дополнить и поправить. Несмотря на его ошибки, мы все будем благодарны Бартеньеву за то, что он рассказал без ошибок. Он мог совсем не говорить о нем; на нем не лежало той обязанности спасти жизнь Пушкина от забвенья, какая лежит на его друзьях. И чем

[39] Там же. С. 217, 218, 221.
[40] Моск. ведомости. 1855. № 142. 26 нояб.
* Пропуск слова в рукописи.

больше он любил их, тем принудительнее эта обязанность. Потому я надеюсь, что статья Бартеньева будет введением к Вашей, которую ожидаю с большим нетерпением.

Преданный Вам И. К.» [41]

Чаадаев не успел написать статью, которую ждал от него Киреевский, — менее чем через полгода его не стало.

Эволюция, которую пережил Киреевский, привела к тому, что он вступил в спор с самим собой. «...У нас под русским духом понимают только отсутствие образованности», — писал он. Но кто же совершает эту ошибку? Не сам ли Киреевский, когда утверждает в «Девятнадцатом веке», что у нас «искать национального — значит искать необразованного?»

Перемены во взглядах Киреевского впечатляли даже его друзей. «Он перебывал локкистом, спинозистом, кантистом, шеллингистом, даже гегельянцем; он доходил в своем неверии даже до отрицания необходимости существования бога; а впоследствии он сделался не только православным, но даже приверженцем „Добротолюбия". С Хомяковым у Киреевского были всегдашние нескончаемые споры: сперва Киреевский находил, что Хомяков чересчур церковен, что он недостаточно ценил европейскую цивилизацию и что он хотел нас нарядить в зипуны и обуть в лапти; впоследствии Киреевский упрекал Хомякова в излишнем рационализме и в недостатке чувства в делах веры» [42].

Герцен тоже писал о резкости перемен, происшедших в Киреевском, писал много и всегда с гру-

---

[41] ПД. Ф. 250 (А. Н. Пыпина). Оп. 1. № 345. Л. 6 об.
[42] *Кошелев А. И.* Записки (1812—1883 гг.). Берлин, 1884. С. 73.

стью. «...Этого человека, твердого и чистого, как сталь, разъела ржа страшного времени. Через десять лет он возвратился в Москву из своего отшельничества — мистиком и православным»[43]. Герцен считал «нелепым» то решение вопроса о современности Руси, которое отстаивал Киреевский, но он настойчиво противопоставлял его другим славянофилам. Киреевский, писал он, «верит в славянский мир — но знает гнусность настоящего»[44].

Справедливость последних слов Киреевский подтвердил, когда за полгода до смерти написал письмо Вяземскому, содержавшее убийственную характеристику того подавления свободной мысли, которым ознаменовало себя царствование Николая I. «...Покойный император, — писал он, — никогда не любил словесности и никогда не покровительствовал ей. Быть литератором и подозрительным человеком в его глазах было однозначительно. Может быть, когда князь Вяземский будет писать свою биографию, и он расскажет кое-что в подтверждение моих слов. Наши книги и журналы проходили в публику, как вражеские корабли теперь проходят к берегам Финляндии, то есть между схер и утесов и всегда в виду крепости. Особенно журнальная деятельность — этот необходимый проводник между ученостию немногих и общею образованностию — была совершенно задушена, не только тем, что журналы запрещались ни за что, но еще больше тем, что они отданы были в монополию трем-четырем спекулянтам. Мнению русскому, живительному, необходимому для правильного здорового развития всего русского просвещения, не только

[43] *Герцен А. И.* Указ. соч. Т. 9. С. 159.
[44] Там же. Т. 2. С. 245.

негде было высказаться, но даже негде было образоваться» [45].

Нисколько не умаляя обобщающего значения этой характеристики, не «заземляя» ее на одном факте, нельзя не услышать в словах Киреевского крик боли, вызванный запрещением «Европейца». Это его журнал пытался пройти в публику «между схер и утесов» и «в виду крепости» и был «запрещен ни за что». Это ему не дали участвовать в здоровом развитии русского просвещения. Прошло четверть века, но старая рана кровоточила. Эту рану Киреевский унес в могилу.

---

[45] *Изд. 1979*. С. 379, 380.

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящем издании полностью воспроизводятся первые два номера «Европейца», вышедшие в свет, и часть третьего номера, которую успели отпечатать до запрещения журнала.

Орфография и пунктуация приближены к современным. Устраняются, в частности, прописные буквы у существительных и прилагательных в середине фраз (Граф, Немецкий, Поэт, Ода, Палата, Московский, Англичане и т. п.), если такие написания не несут особой смысловой нагрузки. Однако сохраняются написания, отражающие произносительные нормы начала XIX века (Вернет, Аларик, Лудвиг, Мугамет, генварь, противуположный и т. п.). Устранен курсив как средство обозначения названий литературных произведений, периодических изданий и т. п. Названия заключены в кавычки в соответствии с современными нормами. Смысловой курсив, естественно, сохраняется.

Все примечания, имевшиеся в «Европейце», публикуются подстрочно. Так же редакцией даются переводы иноязычных текстов. Редакционные конъектуры заключены в угловые скобки. Очевидные опечатки исправлены без особых указаний на это.

При подготовке примечаний учтен материал, собранный комментаторами произведений И. В. Киреевского Ю. В. Манном (см.: *изд. 1979*) и В. А. Котельниковым (см.: *Киреевский И. В.* Избранные статьи. М., 1984). Составитель имел счастливую возможность воспользоваться ценными советами и указаниями А. А. Гозенпуда, К. Дорнахера, А. К. Кенигсберг, Б. Н. Комиссарова, З. И. Плавскина, С. А. Рейсера, М. А. Турьян, А. С. Янушкевича, которым выражает глубокую признательность.

ЕВРОПЕЕЦ. № 1

I. ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВЕК

Авторизованная копия части текста статьи с пометами цензора «Европейца» С. Т. Аксакова и соответствующими поправками, внесенными И. В. Киреевским, — ЦГАЛИ. Программная статья журнала, послужившая одним из главных поводов к его запрещению, была по-разному принята современниками. «Статья твоя о 19-м веке, — писал Баратынский, — непонятна для публики только там, где дело идет о философии, и в самом деле, итоги твои вразумительны только тем, которые посвящены в таинства новейшей метафизики, зато выводы литературные, приложение этой философии к действительности отменно ясны и знакомым чувством с этой философией, еще не совершенно понятной для ума» (*Баратынский.* С. 514). В другом его письме говорится: «Обозрение 19-го века богато мыслями, но ежели бы мы были вместе, я в некоторых с тобою бы поспорил. Это — не критика. Предмет так обширен, что можно глядеть на него с множества разных точек, и замечание мое доказывает только, что ты разбудил во мне мысленную деятельность» (ТС. С. 34). Одоевский отметил, что статья Киреевского «отзывается заветными словами фанатического шеллингианства, которому мы все заплатили дань, и потому она не понравилась, или, лучше сказать, не была понята...» (цит. по: *ВГ*. С. 119). Погодин уже после закрытия «Европейца» писал Шевыреву: «В этой статье я не вижу ничего преступного, ничего непозволительного; но она мне не нравится с другой стороны, как собрание исторических парадоксов, и я собирался писать на нее рецензию; но теперь нельзя. Киреевский мерит Россию на какой-то Европейский аршин, я говорю в смысле историческом, а это — ошибка. *Европа себе, мы себе*, говорит у меня Долгоруков в трагедии, Россия есть особливый мир, у него другая земля, кровь, религия, основания, словом — другая история» (*Барсуков Н*. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1891. Т. 4. С. 6). Позднее Писарев в

статье «Русский Дон-Кихот» подверг «Девятнадцатый век» обстоятельному критическому разбору. Он писал, что «вся статья вертится на отвлеченных умозрениях», что «во всей статье переплетается московский сентиментализм с каким-то сердечным влечением к европейскому Западу» (*Писарев Д. И.* Сочинения. М.: Гослитиздат, 1955. Т. 1. С. 233, 236).

[1] *...великий похититель французского престола...* — Наполеон Бонапарт.

[2] *...восхищалась... Попом...* — Поп Александр (1688—1744), английский поэт.

[3] *Окен* (наст. фам. Оккенфус) Лоренц (1779—1851) — немецкий философ, естествоиспытатель.

[4] *Аст* Георг Антон Фридрих (1778—1841) — немецкий философ и филолог.

[5] *Вагнер* Иоганн Якоб (1775—1834) — немецкий философ.

[6] *Пигмалион* (греч. миф.) — царь Кипра, легендарный скульптор, влюбившийся в созданную им статую прекрасной женщины — Галатеи. Афродита оживила Галатею, которая стала женой Пигмалиона.

II. СКАЗКА О СПЯЩЕЙ ЦАРЕВНЕ

Написана 26/VIII — 12/IX 1831 г. Автограф в ГПБ. В дальнейших публикациях — «Спящая царевна». Источником сказки послужили литературные обработки немецких и французских сказок («Шиповник» братьев Гримм и «Красавица, спящая в лесу» Ш. Перро). Жуковский ощутимо русифицировал сюжет, восходящий к западноевропейскому фольклору.

Для удобства отсылок к публикуемым ниже вариантам стихи основного текста пронумерованы.

Разночтения автографа ГПБ:

9 Одного лишь счастья нет,
Не дает господь детей
В утешенье старых дней

13 Не крушися день и ночь

62–66 Расцветешь в семье своей.
Так царевну десять фей
Одарили в свой черед;
К ней последняя идет

76 Палец свой веретеном

79–84 Так сказала и тотчас
Провалилася из глаз,
Но последняя из фей
Так сказала вслед за ней

93 Скрылась гостья. Царь грустит

128 Всходит вверх она и там

170 И округа со дворцом

172 Вот кругом поднялся бор

176 К царству сонному пути

212–214 К бору темному один
Подъезжает царский сын.
Бор, он видит, страшен дик

220–221 Старичок тот рассказал
Все, что он от дедов знал

244–245 Удальца. Густой забор,
Ограждавший прежде бор

249–250 Перед царским сыном сам
Он раздался как живой

277 Сон чудесный овладел

295 Перешел через царя

318–324 И обвил его кругом
Пояс шитый жемчугом.
Рот с улыбкой отворен,

Тихо, сладко дышит он,
И уста как жар горят.
Целомудренно лежат,
Руки сжались на грудях.
И в сафьянных сапожках
Обернувшись бахромой
Прильнули одна к другой
Ножки чудо красоты
Легким платьем обвиты

332–335 Он приблизился лицом,
Жарких уст ее огнем,
Жарким пламенем ланит
Во мгновение облит

339 И за нею ото сна

342 Говор, крики, шум, возня

349 Свита все за ним толпой

358–359 Все по-старому; один
Только новый царский сын

363 Больше нечего сказать

365–367 Там вино на свадьбе пил
По усам вино текло
Жалко в рот не затекло

III. ИМПЕРАТОР ИУЛИАН

Вариант заглавия в оглавлении: «О императоре Иулиане» (соч. Вильменя). Вильмен Абель Франсуа (1790—1870) — французский критик и историк. Интересуясь его творчеством и находя его систему мыслей «новой и необыкновенной для Франции», Киреевский послал Баратынскому одну из его книг, скорее всего «Курс французской литературы», вышедшей в 1828 г. Баратынский, однако, отнесся к ней критически и писал Киреевскому, что «этот замаранный

том» его «порядочно помучил». «Я прочел уже две части: много хорошего и хорошо сказанного; но Villemain часто выдает за новость и за собственное соображение — давно известное у немцев и ими отысканное. Многое лишь для успеха минуты и рукоплесканий партии. Еще одно замечание: у Villemain часто заметна аффектация аттицизма, аффектация наилучшего тона. Его скромные оговорки, во-первых, однообразны, во-вторых, несколько изысканны. Чувствуешь, что он любуется своим светско-эстетическим смирением. Это не мешает творению его быть очень занимательным» (*Баратынский.* С. 506).

Оригинал — статья А. Вильмена «De L'Empereur Julien» — вошла в его книгу: *Villemain A. F.* Mélanges historiques et littéraires. P., 1827. T. 2. P. 441—450. Публикуемый перевод выполнен русским литератором, переводчиком Дмитрием Николаевичем Свербеевым (1799—1874).

[1] *Иулиан* — Юлиан Отступник, Флавий Клавдий (331—363), римский император с 361 г. Был сторонником языческой религии, восстанавливал языческие храмы, издал два эдикта, направленные против христианства. За эту деятельность получил прозвище «Отступник» (Apostata). Политика Юлиана не имела под собой прочной базы, и после смерти императора его антихристианские эдикты были отменены.

[2] *Констанций* (317—361) — римский император с 351 г., двоюродный брат Юлиана, преследовал язычество и утверждал христианство.

[3] *Марк Аврелий* (121—180) — римский император с 161 г., был последователем стоической школы, выражал стремление к моральному самоусовершенствованию и неверие в общественный прогресс.

[4] *Нума* Помпилий — второй царь Древнего Рима (по традиции 715—673/672 до н. э.), ему приписывается учреждение различных культов и создание жреческих коллегий.

[5] *Фридрих Великий* — Фридрих II (1712—1786), прусский король с 1740 г., сын короля Фридриха Вильгельма I, отличавшегося крайним самодурством и

преследованиями передовой общественной мысли. В молодости Фридрих II испытал влияние философии французского Просвещения, в частности Вольтера; вступив на престол, стал последовательным представителем прусского военно-бюрократического абсолютизма и милитаризма.

[6] *Либаний* (314—393) — древнегреческий софист и ритор, родился и долгое время жил в Антиохии, был ревностным сторонником Юлиана Отступника.

IV. НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЛОГЕ ВИЛЬМЕНЯ

Откликаясь на первый номер «Европейца», Баратынский писал Киреевскому: «О слоге Виллемена статья прекрасная. Нельзя более сказать в меньших словах с такою ясностию и с таким вкусом, с такою правдою. И Виллемен, и Бальзак оценены вполне и отменно справедливо» (ТС. С. 34—35).

[1] *Оболенский* Василий Иванович (1790—1847) — русский переводчик греческих классиков.

[2] *См. XIII № «Телескопа».* — В «Телескопе» (1831. Ч. 4, № 13. С. 3—18) опубликована статья «Христианское красноречие в IV веке. Из Вильменя».

[3] *Гизо* Франсуа Пьер Гийом (1787—1874) — французский историк, государственный деятель.

V. ЭЛЕГИЯ

Автограф в ЦГАЛИ. Датируется осенью 1831 г. по письму, которым стихотворение было сообщено Баратынским Киреевскому.

VI. ЧЕРНЕЦ

Оригинал — повесть «Der Mönch» немецкого писателя Файта Вебера (наст. имя и фам.: Вехтер Георг Филипп Людвиг Леонард, 1762—1837), включенная в собрание его произведений. «Sagen der Vorzeit» (7 Bde, 1787—1798). Перевод был осуществлен А. П. Елагиной. Он привел в восхищение В. Ф. Одоевского: «...кто переводил немецкую повесть? Я отроду не видел лучше манеры рассказывать? Я вспры-

гнул от радости: это именно та манера, которой я ищу в моих повестях и не могу добиться» (ВГ. С. 119). Характеризуя первый номер «Европейца» в письме к Н. М. Языкову, В. Д. Комовский заметил: «Как мило переделана повесть!» (ЛН. Т. 19/21. 1935. С. 62).

VII. ЕКАТЕРИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ СВЕРБЕЕВОЙ

Автограф в письме к А. М. Языкову от 18 ноября 1831 г. (ПД). Обращено к Екатерине Александровне Свербеевой (1808—1892), жене Д. Н. Свербеева (см. примеч. к статье «Император Иулиан»).

В автографе стих. 22:

Смиренно вам приносит он

В «Стихотворениях» Н. Языкова (СПб., 1833) стих 5:

Счастлив, кто силен ей предаться

VIII. АУ!

29 декабря 1831 г. Языков сообщал В. Д. Комовскому: «В 1 № „Европейца“ вы найдете мое стихотворение (под романтическим заглавием „Ау!“). Из него вытеснила цензура четыре стиха:

О! проклят будь, кто потревожит
Великолепье старины,
Кто на нее печать наложит
Мимоходящей новизны!

Они идут после стихов:

. . . . эти главы
Святым сиянием горят.

Читайте в сем порядке» (ЛН. Т. 19/21. 1935. С. 60).

11 января 1832 г. Комовский ответил: «Зачем вы, или, лучше, Издатель Европейца, позволяете Цензуре делать непристойные дела с вашими стихами? Вооружитесь § Устава, и Комитет обязан будет представить Управлению Цензуры, которое, правда, не всегда действует по законам разума, однако, верно, не исключило бы ничего из „Ау!“» (Там же. С. 63).

В «Стихотворениях» Н. Языкова (СПб., 1833) стихи, пропущенные в первой публикации, были напечатаны.

IX. ОТРЫВКИ ИЗ ПИСЬМА ГЕЙНЕ О ПАРИЖСКОЙ КАРТИННОЙ ВЫСТАВКЕ 1831 ГОДА

Оригинал — серия статей Г. Гейне под общим заглавием «Gemäldeausstellung in Paris von H. Heine» — публиковался в ежедневной немецкой газете «Morgenblatt für gebildete Stände», 1831, № 259 (29. X), № 261—265 (1—5.XI), № 272 (14.XI), № 274 (16.XI). Публикация в «Европейце» была одним из первых переводов Гейне на русский язык.

[1] *Вернет* — Верне Эмиль Жан Орас (1789—1863), французский художник автор картин на библейские исторические и жанровые темы.

[2] *...Юдифь; готовая убить Олоферна.* — По библейской легенде (кн. «Юдифь», гл. 13), жительница осажденного иудейского города Ветилуи Юдифь пришла к ассирийскому полководцу Олоферну и, обольстив его, убила. Гейне описывает картину Верне «Юдифь и Олоферн».

[3] *...картина Вернета, представляющая нынешнего папу...* — Имеется в виду картина Верне «Папа Лев XII на пути в собор Святого Петра в Риме». Лев XII занимал папский престол в 1823—1829 гг.

[4] *Веронезе* (наст. фам. Кальяри) Паоло (1528—1588) — венецианский живописец позднего Возрождения.

[5] *...арестование принцев Конде, Конти и Лонгевиля.* — Французский полководец принц Конде (1621—1686), его брат принц Конти (1629—1666) и зять герцог Лонгвиль (1595—1663) были арестованы в январе 1650 г. в разгар борьбы Фронды с кардиналом Д. Мазарини (1602—1661) и заключены в Венсенскую тюрьму. Последующие успехи Фронды привели к их освобождению в феврале 1651 г.

[6] *Королева Анна* — Анна Австрийская (1601—1666), французская королева, жена, затем вдова Людо-

вика XIII, поддерживала Мазарини в его борьбе с Фрондой.

[7] *...картина, представляющая Камилла Демулен...* — Демулен Камиль (1760—1794), деятель Великой французской революции. Имеется в виду картина «Камиль Демулен в саду Пале-Рояля». На ней изображен эпизод, произошедший 12 июля 1789 г., когда за два дня до взятия Бастилии Демулен, выступавший с речью в саду Пале-Рояля, сорвал зеленый лист и укрепил его на шляпе в качестве кокарды. Слушатели последовали его примеру.

[8] *Карно* Лазар Никола (1753—1823) — французский государственный и военный деятель, математик. В период якобинской диктатуры был членом Комитета общественного спасения, позднее выступил против Робеспьера.

[9] *Бурдон де Луаз* Франсуа Луи (1758—1798) — французский политический деятель в период Великой французской революции, был членом Конвента и Совета пятисот.

[10] *Декамп* — Декан Александр Габриель (1803—1860), французский художник, автор картин на исторические и бытовые темы, пейзажей, карикатур.

[11] *...одну маленькую картину...* — имеется в виду картина «Турецкий дом».

[12] *Патруль* — имеется в виду картина А. Декана «Турецкий патруль».

[13] *Хаджибей* — персонаж картины А. Декана «Турецкий патруль».

[14] *Иаль* — Яль Август (1795—1873), французский литератор.

[15] *Идея творения изящного рождается в душе ...* (и далее) — Эта мысль сформулирована Гейне, очевидно, под влиянием Августа Вильгельма Шлегеля (ср.: *Schlegel A. W.* Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst. Stuttgart, 1884. Bd. 3. S. 4, 120).

[16] *Менцель* Вольфганг (1798—1873) — немецкий писатель, критик, журналист, общественный деятель. Выдававший себя в молодости за оппозиционера, он позднее открыто перешел на сторону реакции и приобрел печальную известность клеветническими выступлениями против писателей «Молодой

Германии». Л. Берне и Г. Гейне заклеймили Менцеля как доносчика и ренегата. Убийственную характеристику этого деятеля дал Белинский в памфлете «Менцель критик Гете» (1840). В период издания «Европейца» реакционность позиций Менцеля еще не вполне определилась. Киреевский следил за выступлениями Менцеля и обсуждал их в своем журнале. Здесь цитируются слова Менцеля из его книги Die deutsche Literatur. Stuttgart, 1828. Teil 1. S. 29.

17 ...цветы Селама... — Селам — приветствие; в гаремах селам — особый вид приветствия: посылают цветок, напоминающий известное изречение или стих, который рифмуется с названием цветка.

18 *Соломонов перстень* — легендарный Соломонов перстень считался талисманом мудрости и воплощением волшебной силы.

19 *Кизляр-ага* — надзиратель за девушками в гареме, его начальник, главный евнух, в Константинополе — одна из важных государственных должностей.

20 *Геркуланум* — древний город на берегу Неаполитанского залива, был разрушен и засыпан вулканическими породами во время извержения Везувия в 79 г.

21 *Центавры* — кентавры, в древнегреческой мифологии лесные или горные демоны, полулюди, полукони, пристрастные к вину спутники бога Диониса.

22 *Гогарт* — Хогарт Уильям (1697—1764), английский художник и гравер.

23 *Окончание в следующей книжке* — см. с. 155.

X. КРИТИКА

а) ОБОЗРЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЗА 1831 ГОД

Статья И. В. Киреевского опубликована без подписи. В оглавлении вариант заглавия — «Обозрение русской словесности за 1831 год». Статья осталась незавершенной. Автор намеревался вернуться к трагедии Пушкина «Борис Годунов», разобрать «Баллады

и повести» Жуковского, а также «сказать несколько слов о других произведениях нашей словесности», но запрещение «Европейца» помешало ему реализовать эти замыслы.

«Обозрение русской литературы за 1831 год» было высоко оценено современниками. «Ваша статья о Годунове и Наложнице порадовала все сердца, — писал Киреевскому Пушкин, — насилу-то дождались мы истинной критики. NB избегайте ученых терминов и старайтесь их переводить, т. е. перефразировать: это будет и приятно неучам и полезно нашему младенчествующему языку» (*Пушкин*. Т. 15. С. 9). «Разбор „Годунова", — утверждал Баратынский, — отличается той же верностию, тою же простотою взгляда. Ты не можешь себе представить, с каким восхищением я читал просвещенные страницы твоего журнала, сам себе почти не веря, что читаю русскую прозу, так я привык почерпать подобные впечатления только в иностранных книгах» (ТС. С. 35). По словам Одоевского, «статьею о Борисе все восхищаются» (*ВГ*. С. 119). Комовский писал Языкову: «„Бориса" он ставит на самую выгодную для него точку перед зрителями; но тут остается еще два вопроса решить. Во-1-х, драматическое сочинение, излагающее не действие, а следствие оного, — не есть ли прямое противоречие понятию о драме? и, во-2-х, удовлетворительно ли в „Борисе" развиты и показаны следствия убиения Дмитрия?» (ЛН. Т. 19/21, 1935. С. 63).

[1] ...*единственным указателем нашего умственного развития остается литература.* — Киреевский выражает здесь мысль, близкую к той, которую позднее высказал и Герцен: «У народа, лишенного общественной свободы, литература — единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести» (*Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. 7. С. 198).

[2] ...*морлакскую песню.* — Морлаки, небольшая славянская народность, жившая в горах Далмации.

[3] ...*у нас до сих пор еще нет критики.* — Сходную мысль не раз высказывал Пушкин. Еще в 1825 г.,

отвечая на утверждение А. А. Бестужева «У нас есть критика, а нет литературы», он восклицал: «Где же ты это нашел? именно критики у нас и недостает... Нет, фразу твою скажем наоборот: литература кой-какая у нас есть, а критики нет» (*Пушкин.* Т. 13. С. 177, 178).

[4] *...помня Лагарпа...* — Лагарп Жан Франсуа (1739—1803), французский критик. Его многотомный труд «Лицей, или Курс древней и новой литературы» (1799—1805) воспринимался современниками как наиболее полное изложение постулатов классицизма.

[5] *Другой в честь Шлегелю...* (и далее) — В «Лекциях о драматическом искусстве и литературе» (1808) немецкий историк литературы Август Вильгельм Шлегель (1767—1845) рассматривал Шекспира как высочайший образец драматургии. Киреевский здесь, возможно, имеет в виду статью И. Среднего-Камашева «Еще о Борисе Годунове, стихотворении А. С. Пушкина», который, в частности, упрекал Пушкина в том, что, «взяв мысль богатую, он не раскрывает ее достойным образом, не вводит нас во глубину святилища Поэзии, подобно великому Шекспиру...» (Сын Отечества. 1831. Т. 23, ч. 145, № 40. С. 115).

[6] *В ней нет единства ...* — Отклик на статью В. Плаксина «Замечание на сочинение А. С. Пушкина: Борис Годунов», который, в частности, писал: «Из сей выписки содержания, в которой я старался ни прибавить, ни убавить как связи, так и несвязности, видно, что действие драмы не имеет ни единства, ни полноты; ибо сначала действующая сила содержится в Борисе, а с четвертой сцены все принимает другой вид: действие проистекает из Самозванца, так что Бориса уже нет, а Драма все еще идет» (Там же. Т. 20, ч. 142, № 25—26. С. 281).

[7] *...главное лицо, Борис, заслонено лицом второстепенным, Отрепьевым.* — Ср. замечание И. Среднего-Камашева, утверждавшего, что «мы самого Бориса почти не видим», так как «Самозванец *со-*

вершенно заслоняет Бориса» (Там же. Т. 23, ч. 145, № 40. С. 111, 112).

8 *...главное лицо не Борис, а Самозванец; жаль только, что он не довольно развит...* — Сходная мысль выражалась в статье Н. И. Надеждина: «...главное лицо — Годунов — пожертвовано совершенно другому, которое должно бы играть подчиненную роль в этом славном акте нашей истории. Я разумею *Самозванца...* Лицо Лже-Димитрия есть богатейшее сокровище для искусства. Оно так создано дивною силою, управляющею судьбами человеческими, что в нем история пересиливает поэзию. Стоит только призвать на него внимание — и тогда все образы, сколь бы ни были колоссальны и величественны, должны исчезать в фантастическом зареве, им разливаемом, подобно, как исполины гор исчезают для глаз в пурпуре неба, обагренного северным сиянием. А потому тем осторожнее надлежало поступать с ним поэту, избравшему для себя героем *Бориса*» (Телескоп. 1831. Ч. 1, № 4. С. 568).

9 *...не характер, не лицо должны быть главным ее предметом, но целое время, век.* — Сходная мысль была выражена в статье Н. И. Надеждина «Борис Годунов. Сочинение А. Пушкина. Беседа старых знакомцев»: «Не *Борис Годунов* в своей биографической неделимости составляет предмет ее, а царствование *Бориса Годунова* — эпоха, им наполняемая, — мир, им созданный и с ним разрушившийся, — одним словом — *историческое* бытие *Бориса Годунова*» (Там же. С. 559).

10 *...развито многое лишнее, например характер Марины...* — Упреки в излишнем внимании Пушкина к Марине высказывал И. Средний-Камашев (Сын Отечества. 1831. Т. 23, ч. 145, № 40. С. 105).

11 *...как Шекспир в «Макбете»...* — Мысль о том, что пророчества ведьм в «Макбете» отвечают психологическому состоянию героя трагедии, была высказана Гегелем (см.: *Гегель.* Сочинения. М., 1938. Т. 12. С. 235).

12 *...или Мюльнерову волшебницу-цыганку...* — В трагедии А. Мюльнера «Вина» (1821) один из ге-

роев рассказывает о роковом предсказании цыганки.

[13] *Pendant l'horreur d'une profonde nuit...* — Цитируется трагедия Расина «Гофолия» (д. 2. явл. 5).

[14] «Мессинская невеста» — трагедия Шиллера (1803).

[15] «Манфред» — поэма Байрона (1817).

[16] *...написал эсхиловского «Промефея»...* — Трагедия Эсхила «Прикованный Прометей».

[17] *Не должно сметь Свое суждение иметь.* — Реплика Молчалина из комедии Грибоедова «Горе от ума» (д. 3, явл. 3).

b) BRIFE AUS PARIS, 1830—31, VON LUDWING BÖRNE, 2 THEILE, HAMBURG.

Письма из Парижа, 1830—31, Лудвига Берне, 2 части, Гамбург, 1832.

«Письма из Парижа» — самое крупное и известное произведение выдающегося немецкого публициста Людвига Берне (1786—1837). Эта серия статей и корреспонденций, созданных под непосредственным впечатлением событий, которые происходили после Июльской революции 1830 г., прозвучала, по выражению Г. Гейне, как «колокол революционной бури». Первые две части, включавшие 47 писем, были восторженно встречены современниками, но вызвали острое раздражение властей. Распространение книги было запрещено, и последующие части удалось издать лишь под измененным заглавием.

[1] *Письма из Франции Раумера...* — Имеется в виду книга немецкого историка Фридриха фон Раумера (1781—1873) «Письма из Франции и Англии за 1830»: В 2-х т. Лейпциг, 1831.

[2] *Шлегель* — см. примеч. 5. к статье «Обозрение русской литературы за 1831 год».

[3] Приводятся отрывки из объявления Берне об издании его избранных сочинений, написанного в ноябре 1828 г. Полный текст см.: *Берне Л.* Сочинения. 2-е изд. СПб., 1896. Т. 1. С. 1—4.

[4] *Раупах* Эрнст Беньямин Соломон (1784—1852) — немецкий драматург.

[5] *Ганс* Эдуард (1797—1839) — немецкий юрист, представитель так называемого философского направления в юриспруденции.

[6] *Иммерман* Карл Лебрехт (1796—1840) — немецкий писатель.

[7] *Жан-Поль* — см. примеч. к материалу «Из Жана-Поля».

[8] *Гофман* Эрнст Теодор Амадей (1776—1822) — немецкий писатель-романтик, композитор, художник.

[9] *Теперь министерство переменилось...*(и далее) — Цитируется «Письмо двенадцатое». Речь идет о переменах в составе кабинета министров, возглавляемого Ж. Лаффитом (1767—1844), которые произошли 2 ноября 1830 г. А. Тьер (1797—1877) получил должность статс-секретаря министерства финансов. Упоминаемая Берне «История французской революции» — главный исторический труд А. Тьера, публиковавшийся в 1823—1827 гг.

[10] *Минье* Огюст (1796—1884) — французский историк.

[11] *Менцель* — см. примеч. 16 к статье «Отрывки из письма Гейне».

Вите Луи (1802—1872) — французский писатель. Произведения, упоминаемые Берне, были написаны в виде драматических сцен и изданы в 1844 г. под общим заглавием «Лига».

[13] *Гизо* Франсуа (1787—1874) — французский историк и политический деятель.

[14] *Берлиб* — Берлиоз Гектор (1803—1869), французский композитор, дирижер, музыкальный писатель. В 1830 г. получил Римскую премию за кантату «Сарданапал».

[15] *Сталь* Анна Луиза Жермена де (1766—1817) — французская писательница.

[16] *Шатобриан* Франсуа Рене де (1768—1848) — французский писатель и политический деятель.

[17] *Слава Богу... высокие умы вечно в друг друге нуждаются.* — Цитируются слова Менцеля из газеты «Literatur-Blatt». 1831. 2. XII. N 122. S. 486.

[18] *Струна G* — струна Соль, четвертая струна скрипки. Приводимая здесь мысль Менцеля была высказана в газете «Literatur-Blatt». 1831.2.XII. N 122. S. 486, О впечатлении, которое производила на

современников игра Паганини на одной струне Соль, см.: *Ямпольский И. М.* Никколо Паганини: Жизнь и творчество. М., 1968. С. 102, 205, 248 и др

[19] *Не могу вам выразить...он был чрезвычайно живописен.* — Цитируется «Письмо сорок первое».

[20] *Тальони* Мария (1804—1884) — выдающаяся танцовщица, выступавшая в Большой опере в Париже.

[21] *Флора меня особенно восхищала... либо прекрасная Тальони глупа и не понимает своих ног.* — Цитируется «Письмо сорок третье».

XI. СМЕСЬ

а) ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВОСТИ

[1] *Кабот* Себастьян (ок. 1475—1557) — мореплаватель, исследователь Американского материка. Имеется в виду книга: *Biddle.* Memoir of Seb. Cabot. L., 1832.

[2] *Америго Веспуций* — Веспуччи Америго (между 1451 и 1454—1512) — мореплаватель, по происхождению флорентиец. Его именем названа Америка.

[3] *Гомара* Франциск Лопес де (1510—ок. 1560) — испанский историк, описавший завоевание Вест-Индии и Мексики.

[4] *...он достиг, по словам де-Бри... 68-го С. Ш.* — Источник этого высказывания установить не удалось.

[5] *Вайтгал* — Уайтхол, дворец в Лондоне.

[6] *Писарро* Франсиско (между 1470 и 1475—1541) — испанский конкистадор, участвовал в завоевании Панамы и Перу, основал г. Лима (1535).

[7] *Купер* Фенимор (1789—1851) — американский писатель. Его роман «Браво», вышедший в 1831 г. входит в трилогию из истории европейского феодализма и описывает прошлое Венеции.

[8] *Ирвинг* Уошингтон (1783—1859) — американский писатель. С середины 1820-х годов переводы его произведений постоянно появлялись в русских журналах. Ирвинг был широко представлен в библиотеке Пушкина. Вышедшая в 1828 г. трехтомная «История жизни и путешествий Христофора Колумба» раскрыла новые стороны его дарования, присоединив к его репутации беллетриста репута-

цию ученого историка. Он был избран членом Королевской Академии Истории в Мадриде, получил почетную степень доктора права Оксфордского университета. Поэтому известие о новом выступлении Ирвинга на историческом поприще должно было вызвать большой интерес и напряженное ожидание. Однако историко-биографическое сочинение Ирвинга «Магомет и его преемники» вышло значительно позднее — в 1849—1850 гг.

9 *Уланд* Людвиг (1787—1862) — немецкий поэт-романтик. Имеется в виду издание: Gedichte von Ludwig Uhland. 5., vermehrte Aufl. Stuttgart u. Tübingen, 1831.

10 *Причина этому ... в обстоятельствах... способны сочувствовать им.* — Цитата из рецензии Менцеля на собрание стихотворений Уланда (Literatur-Blatt. 1831. 5.XII. N 123. S. 490).

11 *Пфицер Густав* (1807—1890) — немецкий поэт, эпигон романтизма.

12 *Мы находим в стихотворениях Пфицера ... как в следующей скромной песенке...* — Слова Менцеля. Эта цитата, как и нижеприводимый текст песенки Пфицера, взяты из рецензии: Gedichte von Gustav Pfizer. Stuttgart; Neff, 1831 (Literatur-Blatt. 1831. 5.XII. N 123. S. 490—492).

b) СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИЙ СЕНАТ

1 *Меркурий* — в древнеримской мифологии бог торговли, покровитель путешественников.

2 *Трумбулл* — Трамбалл Джон (1756—1843), американский живописец, участник Войны за независимость, в 1817—1836 гг. возглавлял Американскую академию изящных искусств. В 1817 г. получил поручение конгресса написать четыре картины для украшения ротонды Капитолия в Вашингтоне.

c) ИЗ ЖАН-ПОЛЯ

1 *Жан-Поль* (псевд., наст. имя Иоганн Пауль Фридрих Рихтер, 1763—1825) — немецкий писатель. Тексты, приводимые в «Европейце», взяты из его философского романа «Титан» (1800—1803).

d) «ГОРЕ ОТ УМА» — НА МОСКОВСКОМ ТЕАТРЕ

Черновой автограф статьи — РОБЛ. Статья привлекла к себе внимание властей и послужила одним из поводов для закрытия журнала. Еще до этого она, судя по дошедшим до нас откликам, вызвала полемику. Знакомый Погодина Любимов писал ему из Петербурга 30 января 1832 г.: «У вас теперь новый журнал Европеец. В нем может быть много хорошего, но как жалко, что он дышит чем-то Европейским, а не русским. Читали ли вы в нем разбор „Горя от ума“? Срам да и все тут. Не стыдятся явно проповедовать, чтобы мы благоговели перед иностранцами и забывали все русское» (*Барсуков Н.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1891. Т. 4. С. 7). Н. М. Языков 6 января сообщал А. М. Языкову из Москвы: «Статья Киреевского об „Горе от ума“ задорит и сердит многих москвичей — и немцев» (ЛН. Т. 58. 1952. С. 107). Впоследствии рецензия Киреевского заслужила высокую оценку Писарева. Он увидел в ней мысли, которые «выражают верный и беспощадный взгляд на пустую жизнь нашего общества, на отсутствие в нем общих интересов, на узкую ограниченность той сферы, в которой мы живем и стараемся действовать. Ясно, что Киреевский, выражая подобные мысли, не мирился с несовершенством нашей действительности и считал необходимым исправление этих недостатков» (*Писарев Д. И.* Сочинения. М., 1955. Т. 1. С. 328). «Все эти идеи здравы и верны», продолжает Писарев, и если «в положительной их части» он усматривает «отвлеченную голословность», то в «отрицательной части», т. е. в «перечислении недостатков», по его словам, «много справедливого и даже оригинального» (Там же. С. 329).

[1] *В конце года...поставлена...комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»...* — Премьера «Горя от ума» в Москве состоялась 27 ноября 1831 г. До этого (26 января 1831) комедия была впервые полностью поставлена в Петербурге.

[2] *Смотри-ка, Мишенька: что это там за рожа?* — Не-

точная цитата из басни Крылова «Зеркало и обезьяна».

[3] ...*молодо-странную откровенность Чацкого...* — Эту черту критиковал и Пушкин (см.: *Пушкин.* Т. 13. С. 138).

е) ПИСЬМО ИЗ ЛОНДОНА

[1] ...*г. Мартин с мимическим своим зверинцем...* — Имеются в виду представления мимодрамы, разновидности пантомимы, спектаклей, включающих мимические сцены, живые картины символического характера. Ставились мимодрамы на фантастические сюжеты с использованием дрессированных животных. В статье скорее всего говорится о мимодраме «Мизорские львы», поставленной в 1831 г. с участием укротителя Анри Мартэна.

[2] *Адельфи* — театр в Лондоне, в XIX в. в нем ставились главным образом мелодрамы, фарсы и водевили.

[3] *Вестрис* Лючия Елизабетта (1797—1856) — актриса, в 1830-х годах выступала в Лондоне и пользовалась большим успехом.

[4] *М. В.* — Сокращенное назвапие издания «Morgenblatt Stände».

ЕВРОПЕЕЦ. № 2

I. ВОЙНА МЫШЕЙ И ЛЯГУШЕК

Сказка написана 24.VIII — 22.IX.1831 г. Автограф в ГПБ. Основа сюжета заимствована из древнегреческой сатирической поэмы «Батрахомиомахия» (VI—V вв. до н. э.). Непосредственным источником произведения, по-видимому, послужили поэма немецкого поэта Георга Ролленхагена (1542—1609) «Froschmäusler» «Лягушатомышатник» и ее позднейшие переделки. Традиционный сюжет использован Жуковским для создания произведения, содержащего отклик на современные события: борьбу группы литераторов, близких к Пушкину, с Булгариным и его единомышленниками.

Посылая в декабре 1831 г. «Войну мышей и лягушек» А. П. Елагиной, Жуковский писал: «Мне пришлите копию с Кота-Мурлыки, которого прошу из Фадея перекрестить в Федота, ибо могут подумать, что я имел в нем намерение изобразить Фадея Булгарина» (Уткинский сборник. С. 54). Это намерение у Жуковского, несомненно, было, но он не хотел делать его слишком явным, чтобы не разжигать конфликт, и без того достигший большой остроты. Тогда же или несколько позднее А. П. Елагина писала Жуковскому: «Крысю Онуфрию от Прасковьи-Пискуньи поклон — при нем, т. е. при поклоне, кошелек, работы лап ее, а в кошельке ниточки на счастье» (ПД. № 27895/ССб 50). Комментируя этот документ, Ц. С. Вольпе, в частности, говорит: «...Если кот Мурлыка — это Фаддей Булгарин, если крыса Онуфрий — это Жуковский (что несомненно, ибо Онуфрий также и педагог и через него Жуковский высказывает собственную дидактическую философию), то возникает соблазн рассмотреть всю историю с похоронами кота как намек на происшествие с Булгариным и, продолжая подстановки, усмотреть в мышонке Беличьей шубке (видимо, ошибка: у Жуковского — «Белая шубка». — *Л. Ф.*) И. Киреевского, а в друге крысы Онуфрия — знаменитом поэте подполья „Бешеном хвосте" — друга Жуковского — знаменитого поэта А. С. Пушкина» (*Жуковский В. А.* Стихотворения. Л. 1940. Т. 2. С. 478). И. М. Семенко высказала предположение, что И. В. Киреевский изображен в Петре Долгохвосте (см.: *Жуковский В. А.* Собр. соч. М.; Л., 1960. Т. 3. С. 540).

Сохранился следующий план «Войны мышей и лягушек»:

I. Встреча. Рассказ Петра Долгохвоста. Лев. Кот. Погребение. Беды.

II. Рассказ Квакуна. Народное правление. Аристократия. Монархия.

III. Война.

Текст, опубликованный в «Европейце», реализует первый из пунктов этого плана. О причинах, побудивших Жуковского отказаться от завершения повести, существуют разные предположения. Возможно,

Жуковский не захотел касаться непосредственно социально-политических проблем — сравнения типов государственного правления. Может быть, как предполагала А. П. Елагина, «ему отсоветовали кончать ее, так как в поэме должны были явиться намеки из событий из „Отечественной войны", и он писатель-патриот, слава которого взошла благодаря его патриотическим песням, легко может повредить себе в суждении лиц, всякую шутку считающих за грех» (*Жуковский В. А.* Стихотворения. С. 478—479).

Кюхельбекер, прочитавший «Войну мышей и лягушек» в 1840 г., писал: «Переделка „Батрахомиомахии" в своем роде прелесть, особенно спасибо поэту, что он так удачно воспользовался русскою сказкою в лицах „Как мыши кота погребают"» (*Кюхельбекер В. К.* Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 390).

В автографе ГПБ вместо ст. 75:

Вспомнивши, кто он, радость свою победил.
Он подумал:
Страха не ведает царь, а образ смелого мужа
Страшен, как образ могучего льва! — С таким
убежденьем,
Скромно потупив глаза и лапки на грудь
положивши,

II. ПЕРСТЕНЬ

Повесть написана в ноябре-декабре 1831 г. 29 ноября Баратынский писал Киреевскому: «Теперь сижу над повестью, которую ты помнишь: „Перстень"» (*Баратынский.* С. 508). В декабре, посылая ему «антикритику», напечатанную во втором номере «Европейца», сказку («Перстень») и драму, которая до нас не дошла, просил: «Драму напечатай без имени и не читай ее никому как мое сочинение. Под сказкой поставь имя сочинителя» (Там же. С. 509).

[1] *Филипп* II (1527—1598) — испанский король с 1556 г., поощрял зверства инквизиции, массовые сожжения еретиков.

III. ВОСПОМИНАНИЯ ОБ А. А. ВОЕЙКОВОЙ

Автограф неизвестен. Воейкова Александра Андреевна (1797—1829) — сестра М. А. Протасовой-Мойер, жена А. Ф. Воейкова, изображенная В. А. Жуковским в балладе «Светлана». Хозяйка известного в 1820-х годах литературного салона, где бывали многие известные писатели того времени. Красота и ум А. А. Воейковой восхищали современников. Баратынский, Козлов, А. И. Тургенев оставили о ней восторженные отзывы и воспевали ее в стихах.

IV. КАРЛ МАРИЯ ВЕБЕР

Оригинал — «Nouvelle Revue Germanique». 1830. Т. 5. № 18. С. 161—176. Фамилия переводчика не установлена.

Через сто с лишним лет этот автобиографический набросок был напечатан вновь в переводе и с предисловием А. Штейнберг (см.: Советская музыка. 1936. № 12. С. 57—62), в котором указано, что он был написан Вебером в 1818 г. для философа Амадея Вендта. Публикация в «Европейце» в предисловии не упоминается.

[1] *Вебер Карл Мария* фон (1786—1826) — немецкий композитор, дирижер, пианист, писатель.

[2] *...отец мой...* — Франц Антон Вебер (1734—1812).

[3] *Гаутель* — Гойшкель Иоганн Петер (1773—1853), немецкий музыкант, первый учитель Вебера.

[4] *Гайден* — Гайдн Иоганн Михаэль (1737—1806), австрийский композитор и органист, брат Й. Гайдна, среди его учеников был Вебер.

[5] *Валлези* — Валези (Валлисхаузер) Иоганн Эвангелист (1735—1811) — немецкий певец, преподаватель вокального искусства.

[6] *Калхер* Иоганн Непомук (1764—1827) — учитель Вебера, позднее придворный органист.

[7] *...преданы были огню.* — Рукописи сгорели во время пожара. Об этом говорится в неоконченном полуавтобиографическом романе Вебера «Жизнь музыканта» (см.: Советская музыка. 1935. № 7, 8. С. 11).

[8] *Зенефельдер Алоизий* (1771—1834) — немецкий печатник, изобретатель литографии.

[9] *Стейнсберг* — Штейнсберг Карл Франц Гуольфингер, Риттер фон (1757—1833), немецкий писатель и театральный деятель, руководитель новой фрайбергской труппы, автор либретто оперы Вебера «Немая лесная девушка» (1800).

[10] *...в музыкальной газете...* — Имеется в виду «Allgemeine musikalische Zeitung».

[11] *...с одним доктором медицины...* — Имеется в виду друг Вебера доктор Иосиф Мундинг.

[12] *Фоглер* Георг Иосиф (1749—1814) — немецкий композитор и музыкальный педагог, учениками которого были Вебер и Мейербер.

[13] *Раде* Жан Батист (1752—1830) — французский драматург.

[14] *...жил ...в доме герцога Людвига Виртембергского...* — Вебер исполнял обязанности секретаря Людвига Вюртембергского и учил музыке его дочерей.

[15] *Данци* Франц (1763—1826) — композитор, виолончелист, дирижер, близкий друг Вебера, оказавший на него большое влияние. Существует предположение, что именно Данци был изображен Вебером в третьей главе неоконченного романа «Жизнь музыканта» (см.: Советская музыка. 1935. № 7, 8. С. 9—12; № 10. С. 92).

[16] *Мейерберг,* Мейербер Джакомо (наст. имя и фам. Якоб Либман Бер, 1791—1864) — композитор, жил в Германии, Италии, Франции и писал для театров этих стран.

[17] *Генсбахер* Иоганн Баптист (1778—1844) — композитор, возглавлявший венскую капеллу.

[18] *Кинд* Иоганн Фридрих (1768—1843) — немецкий поэт и драматург.

[19] *Г-жа Хеци* — Шези Вильгельмина (Хельмина) Христиана фон (1783—1856), немецкая писательница, автор либретто оперы «Эврианта» (1824).

[20] *Орфей* (греч. миф.) — фракийский певец, звуки его музыки сдвигали камни и укрощали диких зверей.

[21] *Феодор Гелль* — Гелль Теодор (наст. имя и фам.

Винклер Карл Готтфрид Теодор, род. в 1775 г.), немецкий писатель, был другом Вебера и издал его сочинения с биографией.

V. КОНЬ

Автограф неизвестен.

VI. ЭЛЕГИЯ

Автограф неизвестен.

VII. Н. М. ЯЗЫКОВУ

На письме, с которым это послание доставлено адресату, имеется помета Языкова: «Получено 1831, ноябрь 23-го». Баратынский находил, что это послание «довольно слабо» (ТС. С. 31), вследствие чего оно не было включено в собрание его сочинений, вышедшее в 1835 г. В начале 30-х годов Баратынский высоко оценивал поэзию Языкова и писал о нем Киреевскому: «Как цветущая его муза превосходит все наши бледные и хилые! У наших — истерика, а у ней — настоящее вдохновение!» (ТС. С. 34).

[1] *Я познакомился с тобой В те осмотрительные лета...* — Знакомство Баратынского с Языковым произошло 12.VI. 1824 г. Однако здесь речь идет, скорее, о периоде их дружеского сближения, наступившем после переезда Языкова в Москву в 1829 г.

VIII. ОТРЫВКИ ИЗ ПИСЬМА ГЕЙНЕ О ПАРИЖСКОЙ КАРТИННОЙ ВЫСТАВКЕ 1831 ГОДА

(Окончание)

Начало см. на с. 69 наст. изд.

[1] *Лесор* — Лессор Эмиль Обер (1805—1876), французский живописец, гравер и литограф.

[2] *Мирльо* — Мурильо Бартоломе Эстебан (1618—1682), испанский живописец.

[3] ...*Шекспир называет the mode of nature.* — Источник цитаты — «Гамлет», д. III, сц. 2.
[4] *Шнец* — Шнетц Жан Виктор (1787—1870), французский художник.
[5] *Роберт* — Робер Луи Леопольд (1794—1835), французский художник.
[6] *Миерис* — Мирис Старший Франц ван (1653—1681), голландский живописец.
[7] *Нетшер* Каспар (1639—1684) — живописец голландской школы.
[8] *Ван-Стен* — Стеен Ян (1626—1679), голландский живописец.
[9] *Ван-Дау* — Ван Дейк Антонис (1599—1641), голландский живописец.
[10] *Вандер-Верфт* — Верф Андриен ван дер (1659—1722), голландский художник.
[11] ...*мы смотрим на шестнадцатый век...* — Художники, упоминаемые Гейне, работали в XVII в.
[12] ...*несколько лет прожил в Риме...* Робер жил в Италии с 1818 по 1835 г., большую часть этого времени в Риме.
[13] *Другая картина Роберта...* — Имеется в виду картина «Похороны в римском селе».
[14] *«Земля есть небо, и люди на ней святы и божественны»...* — Гейне напоминает мысль, принадлежащую Сен-Симону. Ср.: Oeuvres de Saint-Simon et d'Enfantin. Paris, 1865. Bd. 3. S. 187.
[15] Гейне с небольшим искажением цитирует первые два стиха песенки итальянского поэта Габриэлло Кьябрѐра (1552—1638).
[16] ...*вырезывается из меди...* — Этим занимался в 1832 г. гравер Паоли Меркури.
[17] *Перуджино* Пьетро (1446—1524) — итальянский живописец. В 1499—1504 гг. Рафаэль был его учеником.
[18] *Выражение Хартии...* — имеется в виду положение, сформулированное первоначально Людовиком XVIII в «Национальной хартии» 4 июля 1814 г. и подтвержденное в 1830 г.
[19] ...*безумная толпа отвечала несколько грубо...* Имеются в виду беспорядки, имевшие место в Париже 14 февраля 1831 г. Толпа, разжигаемая фа-

натиками-легитимистами, громила церкви, бросала в Сену иконы и книги. Национальная гвардия с трудом предотвратила уничтожение собора Парижской богоматери.

[20] *Деларош* Поль (наст. имя Ипполит, 1797—1856) — французский живописец.

[21] *Казнь герцога Энгиенского...* — Герцог Энгиенский, Луи Антуан де Бурбон-Конде (1772—1804), французский принц, был арестован по обвинению в участии в заговоре против Наполеона Бонапарта и 21 марта 1804 г. расстрелян.

[22] *Корвизар* Жан Никола (1755—1821) — французский терапевт, лейб-медик Наполеона I.

[23] ...книжка под заглавием «*Умерщвление не убийство*»... — В 1657 г. появилась книга «Killing No Murder; briefly discurst in three questions», написанная Эдвардом Сексби и опубликованная под псевдонимом Вильям Аллен. В ней оправдывалось убийство тирана. О впечатлении, произведенном ею на Кромвеля, упоминал и Шатобриан.

[24] *История двояким образом рассказывает это происшествие.* — Очевидно, источником сведений Гейне об этом эпизоде послужила книга Гизо «История английской революции» (1826—1827).

[25] *Трипенгуйс* — Триппех-хойс, картинная галерея в Амстердаме; Гейне посетил ее в августе 1827 г.

[26] *Прежнее мое пророчество...* — Гейне напоминает о мыслях, которые высказывал несколько раз: в рецензии «Немецкая литература Вольфганга Менцеля», в «Романтической школе», во «Французских делах» и др.

[27] *М. В.* — см. примеч. 4 на с. 499 наст. изд.

IX. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСПАНИИ

Оригинал — «Souvenirs du Midi, on l'Espagne telle qu'elle est sons ses Pouvoirs Religieux et Monarchique». Par Rd. Faure. Médécin des Hôpitaux Militaires. Paris, 1831. — The Foreign Quarterly Review. 1831. Vol. VIII. P. 150—182.

Перевод П. В. Киреевского. Статья была перепечатана в «Revue des Deux Mondes» (1831. T. IV.

P. 133—170), в том же томе, где появились статьи Э. Дешана о Бальзаке и А. Сент-Илера о Бразилии, также переведенные для «Европейца» (см. наст. изд., с. 217, 279). Сличение текстов дает основание для выводов, что источником, которым пользовался И. В. Киреевский, был не английский оригинал, а французский перевод. В частности, сноска на с. 176 имеется в «Revue des Deux Mondes», а в «The Foreign Quarterly Review» отсутствует.

[1] *Антильон* — Антильон-и-Марцо Исидоро де (1778—1814), испанский ученый и политический деятель.

[2] *Мариана* Падре Хуан де (1536—1623) — испанский историк.

[3] *...автор «Года в Испании»...* — Лаборд Александр Луи Жозеф (1774—1842), французский археолог, политический деятель и путешественник.

[4] *Faure* — Фор Реймонд, французский ученый.

[5] *Bory de Saint-Vincent* — Бори де Сен-Винсен Жан Баптист Жорж Мари (1780—1846), французский натуралист и географ.

[6] *Пейрон* Жан Франсуа (1748—1784) — французский ученый, автор ряда книг об Испании.

[7] *Санградо* — сведений об этом деятеле найти не удалось.

[8] *Минано* — Миньяно-и-Бедойя Себастьян (1779—1845), испанский писатель и ученый.

[9] *Ховельянос* Гаспар Мельхиор (1744—1811) — испанский государственный и общественный деятель, министр юстиции.

[10] *Морено* Антонио (1796—1852) — испанский ученый.

[11] *Кавано́льес* Антонио Жозе (1745—1804) — испанский ученый.

[12] *Рунс* Иполито (1754—1816) — испанский натуралист.

[13] *Павон* Жозе — испанский ботаник.

[14] *Лагаска* — Лагаска-и-Сегура Мариано (1776—1839), испанский ботаник.

[15] *...сочинений... Арехула о желтой лихорадке...* — Имеется в виду книга: Arejula, Juan Manuel de. Breve descripcion de la fiebre amarilla padecida en Cadiz y pueblos comarcanos en 1800, en Medinasidonia en 1801, en Malaga en 1803, en este misma

plaza y varias otras del reyno en 1804. Madrid, Imprenta Real, 1806.

[16] *Лиссуриага* — Руис де Луцуриага Игнасио Мария (1763—1822), испанский медик, автор книг «Disertacion medica sobre el colico de Madrid». Madrid, 1796; «Tratado sobre el colico de Madrid». Madrid, 1797.

[17] *Система Броуна...* — Броун Джон (1735—1788), английский врач, основатель патолого-терапевтической системы, вызвавшей в свое время горячую полемику и отвергнутой из-за научной необоснованности.

[18] *Альварес Дон Хозе* (1768—1827) — испанский скульптор.

[19] *Судебный Устав* — Свод законов, о котором идет речь, был издан в 506 г. королем Аларихом II (485—507).

[20] *Готф Еврик* — имеется в виду вестготский король Эйрих (466—484), при котором Испания была завоевана и включена в состав обширного Вестготского государства.

[21] *Фердинанд Католический* и *Изабелла Кастильская* — Фердинанд V и Изабелла I, короли Испании в 1479—1516 гг.

X. ИНОСТРАНКА

Автограф — в ЦГАЛИ. Обращено к фрейлине Александре Осиповне Смирновой-Россет (1809—1882), ум и привлекательность которой снискали ей популярность в кругу петербургских литераторов. «Из женщин особенно нас очаровала и красотою, и умом девица Россет», — свидетельствовал А. И. Кошелев (цит. по: *Хомяков А. С.* Полн. собр. соч. М., 1900. Т. 8. С. 125). Белинский резко отрицательно отозвался об этом стихотворении. «Мы понимаем, — писал он, — что человек может любить женщину и в то же время не хотеть любить ее; но в таком случае мы хотим видеть в нем живое страдание от этой борьбы рассудка с чувством, головы с сердцем: только тогда его положение может быть предметом поэтического воспроизведенья, а иначе оно — прихоть головы,

ложь, годная только для сатиры, для эпиграммы; посмотрите же, как рассудителен, как благоразумен, как спокоен наш поэт... Где же тут истина чувства, истина поэзии? Тут нет ничего похожего на чувство и поэзию» (*Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 8. С. 467).

XI. ЕЙ ЖЕ

Автограф — в ЦГАЛИ. Обращено, как и предыдущее, к А. О. Смирновой-Россет.

[1] *О дева-роза...* — Реминисценция из стих. А. С. Пушкина, «О дева-роза, я в оковах...» (1824).

XII. КРИТИКА

а) ОБОЗРЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЗА 1831 ГОД

(Продолжение)

О второй части статьи И. В. Киреевского Баратынский писал ему: «Разбор „Наложницы" для меня — истинная услуга. Жаль, что у нас мало пишут, особенно хорошего, а то бы ты себе сделал имя своими эстетическими критиками. Ты меня понял совершенно, вошел в душу поэта, схватил поэзию, которая мне мечтается, когда я пишу. Твоя фраза: *переносит нас в атмосферу музыкальную и мечтательно просторную* заставила меня встрепенуться от радости, ибо это-то самое достоинство я подозревал в себе в минуты авторского самолюбия, но выражал его хуже. Не могу не верить твоей искренности: нет поэзии без убеждения, а твоя фраза принадлежит поэту. Нимало не сержусь за то, что ты порицаешь род, мною избранный» (*Баратынский.* С. 515). Слова, так понравившиеся Баратынскому, дали Надеждину повод для насмешки (см.: Молва. 1832. Ч. 3, № 11. С. 44).

[1] *...большая часть критиков не удостоила даже подписать своего имени.* — Анонимные рецензии на поэму Баратынского «Наложница» появились в журналах: «Московский телеграф». 1831. Ч. 38,

№ 6. С. 235—243; «Сын Отечества и Северный архив». 1831. № 31. С. 55—58, 59—63.

[2] *...самое отчетливое опровержение ...в разборе «Наложницы» в X нумере «Телескопа».* — Имеется в виду рецензия Н. И. Надеждина (См.: «Телескоп». 1831. Ч. 3, № 10. С. 228—239).

[3] В «Бальном вечере»... — Речь идет о поэме Баратынского «Бал».

[4] *Музу Баратынского... не замечает толпа.* — Этот абзац представляет собой парафраз стихотворения «Не ослеплен я музою моею», в котором Баратынский дал характеристику своей поэзии. Белинский позднее писал, что «нельзя вернее и беспристрастнее охарактеризовать безотносительное достоинство поэзии г. Баратынского, как он сделал это сам» в упомянутом стихотворении (*Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 487).

[5] Цитируется второе письмо Вольтера к А. М. Фолькенеру, опубликованное во втором издании его трагедии «Заира» (1732). См.: Théatre Complet de M. de Voltaire. Geneve, 1768. T. 1. P. 381.

[6] *...все истинное, вполне представленное, не может быть ненравственное...* — Киреевский излагает мысль Баратынского, что правдивое изображение действительности «будет непременно нравственно», выраженную поэтом в предисловии к отдельному изданию поэмы «Наложница» (М., 1831).

[7] В цитате пропущена вторая строка: «Своими детскими устами». Курсив Киреевского.

[8] *...в этом роде поэм, как и в картинах Миериса...* (и далее) — Это место статьи вызвало обмен мнениями в переписке И. В. Киреевского с Пушкиным. 4 января 1832 г. Пушкин писал: «Ваше сравнение Баратынского с Миерисом удивительно ярко и точно. Его элегии и поэмы точно ряд прелестных миниатюров; но эта прелесть отделки, отчетливость в мелочах, тонкость и верность оттенков, все это может ли быть порукой за будущие успехи его в комедии, требующей, как и сценическая живость, кисти резкой и широкой» (*Пушкин.* Т. 15. С. 10). Киреевский ответил на это: «Говоря, что Баратынский должен создать нам нового рода комедию, я

основывался не только на проницательности его взгляда, на его тонкой оценке людей и их отношений, жизни и ее случайностей, но больше всего на той глубокой, возвышенно-нравственной, чуть не сказал гениальной деликатности ума и сердца, которая всем движениям его души и пера дает особый поэтический характер и которая всего более на месте при изображениях общества» (Там же. С. 19, 20).

b) О БАЛЬЗАКЕ

Оригинал — Deschamps E. M. de Balzac // Revue des Deux Mondes. 1831. T. 4. P. 313—322. Фамилия переводчика неизвестна.

1 *Дешан Эмиль* (1791—1871) — французский поэт и критик.

2 *...великая, плодотворная критика красот...* — Цитата из статьи Ф. Р. де Шатобриана «О Литературной летописи, или Литературе до и после Реставрации» (1819).

3 *...к приглаженной учтивости и к общей торной дороге...* — Цитата из статьи А. де Виньи «Письмо лорду *** по поводу премьеры, состоявшейся 24 октября 1829 года, и о драматической системе» (1830).

4 *Жанень* — Жанен Жюль Габриэль (1804—1874), французский писатель, критик и журналист.

5 *Брюкер* Рэймон (1800—1875) — французский писатель.

6 *Сю* Эжен (1804—1857) — французский писатель.

7 *Поль-Лакруа* — Лакруа Поль (1806—1884), французский писатель.

8 *...иной какой иероглиф...* — Бальзак предпослал «Шагреневой коже» необычный графический эпиграф — горизонтальную волнистую линию. Этот эпиграф взят из романа английского писателя Л. Стерна «Тристрам Шенди». Подобная волнистая линия, которую чертит один из персонажей стерновского романа капрал Трим, символизирует изгибы человеческой судьбы.

9 *Рабеле* — Рабле Франсуа (1494—1553), французский писатель-гуманист.

[10] *«Я помню, — говорит Рафаэль...* (и далее) — Цитируется «Шагреневая кожа» Бальзака (гл. 2: «Женщина без сердца»).

[11] *...о прекрасной картине г. Делакруа...* — Имеется в виду картина французского живописца и графика Фердинанда Виктора Эжена Делакруа (1798—1863) «Свобода, ведущая народ» («Свобода на баррикадах»), написанная в 1830 г. под непосредственным впечатлением событий Июльской революции.

XIII. СМЕСЬ

а) ПИСЬМО ИЗ ПАРИЖА

Автор — А. И. Тургенев, познакомившийся с Киреевским в Москве и отметивший в дневниковой записи от 19 октября 1831 г., что они «окрестили в шампанском „Европейца“». «А. И. Тургенев передал И. В. Киреевскому несколько старых записей, который тот для возбуждения читательского интереса обозначил 1 и 2 января 1832 г., что не соответствовало действительности, так как А. И. Тургенев жил в это время не в Париже, а в Москве. Но «„Письмо из Парижа“ было напечатано анонимно, что дало возможность И. В. Киреевскому прибегнуть к подобной редакторской вольности» (*Гиллельсон М. И.* А. И. Тургенев и его литературное наследство // Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники (1825—1826 гг.). М.; Л., 1964. С. 468, 469). Сотрудничеством А. И. Тургенева в «Европейце» Киреевский был, очевидно, обязан Жуковскому, который содействовал их сближению и которому он 3 октября 1831 г. писал: «Я не кончу этого письма, не поблагодарив Вас за Тургенева. Он показывает мне такое участие, которое *я сам* заслужить еще не мог и, следовательно, за которое я должен благодарить Вас» (ГБЛ. Ф. 104. Жуковского. П.VIII. № 4. Л. 7, 7 об.).

[1] *Cuvier* — Кювье Георг Леопольд Кристиан Фредерик Дагобер (1769—1832), французский ученый.

[2] *Duvancelle* — Дювансель, неустановленное лицо.

[3] *Корменен* Луи Мари де (1788—1868) — французский политический деятель, публицист.

б) ПИСЬМО ИЗ БЕРЛИНА

Оригинал — «Morgenblatt fur gebildete Stände». 1832. N 9, 10 11, 12 Januar). Фамилия переводчика неизвестна.

[1] *Ганс* Эдуард (1798—1839) — немецкий юрист и философ.

[2] *Раумер* Фридрих фон (1781—1873) — немецкий историк и политик, профессор Берлинского университета.

[3] *Лахман* Карл Конрад Фридрих Вильгельм (1793—1851) — немецкий филолог, внес значительный вклад в издание и изучение текстов средневековой литературы.

[4] *Графф* Эбергард Готтлиб (1780—1841) — немецкий языковед. Его главный труд, упоминаемый в статье, — шеститомный словарь «Althochdeutche Sprachschatz», выходил в Берлине в 1835—1843 гг.

[5] *Нейман* Карл Фридрих (1793—1870) — немецкий востоковед и историк. Из поездки в Кантон привез 6000 китайских книг, из которых 3500 поступили в Мюнхенскую библиотеку, а остальные в Королевскую библиотеку в Берлине.

[6] *... война с Абель-Ремюза̀ и с Клапротом!* — Ремюза Жан Пьер Абель (1788—1832), французский востоковед; Клапрот Генрих Юлий фон (1783—1835), немецкий востоковед и путешественник. В издаваемом парижским Азиатским обществом «Journal Asiatique» они публиковали материалы, направленные против Неймана. Клапрот критиковал Неймана также в своей рецензии «О некоторых новейших достижениях в китайской литературе» (Nouveau Journal Asiatique. 1831. VII. S. 337—339).

[7] *Бопп* Франц (1791—1867) — немецкий языковед, профессор Берлинского университета, основатель сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков и сравнительного языкознания. Бопп, издавший отрывки из «Махабхараты», впервые обратил внимание на разновременное происхождение различных частей этого произведения.

[8] *Нибур* Бартольд Георг (1776—1831) — немецкий историк античности.

[9] *Арндт* Эрнст Мориц (1769—1860) — немецкий поэт, профессор истории.

[10] *Герберт* — Гербарт Иоганн Фридрих (1776—1841), немецкий философ, психолог, педагог.

[11] *Эйхгорн* Карл Фридрих (1781—1854) — немецкий юрист и историк права.

[12] *Шмальц* Теодор Антон Генрих (1760—1831) — немецкий юрист и публицист.

[13] *Шлейермахер* Фридрих Даниель Эрнст (1768—1831) — немецкий философ, богослов и общественный деятель.

[14] *...книгу... «Царство божие на земле» и посвятил ее...Махмуду II-му...* — Имеется в виду книга: *Seifart J.* Das Reich Gottes auf Erden. Leipzig: Böhme Verlag, 1830. Махмуд II (1784—1839) — турецкий султан в 1808—1839 гг.

[15] *Савиньи* Фридрих Карл фон (1779—1861) — немецкий юрист.

[16] *Кузень* — Кузен Виктор (1792—1867), французский философ-идеалист, эклектик, политический деятель, переводил на французский язык сочинения Платона.

с) РУССКИЕ АЛЬМАНАХИ НА 1832 ГОД

[1] *Смотрел на мир, — и миру был чужой...* — Второй стих «Песни» Языкова процитирован неточно. Нужно: «Глядел на мир и миру был чужой».

[2] Цитируется стихотворение «А. А. Дельвигу».

[3] *Повесть Батюшкова...* — Имеется в виду произведение Батюшкова «Предслава и Добрыня. Старинная повесть» (1810).

[4] *Стихи Дмитриева...* — Имеется в виду стихотворение И. И. Дмитриева «Василию Андреевичу Жуковскому, по случаю получения от него двух стихотворений на взятие Варшавы».

[5] *Этот «Ответ»...* — Полное название стихотворения Жуковского — «Ответ Ивану Ивановичу Дмитриеву».

d) АНТИКРИТИКА

Автор — Е. А. Баратынский. Статья написана в ноябре 1831 г. в ответ на статью Н. И. Надеждина (см.: Телескоп. 1831. Ч. 3, № 10. С. 228—239). Ознакомившись с ней, Баратынский писал Киреевскому: «Я прочел критику Надеждина. Не знаю, буду ли отвечать на нее и что отвечать? Он во всем со мной согласен, только укоряет меня в том, что я будто полагаю, что изящество не нужно изящной литературе; между тем как я очень ясно сказал, что не говорю о прекрасном, потому что буду понят немногими. Критика эта меня порадовала; она мне показала, что я вполне достигнул своей цели: опроверг убедительно для всех общий предрассудок, и что всякий, несколько мыслящий читатель, видя, что нельзя искать нравственности литературных произведений ни в выборе предмета, ни в поучениях, ни в том, ни в этом, заключит вместе со мною, что должно искать ее только в истине или прекрасном, которое не что иное, как высочайшая истина. Хорош бы я был, ежели б я говорил языком Надеждина. Из тысячи его подписчиков вряд ли найдется один, который что-нибудь бы понял из этой страницы, в которой он хочет объяснить прекрасное. А что всего забавнее, это то, что перевод ее находится именно в предисловии, которое он критикует. Ежели буду отвечать, то потому только, что мне совестно перед тобою, заставив тебя отыскивать и посылать журнал» (*Баратынский*. С. 507). Киреевский в недошедшем до нас письме высказал какие-то замечания по поводу «Антикритики», на что Баратынский ответил: «Спасибо тебе за дельную критику. В конце моего ответа Надеждину я очень некстати разговорился... „Недостаток логики“ замени „недостатком обдуманности“, и ежели еще какое-нибудь выражение покажется тебе жестким, препоручаю тебе его смягчить» (Там же. С. 510). Пушкин сдержанно отозвался об «Антикритике». «Статья Баратынского, — писал он, — хороша, но слишком тонка и растянута» (*Пушкин*. Т. 15. С. 9).

[1] *...вверяюсь тебе... Наложница безмолвная твоя.* — Цитируется трагедия А. С. Пушкина «Борис Годунов» (сцена «Ночь. Сад. Фонтан»).
[2] *Панар* Шарль Франсуа (1674—1764) — французский поэт-песенник и драматург-водевилист.
[3] *...сесть ошибкою в карету...* — Баратынский имеет в виду эпизод, имевшийся в первой редакции поэмы, но исключенный из нее при позднейшей переработке.

ЕВРОПЕЕЦ. № 3

I. БОЖИЙ СУД

Впервые опубликовано в журнале «Библиотека для чтения» (1834. Т. 6, отд. 1. С. 11—15). Авторизованная копия в ГПБ. Перевод стихотворной повести Ф. Шиллера «Путь к кузнице» («Der Gang nach dem Eisenhammer»).

Для удобства отсылок к публикуемым ниже вариантам стихи основного текста пронумерованы.

Разночтения позднейшей редакции:

3–4 Правда, нетрудно было служить ей: она добронравна свойством, тиха в обращении была; но
и тяжкую должность.

6–7 С самого раннего утра до поздней ночи всечасно
Был он на службе ее, ни минуты покоя не зная;

14 Мать, а не так, как с слугой госпожа. И было приятно

27 То же, что строить на зыбкой воде; Берегися как хочешь:

31 Граф, — ты пропал, когда не скажешь мне правды! Кто этот

46–48 Всюду глазами он следует; ей одной, забывая
Все, за столом он служит; за стулом ее, как волшебной

Скованный силой, стоит он и рдеет любовью
преступной

59 Пламя питая; взвивалися вихрями искры;
свистали

61 Тяжко вертелось, и молот огромный, гремя
неумолкно.

68 Души их были суровей железа; рвенье удвоив

71 К графу тем временем хитрый наушник позвал
Фридолина.

73–80 В лес пойти и спросить от меня у литейщиков:
все ли
Сделано то, что я приказал?» — «Исполнено
будет», —
Скромно ответствует паж; и готов уж идти,
но подумав:
Может быть, даст ему и она порученье какое,
Он приходит к графине и ей говорит:
«Господином
Послан я в лес; но вы моя госпожа; не угодно ль
Будет и вам чего повелеть?» Ему с
благосклонным
Взором графиня ответствует: друг мой, к обедне
хотелось

107 Все в порядок приведши, и чаши, и ризы, и
утварь,

114 Горна. «Он там! — прошептал сиповатый их
голос. — Как должно,

В авторизованной копии ГПБ и в «Библиотеке для чтения» вариант 3-го стиха:

Правда весело было служить ей: столь благонравна

[1] *Стóлу и сингулум...* — Стóла — часть ризы католического священника, надеваемая на плечи в виде широкого шарфа (иначе: епитрахиль); сингулум — пояс рясы католического священника.

[2] «*Sanctus*» — название молитвы.
[3] «*Pater noster*» — название молитвы.

II. ОПАЛ

Черновой автограф — в РОБЛ.

[1] *Ариосто* Лудовико (1474—1533) — итальянский поэт, воспевший в поэме «Неистовый Роланд» (1516) борьбу с маврами и рыцарские подвиги.
[2] *...сподвижников Карла...* — Упоминание о Карле Великом (742—814), франкском короле с 768 г., императоре с 800 г., навеяно средневековыми эпическими поэмами так называемого «Каролингского» цикла, где воспевалась легендарная война Карла Великого и его паладинов против врагов христианства — сарацинов.

III. ПОЭТ

Впервые опубликовано в журнале «Телескоп» (1832. Т. 7, № 1. С. 191). Автограф неизвестен.

IV. О БРАЗИЛИИ

Оригинал — в журнале «Revue des Deux Mondes» (1831. T. IV. P. 329—349) под загл.: «Dernieres révolutions du'Brésil». Фамилия переводчика неизвестна.

[1] *St. Aulaire* — Сент-Илер Огюстен Франсуа Сезар де (1790—1853), французский путешественник и естествоиспытатель.
[2] *Иоанн VI* — Жуан VI (1769—1826), португальский король с 1816 г.: в 1799—1816 г. правил страной в качестве регента из-за психической болезни матери. В 1807 г. после вторжения французских войск в Португалию переехал в Бразилию, откуда вернулся в Лиссабон в 1821 г.
[3] *Дон Родриго, Граф Линьярский...* — Соуза Коутинью Родригу де, граф Линьярет, министр иностранных дел при португальском дворе в Рио-де-Жанейро в 1808—1812 (?) гг.

[4] *Антонио де Вилланова э Португал* — Вилланова-и-Португал Томаш Антониу (1755—1839), в 1818—1821 гг. — премьер-министр и министр иностранных дел при португальском дворе в Рио-де-Жанейро, с 1821 г. — в отставке.

[5] *Дон Педро* — Педру I (1798—1839), в 1821—1822 гг. — регент, в 1822—1831 гг. — император Бразилии. В 1822 г. провозгласил Бразилию независимой от Португалии конституционной монархией.

[6] *Родемахер* — сведений об этом деятеле найти не удалось.

[7] *Аррабида* Антониу де, епископ Анемуриа (1771—1850) — духовник и наставник принца Педру во время пребывания в Рио-де-Жанейро его отца Жуана VI.

[8] *Гумбольт* — Гумбольдт Александр (1769—1859), немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник.

[9] *Спикс* (Шпикс) Иоганн Баптист фон (1781—1826) — ботаник и зоолог, участник «Австро-баварской научной экспедиции», вместе с К. Марциусом (см. примеч. 11) совершил в 1817—1820 гг. путешествие в Бразилию и оставил ее обширное описание, вышедшее в Мюнхене в 1823—1831 гг.

[10] *Поль* Иоганн Эммануэль (1782—1834) — натуралист, участник «Австро-баварской научной экспедиции», исследовал внутренние области бразильского плато, материалы этого исследования опубликовал в книге «Путешествие во внутреннюю Бразилию» (Вена, 1822—1827. В 2 т.).

[11] *Марциус* Карл Фридрих Филипп фон (1798—1868) — немецкий ботаник, совершивший в 1817—1820 гг. путешествие в Бразилию и оставивший ее обширное описание.

[12] *Кювье* Жорж (1769—1832) — французский зоолог.

[13] *Ге-Люссак* — Гей Люссак Жозеф Луи (1778—1850), французский физик и химик.

[14] *Деви* Хемфри (1778—1829) — английский химик.

[15] *Ампер* Андре Мари (1775—1836) — французский физик и математик, один из основоположников электродинамики.

[16] *Пуасон* Симеон Дени (1781—1840) — французский математик, механик и физик.
[17] *Араго* Доминик Франсуа (1786—1853) — французский ученый и политический деятель.
[18] *Берцелиус* Йенс Якоб (1779—1848) — шведский химик и минералог.
[19] *Скриб* Эжен (1791—1861) — французский драматург.
[20] *Россини* Джоаккино (1792—1868) — итальянский композитор.
[21] *Казаль Мануэль Айрес де* (1754—после 1821) — португальский географ.
[22] *Кокрен* Томас (1775—1860) — адмирал английского флота.
[23] *Калдейра Брант* Понтес Филиберто (1772—1841) — бразильский государственный и военный деятель, дипломат.
[24] *Богарне Евгений* (1781—1824) — французский военный и государственный деятель, пасынок Наполеона I, усыновленный им в 1806 г.
[25] *Гомес* — Гомеш д'Алмейда Франсишку, сын лиссабонского офицера, по другим сведениям — ювелира; сначала мелкий дворцовый служитель, затем личный секретарь бразильского императора Педру I, глава так называемого «тайного совета» — дворцовой камарильи.
[26] *Роша Пинто* — Роша Пинту Жуан да (1791—1837), интендант домениальных земель бразильского императора Педру I, представитель дворцовой камарильи.
[27] *Лима* — Лима-и-Силва Франсишку де (1786—1853), бразильский государственный деятель, генерал, командующий столичным гарнизоном, в 1831—1835 гг. один из членов регентского совета при малолетнем бразильском императоре Педру II.
[28] *Дон Педро II* (1825—1891) — император Бразилии в 1831—1839 гг.
[29] *Андрада Жозе* Бонифаско д'Андрада-и-Сильва (1765—1838) — бразильский государственный деятель.

V. С. С. Т-ОЙ

Впервые опубл. в журн. «Телескоп» (1832. Т. 8. № 1. С. 61). Автограф неизвестен. В сборник «Стихотворения Н. Языкова» (СПб., 1833) вошло под загл. «С. С. Тепловой».

[1] *С. С. Т-ой* — Теплова Серафима Сергеевна (ум. в 1861 г.), русская поэтесса. В альманахе М. А. Максимовича «Денница» на 1831 г. появилось ее стихотворение «К***» («Слезами горькими, тоскою Твоя погибель почтена»). Распространился слух, что оно адресовано казненному К. Ф. Рылееву. Хотя никаких подтверждений этого в распоряжении властей не было, издатель и автор находились под угрозой репрессий.

VI. ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВЕК

[1] *Окончание* — начало статьи на с. 5 наст. изд.

[2] *...ученых разысканий Савиньи ...соображений Гизо...* — Имеются в виду труды: *Ф. Савиньи.* «История римского права в середине века» (т. 1—7. 1815—1831) и *Ф. Гизо* «История цивилизации в Европе» и «История цивилизации во Франции», вошедшие в его 6-томный «Курс современной истории» (1828—1830).

[3] *В одной только Бельгии...* (и далее) — Эта мысль высказана О. Тьерри в его «Письмах по истории Франции» (1827) (Письмо XII).

[4] *Из этого... не следует, чтобы феодальная система и система уделов были одно и то же, как утверждали у нас некоторые писатели...* — Скорее всего имеется в виду мысль Н. А. Полевого: «Сообразите историю феодализма, и вы изумитесь сходству ее с историею уделов русских» (*Полевой Н. А.* История русского народа. М., 1830. Ч. 2. С. 85).

[5] *...со времени Минина и Пожарского...* — Киреевский напоминает о том, что война России с Польшей и Швецией в 1610—1618 гг. обусловила оживление сношений России с западноевропейскими странами, ее «участие в общей жизни просвещенного мира».

VII. ЭПИГРАММА

Автограф в ЦГАЛИ, в письме к Киреевскому, где говорилось: «Вот тебе в заключение эпиграмма, которую должно напечатать без имени» (ТС. С. 35). Последнее указание Киреевский не выполнил. Направлена против Н. А. Надеждина в ответ на его отрицательный отзыв о поэме «Наложница». Иронически называя Полевого «родным», Баратынский, очевидно, поминает свои контакты с издателем «Московского телеграфа» в середине 1820-х годов, сменившиеся отчуждением и враждебностью.

VIII. ТАЛЕЙРАН

Авторство статьи не установлено.

1 *...Кесарь на корабле разбойников сочинял стихи и декламировал речи.* — См.: *Плутарх.* Цезарь, II.

2 *Болингброк* Генри Сент-Джон (1678—1751) — английский государственный деятель и публицист.

3 *Брум* Генри (1778—1868) — английский политический деятель, в 1830—1834 гг. — лорд-канцлер, активно участвовал в подготовке и проведении избирательной реформы 1832 г.

4 *Министр Людвига XVI-го...* — Людовик XVI (1754—1793), французский король в 1774—1792 гг. Его министром Талейран не был. До 1788 г. он — генеральный викарий Реймса, позднее становится епископом Отенской епархии.

5 *Король-гражданин* — Луи Филипп (1773—1850), французский король в 1830—1848 гг.

6 *Секретарь Департамента иностранных дел...* (и далее) — Именно таким было впечатление, которое произвел Талейран на главу консервативного правительства Англии, герцога Веллингтона (см. об этом: *Тарле Е. В.* Сочинения. М., 1961. Т. 11. С. 206).

7 *Сталь* — (см. примеч. 15 к статье «Письма из Парижа», с. 495). При ее посредничестве Талейран в 1797 г. стал министром иностранных дел. Об обстоятельствах этого назначения автор статьи подробнее рассказывает ниже. Впоследствии Ж. де

Сталь жестоко разочаровалась в Талейране и говорила: «Он продал Директорию, он продал Консульство, Империю, императора, он продал Реставрацию, он все продал и не перестанет продавать до последнего своего дня все, что сможет и даже чего не сможет продать» (Цит. по кн.: *Тарле Е. В.* Указ. соч. С. 119, 120).

[8] *В первое время революции Талейран был в Америке...* — С 1792 г. Талейран оказался в эмиграции, в 1794—1796 гг. жил в Америке.

[9] *Баррас* Поль (1755—1829) — деятель Великой французской революции, один из организаторов термидорианского переворота. В период Директории входил во все ее составы.

[10] *Тальень* — Тальен Жанна Мари Игнасия Тереза (1773—1835), урожденная Тереза Кабарюс, маркиза де Фонтане, позднее — княгиня Шиме, жена французского политического деятеля Жана Ламбера Тальена (1767—1820), принимавшая активное участие в политической борьбе своего времени и прозванная «Notre-Dame de Termidor».

[11] *Богарне* Жозефина (1763—1814) — в 1779—1794 гг. жена генерала А. Богарне, казненного по обвинению в измене, в 1796—1809 г. — первая жена Наполеона Бонапарта.

[12] *...прежний епископ...* — Талейран был епископом Отенской епархии с 1788 по 1791 г., после чего навсегда отказался от духовного звания.

[13] *Однажды приходит он к г-же Сталь... и говорит ей... мне остается броситься в Сену».* — Ср. описание этого эпизода в кн. Е. В. Тарле (*Тарле Е. В.* Указ. соч. С. 48).

[14] *Коринна* — Ж. де Сталь. Автор называет ее Коринной, сравнивая де Сталь с героиней ее романа «Коринна, или Италия», проповедовавшего свободу личности.

[15] *Победа оста...* — На этих словах печатание журнала было прервано.

ДОПОЛНЕНИЯ

Как только современники узнали о запрещении «Европейца», они стали проявлять интерес к судьбе материалов, которые направлялись Киреевскому, но не успели появиться в его журнале. 23 февраля 1832 г. Комовский писал Языкову: «Не издаст ли Киреевский приготовленных материалов особою книгою в несколько частей построчных? Статьи, будучи не к спеху, могут быть обработаннее и полнее» (ЛН. Т. 19/21. 1935. С. 71). Выход такой книги, как известно. не состоялся, и большинство вещей, намечавшихся для издания в «Европейце», погибло для русского читателя. Сохранились сведения лишь о немногих произведениях, которые находились в «редакционном портфеле» Киреевского, и они могут дать некоторое, разумеется, весьма неполное представление о невышедших номерах «Европейца». Эти произведения собраны в данном отделе.

Е. А. БАРАТЫНСКИЙ

«БЫВАЛО, ОТРОК ЗВОНКИМ КЛИКОМ. . .»

Впервые опубликовано в изд.: *Баратынский Е. А.* Стихотворения. М., 1835. С. 240. Автограф в ПД. Датируется по письму Баратынского к Языкову (конец сентября 1831 г.), где об этом стихотворении говорится: «Вот единственная пьеска, которую написал я с тех пор, как с тобой расстался», т. е. после июля 1831 г. (Историко-литературный сборник. Посв. В. И. Срезневскому. Л., 1924. С. 13). Первоначально оно было направлено Пушкину для напечатания в «Северных цветах на 1832 год», но в альманах не попало, и Баратынский переслал его Киреевскому. «Еще просьба, — писал он, — напечатай в „Европейце“ мое „Бывало, отрок“ etc. Я не знаю, отчего Пушкин отказал ей место в „Северных цветах“» (ТС. С. 38, 39).

ЯЗЫКОВУ

Впервые опубликовано в изд.: *Баратынский Е. А.* Стихотворения. М., 1835. С. 47. Автограф. — в ПД. Датируется на основании письма Баратынского к Языкову, полученного 13 января 1832 г. и содержавшего текст стихотворения (Литературно-библиологический сборник. Пг., 1918. С. 70). Написано в ответ на стихотворение Языкова «И. В. Киреевскому» («В альбом», 1831). Из двух стихотворных посланий, с которыми Баратынский обратился к Языкову, он, по собственному признанию, был «более доволен» стихотворением «Бывало, свет позабывая» и просил Киреевского напечатать его в «Европейце» (ТС. С. 31).

В. А. ЖУКОВСКИЙ

СКАЗКА О ЦАРЕ БЕРЕНДЕЕ...

Автограф — в ГПБ. Написана 2 авг. — 1 сент. 1831 г. Впервые опубликована в альманахе «Новоселье» (СПб., 1833). Сохранилось письмо Жуковского Киреевскому и А. П. Елагиной, в котором, в частности, говорится: «Вот вам и Иван-царевич. Прошу господина Европейца хорошенько смотреть за корректурой и сохранить то препинание знаков, какое стоит в манускрипте» (Цит. по: *ВГ*. С. 364). О том, что «Сказка о царе Берендее» предназначалась для публикации в журнале Киреевского, упоминают многие современники (см., напр.: *Барсуков Н.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1891. Т. 4. С. 5; *Изд. 1911*. Т. 1. С. 59).

Источником сказки считается пушкинская запись, опубликованная П. О. Морозовым под заглавием «Сказка, послужившая основой для сказки В. А. Жуковского о царе Берендее». Наряду с этим им была использована сказка братьев Гримм, которую Жуковский перевел прозой и опубликовал в 1826 г. под заглавием «Милый Роланд и девица ясный цвет». По мнению Ц. С. Вольпе, «Жуковский первоначально хотел ограничиться мотивами пушкинской записи... а затем прямо начал пересказывать текст Гриммов» (см.: *Жуковский В. А.* Стихотворе-

ния. Л., 1940. Т. 2. С. 471). Полевой писал о «Сказке о царе Берендее»: «Эта сказка привела нас в изумление! По всему видно, что автор хотел подделаться в ней под русские сказки; но его гексаметры, его дух, его выражения слишком далеки от истинно-русского. Переменивши имена, можете уверить всякого, что „Сказка о царе Берендее“ взята из Гебеля, из Перро, из кого угодно, только не из русских преданий. Впрочем, она и по вымыслу не русская. Мы давно уверены, что В. А. Жуковский не рожден быть поэтом народным; но удивляемся, что он сам не уверяется в этом неудачными попытками» (Московский телеграф. 1833, март. С. 195—196). Кюхельбекер, напротив, счел, что „Царь Берендей“ очень и очень хорош; из нового это после „Кота Мурлыки“ самое лучшее» (*Кюхельбекер В. К* Путешествие. Дневник. Статьи Л., 1979. С. 390).

И. В. КИРЕЕВСКИЙ

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА: ДВЕ ЖИЗНИ

Впервые опубликован в журнале «Телескоп» (1834. Ч. 19, № 6. С. 377—390). Автограф неизвестен. Над этим произведением Киреевский работал в 1831 г. Именно к нему относится вопрос, с которым в июле 1831 г. обратился к Киреевскому Баратынский: «Идет ли вперед твой роман?» (*Баратынский*. С. 497). Произведение осталось незавершенным.

[1] *Лафатер* Иоганн Каспар (1741—1801) — швейцарский писатель.

[2] *Блонда* — особый сорт шелковых кружев с желтоватым отливом.

[3] *Магдалина Кановы* — Имеется в виду статуя итальянского скульптора Антонио Кановы (1757—1822).

В. Ф. ОДОЕВСКИЙ

ПЕТР ПУСТЫННИК

Публикуется впервые. Автограф — в ГПБ. ф. 539, оп. 1. Ед. хр. 31. Л. 155—167. Судьба этого произведения, по словам П. Н. Сакулина «оказалась весьма незадачливой». 18 дек. 1831 г. О. Сомов, с которым

Одоевский сносился по делам «Литературной газеты», писал ему (бумаги 1869 г.): «Писец, взявшийся перебелить Петра Пустынника, не принес еще мне его. Пушкин еще не возвратился: не знаю, что делать. Во всяком случае завтра поутру пошлю за манускриптом, и если он готов, доставлю его Вам». «Литературная газета» еще в июле прекратила свое существование, значит, «манускрипт» Одоевского предназначался для какого-то другого издания, но напечатан не был. В конце 1833 г. Одоевский писал Максимовичу: «Отыщите у Киреевского мою статью „Сцена из Петра Пустынника“ и пришлите мне ее, ибо ее надо переплавить, я вам обещаю ее отправить обратно на другой же день; сегодня 23-е, следов., через 10 дней она может у вас уже печататься» (Киевская Старина. 1883. Т. 5. Апр. Из писем к М. А. Максимовичу. Сообщ. С. Пономарев. С. 845). Отсюда можно заключить, что от О. Сомова «Петр Пустынник» перешел в руки Киреевского и, вероятно, предполагался к напечатанию в «Европейце». После закрытия своего журнала Киреевский, очевидно, часть материала передал Максимовичу для его «Денницы». Там появился «Опал», туда же предназначался и «Петр Пустынник» (*Сакулин П. Н.* Из истории русского идеализма: Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель-писатель. М., 1913. Т. 1, ч. 2. С. 4). Экземпляр, по-видимому, отправленный Киреевскому, также сохранился в ГПБ (Ф. 539. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 4—9). Он имеет заглавие, упоминаемое Одоевским, — «Сцена из Петра Пустынника» — и представляет собой писарскую копию, несомненно снятую с приводимого нами автографа, а затем правленную рукою Одоевского. Для того, чтобы дать читателю наиболее полное представление о неизвестном произведении Одоевского и ходе работы над ним, публикуются обе редакции — автографа и авторизованной копии.

[1] *Лентие* — собирательное от лента, ленты.

[2] *Рыцарь Храма...* — Рыцари Храма, храмовики, тамплиеры — члены католического духовно-рыцарского ордена, существовавшего с 1118 или 1119 по 1312 г.

[3] *Гр.* — псевдоним В. Ф. Одоевского.

[4] *ь.ъ.й* — псевдоним В. Ф. Одоевского.

Э. П. ПЕРЦОВ

П‹УШКИН›У

Впервые — ЛН. Т. 16/18. 1934. С. 1085. Автограф — в ЦГАЛИ. Это стихотворение, как и «Элегия» (см. ниже), очевидно, было переслано Киреевскому Баратынским. 18 января 1832 г. последний писал: «Подумай, кого я нашел в Казани? Молодого Перцова, известного своими стихотворными шалостями, которого хвалил нам Пушкин; но мало, что человек очень умный — очень образованный, с решительным талантом. Он мне читал отрывки из своей комедии в стихах, исполненные живости и остроумия. Я постараюсь их выпросить у него для Европейца» (*Баратынский.* С. 513). Вскоре после этого поэт пишет: «Посылаю тебе небольшое стихотворение Перцова, которым я очень недоволен. Он много мне читал лучшего, и не знаю, почему выбрал эту пьесу для Европейца» (ТС. С. 35). В письме от февраля 1832 г. говорится: «Вот тебе другая пьеса Перцова, которая лучше первой» (Там же. С. 38). Трудно сказать, какая из этих характеристик относится к посланию «Пушкину», а какая к «Элегии», но вряд ли можно усомниться, что два стихотворения Перцова, сохранившиеся в бумагах Киреевского, и есть те, которые поступили к нему от Баратынского. Комедия, упоминаемая в письме от 18 января, была издана год спустя (Андрей Бичев, или Смешны мне люди. СПб., 1833). Эраст Петрович Перцов (1804—1873) познакомился с Пушкиным, по-видимому, в конце 1820-х годов. В 1832 г. они часто встречались. Сохранились свидетельства о восторженных отзывах Перцова о произведениях Пушкина. В конце 1850-х годов Перцов поддерживал контакты с Герценом и был в числе тайных корреспондентов «Колокола». См. об этом: *Эйдельман Н. Я.* Анонимные корреспонденты «Колокола» // Проблемы изучения Герцена. М., 1963. С. 251—279.

ЭЛЕГИЯ

Публикуется впервые. Автограф — в ЦГАЛИ. См. предыдущее примеч.

А. И. ПОЛЕЖАЕВ

РОМАНС

Впервые опубликовано в изд.: *Полежаев А. И.* Стихотворения. М., 1832. С. 178, 179. Было направлено Киреевскому со следующим сопроводительным письмом:

«Милостивый Государь! Иван Васильевич. Как издатель Сочинений А. И. Полежаева посылаю к вам от его имени 2 стихотворения и прошу Вас дать им место в издаваемом Вами журнале, если Вы найдете их того достойными. Вместе с тем прошу Вас покорнейше при помещении сих пиес объявить в выноске о скором появлении Собрания Сочинений сего Автора, издаваемых мною здесь в Москве. При сем нужным считаю присовокупить, что если Вы не почтете этих пиес лишними, то прошу Вас поспешить помещением оных, ибо и самая книга выйдет в непродолжительном времени. По выходе в свет я долгом поставляю себе прислать Вам экземпляр изданной мною книги. С истинным почтением имею честь быть

Милостивый Государь
Вашим покорнейшим слугою
Издатель Стих. А. Полежаева.

Москва
1832 февраля 8».

(ЦГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 70. Л. 1, 1 об.)

Автор этого письма неизвестен. В ЦГАЛИ оно значится как письмо П. А. Ефремова, но это очевидная ошибка. Позднее П. А. Ефремов действительно издавал Полежаева, но в феврале 1832 г. ему не было еще и полутора лет. В. Баранов, автор обзора «Судьба литературного наследства А. И. Полежаева», пишет: «Первый сборник его (Полежаева. — *Л. Ф.*) стихотворений представляет загадку для исследователей и библиографов. Кто был издатель Полежаева — неизвестно. Он не только издал полученную им рукопись, но деятельно хлопотал о том, чтобы некоторые стихотворения, еще не печатавшиеся в журналах и альманахах, были в них напечатаны до выхода книги в свет, сам рассылал по редакциям

списки стихотворений. Это не был, по-видимому, спекулянт-книгопродавец. Установить его личность является тем более важным, что очень велика роль этой книжки стихотворений поэта в создании и установлении его первой славы» (ЛН. Т. 15. 1934. С. 223). Вопрос этот тем не менее остается открытым. Как подтверждает и публикуемое письмо, издатель Полежаева намеренно скрывал свое имя и преуспел в этом.

БУКЕТ

Впервые опубликовано в изд.: *Полежаев А. И.* Стихотворения. М., 1832. С. 163—164. Прислано Киреевскому вместе со стихотворением «Романс» (См. примеч. к этому стихотворению).

А. С. ПУШКИН

ОТРЫВОК ИЗ ПОВЕСТИ

Планируя издание «Европейца», Киреевский надеялся на участие в нем Пушкина, в частности на то, что «когда-нибудь Феофилакт Косичкин захочет сделать честь моему журналу: высечь в нем Булгарина...» (*Пушкин.* Т. 14. С. 238). О том же думал и сам Пушкин. «По крайней мере можно будет нам где-нибудь показаться, — писал он Вяземскому, — да и Косичкин этому рад. А то куда принужден он был приютиться! в Телескоп! легко сказать» (*Там же.* С. 233). «Поздравляю всю братию с рождением Европейца, — говорится и в письме к Языкову. — Готов с моей стороны служить Вам чем угодно, прозой и стихами, по совести и против совести. Феофилакт Косичкин до слез тронут тем вниманием, коим удостоиваете вы его, на днях получил он благодарственное письмо от А. Орлова и собирается отвечать ему...» (Там же. С. 240). Не увидев в первом номере «Европейца» произведений Пушкина, некоторые из современников поспешили обвинить его в мнимом недостатке доброжелательства к журналу Киреевского. Особенно возмущался Языков. 6 января он писал брату: «Пушкин что-то чванится с Киреевским,

стихов не дает, а только обещает всего, всего и проч. и проч.» (ЛН. Т. 58. 1952. С. 107). В его письме к Вяземскому от 29 января — аналогичный упрек, адресованный и Пушкину: «Вы вовсе небрежете о „Европейце“ — и Пушкин тоже, а обещались много и много ему содействовать! Да что ж вы в самом деле» (Там же. С. 108). 5 января Языков писал Комовскому: «...Ближний боярин нашего Парнаса — Пушкин как-то его (Киреевского. — *Л. Ф.*) чуждается, чинится с ним и только что обещает и стихов и прозы» (ЛН, Т. 19/21. 1935. С. 61). Комовский отвечал: «Пушкин, чуждаясь Европейца, является непризнательным. Киреевский, более, чем кто-либо, послужил ему и в Московском вестнике и теперь» (Там же. С. 63). Сегодня мы знаем, сколь беспочвенны были обвинения Пушкина в «непризнательности». В конце 1831 г. он с величайшим напряжением собирал материал для «Северных цветов на 1832 год», издаваемых им в память Дельвига, тем не менее он помнил об обещании, данном Киреевскому, и 4 февраля 1832 г. писал ему: «Простите меня великодушно за то, что до сих пор не поблагодарил я Вас за Европейца и не прислал вам смиренной дани моей. Виною тому проклятая рассеянность петербургской жизни и альманахи, которые совсем истощили мою казну, так что не осталось у меня и двустишия на черный день, кроме повести, которую сберег и из коей отрывок препровождаю в Ваш журнал. Дай бог многие лета Вашему журналу» (*Пушкин*. Т. 15. С. 9). Повесть, о которой идет речь, — «Домик в Коломне». Отрывок из нее, переписанный Н. Н. Пушкиной, был направлен Киреевскому. Опубликован в кн.: Летописи Государственного литературного музея. Кн. 1. М., 1936. С. 300.

Е. Ф. РОЗЕН

БАЯДЕРА

Впервые — ЛН. Т. 4/6, 1932. С. 666—668. Автограф (или авторизованная копия) — в ЦГАЛИ. В письме от 1 февраля 1832 г., сопровождавшем текст стихо-

творения, посланного Розеном Киреевскому, в частности, говорилось: «Ваше литературное предприятие обратило на Вас внимание благомыслящих людей, желающих добра нашей бедной Словесности; но в особенности мы — пишущая братия — радуемся Вашему Европейцу. Дотоль не было ни одного журнала, мнением коего могли мы дорожить: всегда — либо глупая хвала, либо глупая личность! Теперь мы ждем от Вас дельных рецензий, или, — если наши творенья не стоят того — по крайней мере, доброжелательных замечаний. Нам не надо хвалы; нужна только *истина*. Желая, по мере сил своих, доказать свое почтение к Европейцу, посылаю Вам перевод Гетевой Баядеры, если годится он, напечатайте; если нет, бросьте, — а я вам доставлю что-нибудь другое» (ЦГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 127. Л. 1, 1 об.).

Перевод стихотворения Гете «Der Gott und die Bajadere» (1797). Незадолго до отправки Киреевскому Розен пытался напечатать его в альманахе «Альциона», но оно было запрещено цензурой на том основании, что «индийский главный бог „Магадё“, властитель земли, ниже названный всеведцем, нисшедший с неба для испытания людей, проводит ночь с распутною баядеркою, которую воспламеняет чистейшею любовью, что производит страшное смешение понятий божества и разврата». У Розена были, однако, все основания надеяться на благополучный исход второй попытки опубликовать это стихотворение, так как к этому времени переводы «Бога и Баядеры» дважды без всяких затруднений появлялись в печати: в «Славянине» (1827. Ч. 3. С. 62—65) и в «Опытах» А. А. Шишкова (М., 1828. С. 33—37). В 1838 г. два перевода этого стихотворения — П. Петрова и К. Аксакова напечатал «Московский наблюдатель» (Подробнее об этом см.: *Рейсер С. А.* Запрещенные переводы из Гете // ЛН. Т. 4/6. 1932. С. 923, 924). Лучшим переводом стихотворения Гете на русский язык считается «Бог и баядера» (1867) А. К. Толстого.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Баратынский — *Баратынский Е. А.* Стихотворения, поэмы, проза, письма. М., 1951.

ВГ — *Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И.* Сквозь «умственные плотины». М., 1986.

ГБЛ — Отдел рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина

ГПБ — Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Е — Европеец. 1832. № 1—3.

Изд. 1911 — *Киреевский И. В.* Полн. собр. соч.: В 2 т. / Под ред. М. Гершензона. М., 1911.

Изд. 1979 — *Киреевский И. В.* Критика и эстетика / Сост., вступ. ст. и примеч. Ю. В. Манна. М., 1979.

ЛН — Литературное наследство.

МОГИА — Московский областной государственный исторический архив.

ПД — Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом).

Пушкин — *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л. 1937—1949.

ТС — Татевский сборник С. А. Рачинского. СПб., 1899.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.

ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства СССР.

ЦГИА — Центральный государственный исторический архив (Ленинград).

ЦНБ — Отдел рукописей Центральной научной библиотеки АН УССР (Киев).

СОДЕРЖАНИЕ

ЕВРОПЕЕЦ. № 1

ЕВРОПЕЕЦ. № 2

ЕВРОПЕЕЦ. № 3

ДОПОЛНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЕВРОПЕЕЦ,

ЖУРНАЛ И. В. КИРЕЕВСКОГО

Утверждено к печати
Редакционной коллегией серии «Литературные памятники»
АН СССР

Редактор Е. Л. Никифорова
Художественный редактор Н. Н. Власик
Технический редактор Л. Н. Золотухина
Корректоры Л. И. Кириллова, Л. В. Щеголев

ИБ № 39095

Сдано в набор 04.10.88. Подписано к печати 02.02.89. Формат $70 \times 90^{1}/_{32}$. Бумага для глубокой печати. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 19,96. Усл. кр. отт. 21,14. Уч.-изд. л. 22,9. Тираж 15 000 экз. Тип. зак. 813.
Цена 3 руб.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»
117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука»
199034, Ленинград В-34, 9 линия, 12